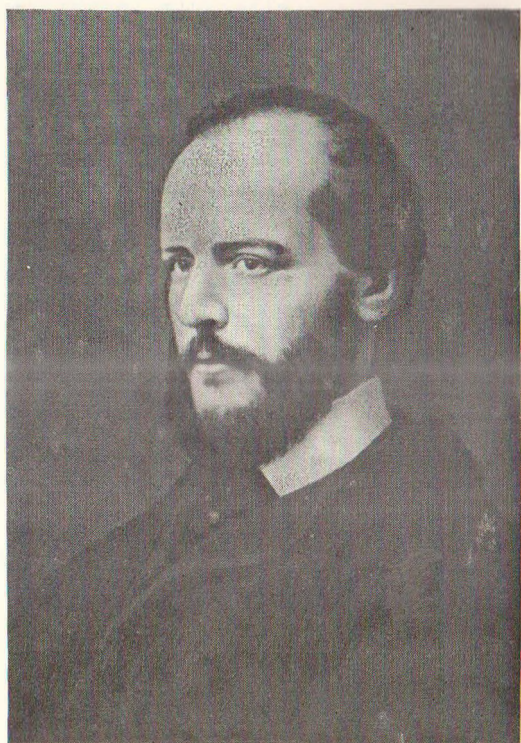


15И
К58

Ф. КОЖИК

ЯРОСЛАВ ЧЕРМАК



Ф. КОЖИК

ЯРОСЛАВ ЧЕРМАК

МОСКВА
«ИСКУСТВО»
1985

ББК 85.143(3)
К58

František Kožík

Pouta věrnosti
Román o životě a díle malíře
Jaroslava Čermáka

Československý spisovatel. Praha, 1975

Перевод с чешского

Ил. Граковой

Редакция

В. Каменской

Рецензент: кандидат филологических наук
О. Малевич

К 4903020000-132 81-85
025(01)-85

© František Kožík, 1971
© Перевод на русский язык, комментарий.
Издательство «Искусство», 1985 г.

Камни вбирали в себя оранжевый отсвет закатного неба. Но выше небо, утомившееся за день, было бледнее, и башни выставляли свои шпили точно копыя.

Ярослав на ходу часто оборачивался к Иполите, стараясь увидеть в ее глазах ту Прагу, которую хотел для нее открыть. Всего четыре года назад на этих улицах клубился дым пожаров и повсюду пахло порохом; но теперь, в тишине, окутавшей город, это казалось бесконечно далеким, происходившим в ином мире, в ином летоисчислении. Храмы и дворцы вновь обрели свой средневековый облик, глубокие подворотни и дворики дышали сыростью словно речные заводы; они заглянули в каменный коридор галереи — будто слеза, светилась лампочка перед раскрашенной статуей святого, а деревянная лестница была пуста, словно по ней никто никогда не ходил. Ярослав знал, что здесь уже два года, со времен новых законов Баха, все мертво, но тем не менее хотел, чтоб Иполита видела Прагу непреклонной и готовой к борьбе.

— Оттуда, — указал он на сереющую за рекой крепостную стену Градчан, — Виндишгрец приказал стрелять по городу из пушек. Видите эти шрамы? — Он остановился у стены дома, на которой остались отметины от осколков. — Камни не умеют скрывать их так, как люди.

Иполита охотно следовала за ним и внимательно слушала. Чистое лицо, воздушная сиреневая вуаль, бездонные глаза и трепещущие уста делали ее похожей на сказочную фею.

Ярослав хотел, чтоб она полюбила Прагу, надеясь, что это будет способствовать их сближению.

— Вам не так повезло, как бельгийцам, — сказала она.

— Много энтузиазма, но мало единодушия и стойкости. Мы были слабы. С голыми руками против пушек? Голландцы легко примирились с победой бельгийцев. Но Габсбурги любую мечту о свободе считали тягчайшим преступлением.

Они удалялись от моста. Ярослав вел ее узкими улочками, где дома доверчиво теснились друг к другу, через безмолвную площадь святой Анны к Вифлеемской площади.

Он прислушивался к ее шагам и внимал шелесту ее одежд, стараясь двигаться легко и скрыть, что слегка прихрамывает на левую ногу.

— Вы тоже тогда сражались?

Он махнул рукой.

— Я с братьями носил патроны в Клементинум и на баррикаду возле Мостецкой башни. Той самой, с зимородком, которая вам так понравилась.

— Ваша мама говорила, что вы нарисовали какое-то крамольное знамя?

— Для одного из отрядов революционной гвардии. На знамени я изобразил Карла IV, величайшего из чешских королей. Он сделал Прагу Прагой.

— Им помешал такой давнишний король?

— Все напоминающее о великом прошлом Чехии нагоняет на них страх. Я видел на Староместской площади, как солдаты изорвали мое знамя в клочки и сожгли. Большая честь для автора.

Почти все мужчины оглядывались вслед Иполите. «Красивая иностранка», говорили, должно быть, они. Не будь даже за плечами у Ярослава успехов и проблеска славы, ему хватило бы одного присутствия Иполиты Галле, чтобы по возвращении в Прагу возгордиться.

Луи Галле принадлежал к числу самых известных художников того времени, и то, что он решил взять Ярослава Чермака в ученики, свидетельствовало о многом. Чешская Прага понимала, что лишь под влиянием любимого ученика маэстро Галле согласился посетить Чехию и выставить здесь свою знаменитую картину «Стрелковая гильдия прощается с отрубленными головами Эгмонта и Горна», сцену из времен бунта против герцога Альбы; напоминание о наигорчайшей минуте испанской тирании было достаточно красноречивым для побежденной Праги, историческая картина помогала воспитанию сознательности и поддержанию патристического духа.

Ярослав прекрасно знал это. И хотя он уехал искать свой путь художника в Бельгию, все его воспоминания и надежды были тесно связаны с родной землей. Когда «Общество чешских художников» объявило конкурс на сюжет из чешской истории, он изобразил прибытие гуситских гетманов на Базельский собор, чтобы напомнить о тех временах, когда Европа боялась и уважала Чехию. Однако рисунок не был принят. Тогда Ярослав сделал новую попытку и в качестве второго сюжета избрал шатер Пршемысла Отакара II в канун битвы на Моравском поле. Король, призывая своих военачальников к верности, распахнул на груди одежду: если среди них есть изменник, пусть лучше сразу его убьет. Выражению лиц придворных Ярослав придал те черты, которые подмечал у своих сверстников: преданность, равнодушье, вероломство. Рисунок был принят; он сам нанес его в Париже на камень, и эти гравюры окончательно утвердили славу молодого художника по его возвращении в Прагу. Пришли друзья, пришли лстецы; Ярослав узнал, как легко спутницей славы становится зависть. Но осознал и то, сколь счастливую судьбу избрал для себя, покинув людей, которые не столько жили, сколько прозябали. Прежние веселые товарищи по академии глядели озлобленно, затравленно. Фрич, Сабина и многие

другие были в тюрьме. Пепел страха и упорного безразличия засыпал раскаленный очаг 1848 года. Казалось, пепел этот лежал и на лицах. А под ним таилась истинная суть поработченных.

— Мы снова в ваших родных местах, — заметила Иполита.

— Здесь каждый камень исторический, — сказал Ярослав, окидывая взглядом Вифлеемскую площадь. — Некогда тут проповедовал Ян Гус. Вот тот угловой дом Жижка, захватив Прагу, приказал пощадить. Говорят, там был монастырь, в котором находилась его сестра. Эта слабость всегда делала Жижку в чем-то мне близким.

— А в этом доме, — пародировала его Иполита, — родился маэстро Ярослав Чермак...

— ...который пока сделал слишком мало для того, чтобы стать чем-то большим, нежели подмастерьем.

— Бельгийские короли не покупают картин подмастерьев, — возразила она на его скромность.

Во время прогулок с Иполитой Ярослав существовал в двух лицах: с одной стороны, он пытался на все смотреть ее глазами и размышлял, что бы ее могло заинтересовать, с другой — вернулся в пору своего детства, как бы заново открывая его вместе с нею, и все, о чем узнавала Иполита, словно приобретало новый смысл.

— Прага настолько близка мне, — подтвердила она его ощущения, — будто я жила здесь в какой-то своей прошлой жизни. Но, возможно, это заслуга моего самоотверженного гида...

Иполита оставила в Брюсселе дочерей — пятилетнюю Амалию и годовалую Марию; она скучала о них, но, освободившись в Праге от повседневных забот, помолодела, изменилась и сама склоняла Ярослава на все новые и новые экскурсии. Он впервые был с ней рядом и смог узнать ее, как узнают друг друга два человека, оставаясь наедине. Когда он познакомился с супругами Галле, она ждала второго ребенка и он редко ее видел, потом она все время занималась детьми, только во время отдыха в Остенде имея возможность пожить немного для себя. Теперь же, в Праге, когда как бы стерлась разница в возрасте — она была старше Ярослава на пять лет, — исчезло и ее превосходство матери семейства, и она превратилась в его душевную приятельницу. Иной раз Ярославу казалось, будто он рассказывает то, что ей и так известно, потому что она пережила это вместе с ним.

— Я засыпаю вас совершенно неинтересными для вас воспоминаниями, да еще на плохом французском языке.

— Вы говорите уже вполне прилично. А благодаря вашим воспоминаниям и Прага и вы становитесь мне близкими. Значит, по этим подворотням вы бегали мальчиком? — разглядывала она дом на Вифлеемской площади с бюстом императора Иосифа на фронтоне.

— Мы жили тут первые три года моей жизни.

— Значит, вы получили свое увечье уже на новой квартире? Как это произошло?

— Мальчишеская глупость. Мы с братьями видели в фарсе Нестроя акробата Клишннига, который в шкуре шимпанзе выделял всякие прыжки...

— И вы захотели сделать то же?

— Да. Мне было семь лет. Я прыгнул на стол со шкафа — и за это поплатился мой бок...

— Счастье, что ваш отец был врачом.

— Он лечил меня по всем правилам. Я должен был лежать в узком ящичке, вытянутая нога на блоке с гирей... Но чем дальше, тем хуже мне становилось. Единственным моим утешением было рисование. Я копировал «Христа» Реньо и молился ему.

Уныние тех мрачных лет в присутствии Иполиты трансформировалось в меланхолию, не лишенную очарования. Стараясь развлечь Иполиту, Ярослав с юмором рассказывал, как однажды у них объявился народный лекарь, папаша Клапка из Гостими, и какого своеобразные взгляды принесли больше пользы, чем медицинская наука.

— Еще бы мальчику не было больно, — изображал его Ярослав, — вы же укорачиваете ему ногу. Да еще у окна, выходящего на север, без свежего воздуха... Ему необходимы движения, гимнастика, массаж, целебные травы, солнце...

Клапка предписал отправить мальчика на дачу в Коширже, где тот весь день мог находиться на воздухе. Отец, видя беспомощность специалистов, послушался советов пожилого крестьянина.

— Лето я провел в Молиторове, где меня носили в лес, потом — у другого дяди, в Скалках, ездил там на ослике в Шарку... Ослика этого я нарисовал, вообще я все время рисовал — деревья, пейзажи, людей... Рисование в то время было для меня способом выражения мыслей, жалоб, надежд... Так продолжалось несколько лет. Мне было тринадцать, когда я выдержал экзамен в академию, но поступить не смог — я все еще ковылял на костылях... В ту пору у меня уже не было отца.

— Что с ним случилось, он же был молодой?

— Порок сердца. Ему было чуть больше сорока, как и дедушке. Это болезнь нашего рода. Когда-нибудь и я так кончу.

Он и сам не очень-то верил в свои слова, но подсознательно старался вызвать ее сочувствие.

— Ну тогда, братец, — сказала она тоном старшей сестры, — тебе следует беречь сердце. Да, — поправились она, — вам нужно найти кого-то, кто бы считался с вашим сердцем. Но у вас твердая воля, вы преодолете все трудности. А папаша Клапка? — вспомнила она. — Вы его отблагодарили? Он заслужил королевский гонорар.

— Представьте, он не хотел брать денег. Я старался изо всех сил, рисуя его портрет. Он хвастал, что, когда выставляет его в окне, люди думают, будто это он сам, и здороваются: «Добрый день, пан Клапка!» Тут он, конечно, преувеличивал.

Иполита рассмеялась. Они миновали площадь. Сделали небольшой крюк к храму св. Ильи, потому что она хотела видеть место, где Ярослава крестили. Его радовал ее дружеский интерес, и он добросовестно перечислял свои имена:

— Ярослав Винценц Валентин Кандид... Основное имя — Ярослав, означающее, согласно древним чешским рукописям, «витязь с золотой звездой»...

Затем они вернулись и вышли через двор старого дома на Новые аллеи. Там начинался вечерний променад. С реки дул ветер, но, несмотря на пронизывающую сырость, скамейки были заняты, в основном отставными офицерами.

— От кого, собственно, вы унаследовали талант, Яра?

— Наверное, от отца матери. Он основал в Праге первую картинную галерею. Дядя Рафаэль, у которого вы были в Молиторове, тоже рисует.

— Тот помещик с манерами романтического виконта?

— Говорят, я унаследовал и его манеры. Верно?

— Отчасти, — подтвердила она с улыбкой. — Но таковы все молодые люди, которым в жизни везло и с которыми пока еще ничего дурного не случилось.

— То, что случилось в Праге, — покачал он головой, — наложило отпечаток на всех нас.

Когда они подошли к дому под номером 116, Иполиту словно подменили. Она стряхнула с себя девческую беззаботность и опустила вуаль. Лицо ее приобрело замкнутое выражение.

— Мне интересно взглянуть на портрет матери.

— Ваша мама к нам очень внимательна.

— Нам всем есть за что вас благодарить.

Для Чермаков временное возвращение в Прагу тоже было отдыхом. Они предоставили в распоряжение супругов Галле удобный дом, приглашали самых интересных людей, окружили своих гостей дружеским радушием. Но супругам Галле нравились и тихие вечера, когда хозяйка хлопотала вокруг них, а остроумие и эрудиция ее сыновей и очаровательная непосредственность юной Марии помогали коротать время.

Когда Иполита с Ярославом вернулись, Галле уже рассматривал свое последнее произведение.

— Вы мне польстили, — благодарила его пани Чермакова, — вы так галантны в этом портрете. Эта картина останется самым дорогим воспоминанием о вашем посещении Праги.

Галле поцеловал Иполиту и вновь перевел свой спокойный и бес-

страстный, как обычно, взгляд на акварель — этот взгляд всегда напоминал Ярославу о юридическом образовании его учителя.

— Критикуйте, Яра, — предложил Галле.

— Я знаю маму в тысяче обликов, сливающихся в единый образ, но он у меня в душе.

— Не бойтесь, — засмеялся Галле, — вы же знаете, что говорит коллега Вирц: критика — это оценка другого человека, а стало быть, начало дискуссии.

— Яра — сторонник Гете, — вступилась за него Иполита. — Твори, художник, и молчи.

Ярославу выражение лица матери на портрете казалось очень живым; ему только не нравилось, что у Галле сквозь краски просматривался рисунок, хотя он понимал, что портрет этот — знак признательности художника, а не произведение, проработанное до мельчайших деталей.

— У меня никаких замечаний, — сказал он, — в портрете есть прелесть импровизации, и все же сходство точное.

Галле остался доволен и расспрашивал Иполиту о прогулке.

— Были вы на Карловом мосту? Такая прогулка стоит всех иных. Там запечатлена история вашей страны.

— Вам понятна наша история, — а нашим людям в свою очередь понятна ваша картина, — заверила его пани Чермакова. — В Праге способны оценить истинное искусство. Но только не те, кто выносит о нем суждение.

— У нас меня обвиняли в некоторой сентиментальности. Мол, тогдашние фламандцы наверняка не плакали. Но это бельгийская манера — критиковать художника за то, чего он вовсе не собирался делать.

— Нашим предкам тоже приходилось смотреть на отрубленные головы собственных вождей, — развивала свою мысль пани Чермакова, — а поскольку мы еще не получили свободы, то, возможно, способны прочувствовать это даже лучше нынешних бельгийцев.

— Теперь я, вероятно, отдохну от истории, — сказал Галле. — Как подняться выше, если даже история не поднималась до больших высот?

Он буквально сиял от удовольствия, радуясь, что добился цели.

— А что ваш Пршемысл Отакар, Яра? Понравился он в Праге?

— Я предпочел бы, чтоб напечатали гравюру «Прокоп Голый в Базеле».

— Вы были подготовлены к тому, чтобы создать хорошее произведение, — рассуждал Галле. — Ваш Прокоп был такой необычный, неуклюжий до смешного, но вызывал уважение. Неподкупный — вот точное слово. Пршемысл Отакар все-таки более напряженный, неестественный, словно в театре, но аккорд света и полутени там замечательный. Однако нас ждет работа. Пора возвращаться!

— Я еще не видела Лорету,— запротестовала Иполита.

— Порой мне кажется, что в твоих жилах течет капля славянской крови,— удивленно взглянул на нее Галле.

— А разве ты сам не писал на славянские сюжеты?

Под впечатлением песен, которые исполняли Ярослав и Мария, будучи в Брюсселе, Галле набросал два небольших рисунка: в «Славянских музыкантах» юноша с лицом Ярослава пробует струны, а маленькая сестра заснула у него на коленях. На рисунке «Искусство и свобода» молодой скрипач с вдохновенным лицом держит в руке нотный свиток. На ламбрекене надпись: «Мария».

— Я поверил в историю Чехии, и эти песни тронули мое сердце.

— Славянам крайне необходимо, чтобы Европа обратила на них внимание,— с благодарностью сказала ему пани Чермакова.

Она пригласила гостей ужинать. За окнами смеркалось. Прага словно бы онемела, слышался лишь монотонный шепот мелкого дождя.

— Погода портится,— жалобно сказала Мария.

— Ночью пусть идет дождь, а завтра нам еще нужен ясный день,— улыбнулась Ярославу Иполита.

Он взглянул на нее и ощутил аромат ее волос.

Четыре года назад осенью Прага переживала глубокую горечь унижения.

— Здесь нечем дышать,— по нескольку раз на дню повторяла пани Чермакова.

В пору летних событий ее квартира сделалась прибежищем членов вооруженного общества «Согласие»; поэтому после поражения многие соседи из осторожности делали вид, будто незнакомы с пани Чермаковой. Знали, что ее сын Яп был командиром студенческого легиона и после подавления восстания несколько дней провел в камере под следствием. Йозефа и самого младшего из ее сыновей, Карела, не раз видели выбегающими из дому с грудой патронов за пазухой.

Те, кто остались верны пани Чермаковой, говорили шепотом и несли на себе след убогой жизни, таившейся в самых укромных уголках. Из салонов, где некогда пели, декламировали и танцевали, улетучилось праздничное настроение. Гости молча протягивали друг другу последний номер «Народных новин» Гавличка и растерянно покачивали головами.

Молодой композитор и пианист Йозеф Звоиарж с восхищением говорил:

— Мужественный человек этот Гавличек. Знает, когда осторожность требует молчания, но когда нужно, высказывает читателям свое истинное мнение... Этот не боится.

— Верно, — соглашался с ним гувернер мальчиков Чермаков д-р Антон Шпрингр. — Странно, конечно, что он начал столь ожесточенную борьбу, лишь когда остальные сдались. Выступать подобным образом против Вены — самоубийство.

Широко образованный Шпрингр был всего на пять лет старше Ярослава, но, поскольку он отличался педантизмом, у мальчиков вечно происходили с ним словесные стычки. Однако им импонировало, что он, профессор академии, за свою лекцию о французской революции впал в немилость правительства. У «мамочки» Чермаковой он нашел второй дом, что не мешало ему не разделять ее патриотической горячности. Собственно, он считал себя немцем и иной раз это подчеркивал.

— Нельзя думать лишь о борьбе чехов. Сейчас во всех немецких землях революционная молодежь выступает против правительства.

— Вы не понимаете нас, — упрекал Шпрингра Ярослав, хотя и любил его. — Вы катались в гондоле по венецианским лагунам, таяли от восхищения в картинных галереях Флоренции, когда тут всех лихорадило. Вы поздно приехали в Прагу..

— И чего я, скажите на милость, лишился? Поцелуев да объятий на Славянском съезде? Это никому не принесет свободы.

— Для вас слова «Славянский съезд» мало значат?

— Славяне слишком большое значение придают национальному костюму, песням, слезам. Немцы куда решительнее в своем стремлении разбить Австрию.

— Верю. Они охотно свернули бы Австрии шею, но при этом растоптали бы и нас.

— Будущее покажет, — заметил Шпрингр.

— Если оно вообще будет, это будущее, — высказал сомнение Звонарж. — Всем нам вечно суждено нести на себе унижительное клеймо. Вена никогда не простит нам восстания.

Иногда к Чермакам заглядывал Франтишек Палацкий, а однажды он привел с собой профессора Яна Эвангелисту Пуркине, переехавшего в ту пору из Братиславы в Прагу. В их присутствии разгоряченные головы остывали, и все утешали себя верой в неизбежность закономерного развития империи в соответствии с законом.

Но сам Палацкий тихим решительным голосом предостерегал:

— Император дважды гарантировал безопасность кромержижского сейма. И тем не менее приказал разогнать его штыками.

— Кромержиж — это оскорбление для народов Австрийской империи, — соглашался Пуркине. — Ни одна уважающая себя нация не сможет такого забыть.

— Однако Гавличек прав, — отвечал Палацкий. — Габсбурги и чешский народ — это все одна и та же песня. И если Габсбурги надеются лишь на насилие, чего они могут дожидаться?

— Да, еще Коменский все понимал и предсказывал. Править — это искусство.

Профессор Пуркине недавно обнаружил в Лешно утраченные чешские рукописи Коменского.

— Но что же тогда делать? — подавленно спрашивал Звонарж.

— Плач и крик не помогут. У нас слишком много политиков за кружкой пива и мало умных людей, понимающих, что только работа, пусть постепенная, но упорная, может принести пользу народу.

Профессор Палацкий при подобных беседах приводил обычно в пример гуситов, и пани Чермакова не без удовольствия замечала, что — хотя семья ее родом из моравских Маленовиц — по бабушке Веселой она ведет свое происхождение от рода Жижки из Трочнова.

Гости иной раз страшились за пани Чермакову. Все члены «Согласия» находились под следствием, в полиции накапливались доносы, в любой день мог раздаться зловеющий стук в дверь. Но пани Чермакова не хотела отказываться от встреч с друзьями, которых уважала. Она приглашала к себе молодых художников, иногда приезжала из Домажлице и Божена Немцова, привнося в спор отголоски происходящего в провинции. Единственное, за что беспокоилась пани Чермакова, — это будущее ее сыновей.

Она советовалась главным образом с Йозефом Манесом, который своим бунтарским выходом из Пражской академии три года назад бросил открытый вызов немецкому руководству академии и ее меценатам дворянам, враждебно настроенным против него.

— Стоит Яре вернуться в академию, как по-вашему, Пепа?

— Рисует он хорошо, — внимательно просмотрел Йозеф рисунки Ярослава, — и чувство цвета у него есть. Что еще может дать ему диктат Рубена? Чешское искусство там давно растоптано.

— Рубен все равно дает мне понять, что у меня нет таланта, — похвастал Ярослав, мечтавший пойти по мятежным стопам Манеса. Он смотрел на Йозефа, который был на десять лет старше его, как на идола.

— Вы полагаете — Мюнхен?

— Несомненно. Даже если б вам пришлось из него бежать, как это сделал я. Но попытаться стоит.

Дни тянулись однообразные, наполненные страхом, и Ярослав чем дальше, тем больше соглашался с Манесом.

Остаться в Праге означало похоронить себя заживо.

Мюнхен? Произведения старых мастеров в Пинакотеке вызывали у него восхищение, но фрески Корнелиуса оставались для него немymi, немецкое искусство, лишенное красок, казалось ему таким же сухим, как дюссельдорфский историзм Рубена. В Мюнхене много

говорилось об антверпенской академии, где к тому времени обучалось несколько сот молодых художников из всех стран. В Бельгии были живы бунтарские традиции и жажда свободы.

— Бельгия обрела свободу в год твоего рождения, — усмотрела многообещающую взаимосвязь между двумя этими событиями пани Чермакова. — Маленькая страна, столетиями находившаяся под чужеземным игом. Но она была мужественной — и ныне история народа сделалась там любимой темой художников.

— Да, — подтвердил Шпрингр, — то, что у нас считается предательством, там превратилось в достоинство.

Тут не мог дать совет ни Манес, ни кто-либо иной в Праге. Пани Чермаковой приходилось решать все на собственный страх и риск. Оба старших сына, Ян и Йозеф, получили медицинское образование, Карела она отправила к родственникам, а дочь Марию собиралась взять с собой.

— Поедем, Яра. Почему мы вечно должны быть связаны с немцами, разве не существует другой Европы и другого искусства?

Ярослав оставлял в Праге воспоминания, детство, друзей. Но он горел желанием доказать свой патриотизм, а это было возможно лишь там, где за кистью художника не следили шпики и полицейские.

Бельгия не обманула их ожиданий. Ярослав упивался неизданным дотоле чувством свободы. Картины, которые он увидел, едва они туда приехали, были посвящены великим историческим событиям и исполнены чувства национального достоинства.

Приемный экзамен в академию он сдал шутя; ему казалось удивительным, что надо было опять начинать с первого курса, но профессора проявили к нему внимание, и едва он закончил первый рисунок, его тотчас направили в античный зал, где находился второй курс. Честолюбие подхлестывало Ярослава: утром он отправлялся в больницы изучать анатомию, брал уроки французского языка, затем спешил на занятия. Он все еще опирался на палку, и женщины с восхищением и жалостью смотрели вслед красивому молодому человеку.

В окна отеля «Пейи-Ба», возвышавшегося над низкими крышами, доносилось дразнящее дыхание моря, но Ярослав строго придерживался намеченного распорядка дня. Золотые стрелки часов на огромной башне антверпенского Собора Богоматери обычно уже показывали полночь, когда он при свете лампы заканчивал рисунок с гипсовой головы. В течение первого семестра он представил рисунки пяти живых моделей, три торса и семь голов и, кроме того, сдал экзамен по перспективе.

Лишь после этого он позволил себе перевести дыхание и осмотреться. Антверпен благодаря своему порту быстро превращался в большой город. Разумеется, Ярослава прежде всего интересовали

художественные ценности: старинные фрески, картины в соборах, портреты кисти придворных художников. Он познакомился с Брейгелем и Йордансом и должен был пойти поклониться Рубенсу, почитавшемуся патроном новой бельгийской живописи. Одно за другим рассматривал он произведения того, кого в Мюнхене называли «этот пьяный дикарь», восхищался его живыми фигурами, особенно женскими, передающими ощущение теплой влажной кожи. Темная зелень, блеклый красный цвет, глубокий черный — все в резком контрасте друг с другом; сочетание этих неприглушенных красок производило сильнейшее впечатление. Гробница Рубенса в церкви св. Якова была местом паломничества молодых художников.

Гюстав Вапперс, следуя духу Рубенса, выбрал в качестве сюжетов для своих полотен события из времен недавней борьбы за независимость и прославился, что называется, за одну ночь; поэтому он был приглашен возглавить академию. Художники считались новой аристократией, и их влияние и претензии возрастали. Антуан Вирц, стремившийся отобразить в своих картинах ужасы войны, потребовал, чтобы правительство построило ему дом с ателье, обещая за то после смерти оставить свои произведения государству.

— У меня просто голова кружится, — сказал Ярослав матери, — как представляю, что когда-нибудь вот так же смогут вести себя чешские художники...

— В каком государстве? При каком правительстве? В Праге художник — пария, да к тому же еще подозрительный субъект.

Особенно ярко сияла слава Луи Галле. Он истинный продолжатель Рубенса, говорили о нем, мастер композиции, волшебник света и тени. Считалось почетным, если он брался писать портрет, в его честь чеканились медали, молодое государство заказало ему картину «Отречение Карла V», о которой позже появились пространные статьи.

Пани Чермакова стремилась и в антверпенском отеле создать Ярославу новый дом. Элегантная, общительная, остроумная, она завязывала новые знакомства. Как-то вместе с Ярославом и пятнадцатилетней Марией, влюбленной в рисунки брата, она поехала в Брюссель. Они возложили букет на могилу героев национальной революции на площади Мучеников, а затем направились в приемный зал кассационной палаты, где висело знаменитое полотно Галле.

Галле запечатлел момент, когда больной император после прощальной речи отрекался от власти в пользу своего сына Филиппа II. Филипп, растроганный значительностью момента, публично попросил тогда прощения за все ошибки и обещал, что никого больше не обидит... Художнику, разумеется, был известен дальнейший ход событий, и он знал, что Филипп сделается палачом целых народов. Лица всех присутствующих он изобразил загадочными — смесь до-

верия и опасения. Чермаки отыскали на картине фигуру чешского короля Максимилиана, Марию, его супругу, Людвига, павшего в битве у Мохача, а также Вильгельма Оранского, прозванного Молчаливым, в выражении глаз которого угадывался свободолюбивый характер.

Ярославу показалось, что некоторые второстепенные фигуры слишком похожи одна на другую.

— Нет, нет,— поддалась общему мнению мать,— Галле — истинный мастер, ты же видишь. Он своим искусством показывает нам, что короли тоже люди, и стремится передать их характеры.

А когда они покинули кассационную палату, пани Чермакова утвердилась в мысли, которая давно уже возникла у нее, — вероятно, с той самой минуты, как они ступили на бельгийскую землю.

— Это единственный человек, который что-то может значить для твоего будущего.

Ни сомнения Ярослава, ни слухи о неприступности Галле не поколебали ее решения. Пани Чермакова написала художнику, ссылаясь на новых знакомых из Антверпена. В своем письме она выразила ему такое доверие, что Галле пригласил ее вместе с Ярославом в Брюссель.

Встреча, однако, не сулила больших надежд.

— Но у вас очень нечистые краски,— были первые слова маэстро по поводу копий, сделанных для него Ярославом.— Откуда у вас этот неестественный свет? Нет, нет, на способности полагаться нельзя. Возможен один-единственный путь: оставаться в антверпенской академии и всеми силами стремиться забыть пражскую манеру.

Ярослав сердился на мать за то, что она заставила его встретиться с Галле, и ушел удрученный. Но упрямства своего не утратил.

Вскоре он обратил на себя внимание несколькими «*têtes d'expression*»*, как в академии называли модели, лица которых хранили следы тех или иных сильных душевных волнений. Затем попробовал написать красками сцены антверпенского карнавала. О нем заговорили, и он получил даже несколько заказов на портреты.

Когда Галле в конце года посетил Антверпен, он принял приглашение пани Чермаковой и нанес им визит в их новом жилище, отеле «*Bien-être de la Patrie*»**. В присутствии своей молодой жены Галле казался гораздо более приятным и похвалил сюжет, выбранный Ярославом для учебного конкурса.

— Видите, вам уже удастся запечатлеть натуру в четкой форме. Теперь необходимо научиться еще моделировать тело при помощи света и тени. Тогда вы сумеете отказаться от контуров уже в эскизах...

* «Выразительные головы» (франц.).

** «Благосостояние родины» (франц.).

Когда гости ушли, мать молитвенно сложила руки:

— Яра, если б он взял тебя в ученики...

Тот сделал вид, будто для него это не так уж и важно.

— Госпоже Галле твои вещи понравились. Она в этом разбирается, говорят, и сама рисует. А как она была внимательна и дружелюбна!

— Слишком кокетлива, — неприязненно пожал плечами Ярослав.

— Это придает ей шарм. Она совершенно естественна, но при всем том это — настоящая дама.

Мария смеялась над братом:

— Какой же ты художник, если не замечаешь красивых женщин?

— С меня достаточно и того, что я видел, как морщится Галле.

В апреле Ярослав получил за картину первую премию и сразу перешагнул на третий курс.

В Антверпен по приглашению пани Чермаковой приехал художник Карел Явурек, страстный приверженец гусизма, добрый друг Ярослава, хотя и старше его на пятнадцать лет. Пражская «Богемия» писала о картинах Явурека, что от них «тянет дымом памятного костра»....

Друзья решили отметить встречу и успех Ярослава бутылкой мозельского и заглянули в один из портовых кабачков. Вскоре они пришли в прекрасное расположение духа, и Явурек принялся сводить счеты с правителями Праги, распевая о них песенки. Ярослав переводил слова товарищам по академии.

За соседним столиком сидел торговец из Франкфурта, который выразил недовольство хозяину, а тот передал его слова студентам.

— Что? — вскочил Явурек. — Ступай к нему, Яра, и скажи, что я вызываю его на дуэль.

Студенты засмеялись, а Ярослав с преувеличенной церемонностью выполнил поручение.

Хозяин вмешался в разгоравшуюся ссору, объяснил немцу, что в его заведении каждый может развлекаться по своему вкусу; немец не имел желаний драться на дуэли и заявил, что никого не хотел обидеть.

Однако студенты не делали тайны из этого скандала, и на другой день в полдень директор Вапперс вызвал Чермака на допрос. Войдя к нему, Ярослав увидел и Галле. Тот рассматривал конкурсную работу Вапперса — сцену, изображающую Эгмонта и Горна, которых ведут к месту казни.

Вапперс расспрашивал о вчерашнем конфликте, улыбался в усы и под конец сделал Чермаку официальное предупреждение.

— Не лучше ли вам его просто выгнать? — поднял Галле голову от эскизов. И, встретившись с удивленным взглядом, добавил: — Мне хочется увести его от вас в Брюссель.

— В качестве своего ученика? — удивился Вапшерс.

— Я над этим подумываю, — сказал Галле и кивнул Чермаку: — Зайдите сегодня ко мне.

Ярослав вышел в коридор гордый, как паж, только что посвященный в рыцари. Он знал, с какой радостью будет воспринято решение Галле, и спешил сообщить об этом матери. Чтобы идти быстрее, он попробовал обойтись без палки, и успешно.

С той поры время побежало еще быстрее, и дорога пошла вверх. Быть учеником Галле означало получить общественное признание. Слава учителя отбрасывала тень и на его ученика. Рисунки Ярослава привлекали покупателей. Шептались, будто дирекция картинной галереи потребовала, чтобы он прекратил работать над копией картины Рембрандта, иначе в один прекрасный день дело может кончиться подменой.

Перед Ярославом открывалась Европа. Весной в Антверпен приехали д-р Ладислав Ригер и Антон Шпрингр и пригласили его с собой в Голландию. Путешествие длилось всего десять дней, но они видели города, порты, мельницы в Нордене, картинные галереи, могилу Вильгельма Оранского в Дельфте.

Сразу по возвращении Ярослава Галле взял его с собой в Брюссель и показал ему ателье. Ярослав проводил часы бок о бок со своим учителем, покоренный его безошибочным художественным видением, силой его первых набросков. Галле любил прежде всего представить себе картину в целом, на пустом полотне воплотить наброски первых мыслей, расположить фигуры. О длительной работе, ожидавшей его потом, он говорил с раздражением, называя ее поденщиной.

Ярослав уже освоил бельгийский стиль живописи, гораздо более свежий, нежели пражский. Научился делать подмалевку в задуманном тоне с помощью разведенной в скинидаре краски, приглушать тени коричневатым цветом, пробовал передавать мягкие цветовые переходы. Наконец, позволил основным краскам проглядывать под блестящей эмалью, чтобы создавалось впечатление, знакомое по работам старых мастеров.

— Мы находимся под влиянием Поля Делароша, — говорил Галле, — по эта прозрачность представляется мне несколько неестественной. — Видите, — показывал он ученику свой метод работы, нанося краску короткими ударами кисти, — ткань кожи можно сделать более естественной. С помощью легких точечных касаний! Но обратите внимание на человеческую кожу — она и в самом деле такая...

Однажды Галле взял Ярослава в Турне. Это был ухоженный городок, где кроме старинного кафедрального собора не было никаких достопримечательностей, но Галле гордился своей родиной — с него слетела строгость, он развеселился.

— Мы, уроженцы Турне, — гасконцы Бельгии, — заявил он. —

Знаете, как звучал клич при Ватерлоо? Парни из Турне здесь,— значит, можно начинать...

Летом Ярослав со всей семьей Галле поехал в Остенде. До обеда большей частью рисовали, потом купались и загорали, Ярослав записался в школу парусного спорта, занимался гимнастикой и фехтованием.

— Не могу поверить, что вы из страны, где нет моря,— говорил ему Галле, видя, как он управляет яхтой.

— По правде говоря, я боюсь моря, но хочу преодолеть свой страх. Нарисовать море я пока что не могу, вот и укрощаю его хотя бы так.

Иполита до обеда гуляла с Амалией, затем поручала ее гувернантке, но, поскольку она ожидала второго ребенка, редко принимала участие в прогулках по набережной или на яхте. Ей часто нездоровилось, и она должна была беречься от холода. Ярослав радовался, если хоть изредка мог ее сопровождать, и мысленно просил у нее прощения за прежний упрек в кокетстве. Иполита была приветлива и сердечна, иной раз ему казалось, что она страдает от невнимательности и бестактности Галле, выше всего ставившего свои полотна, успехи и заработки, но, когда он в шутку заикнулся о том, Иполита с возмущением отвергла это и замкнулась в себе, как женщина, живущая ожиданием ребенка.

Вокруг Галле постоянно было немало поклонников, и нужно было уделять им время или, наоборот, уловить, в какой момент лучше отступить на задний план. Из числа новых знакомых, появившихся за время летнего пребывания у моря, наибольшее уважение Ярослава снискала госпожа Мальвида фон Майзенбург. Ей было лет тридцать пять, и с молодости, как узнал Ярослав, она посвятила свою жизнь возрождению угнетенного народа, раскрепощению женщин, поддержке революционеров. Она была не особенно красива, но интересна, деятельна, содержательна. Ее необычность притягивала Ярослава, ему импонировало, что она лично знакома с людьми, чьи имена символизируют революционную Европу: Мадзини, секретарем которого она была, Ледрю-Роллен, Герцен.

— Знаете, почему я люблю море? — сказала госпожа фон Майзенбург, когда они шли вместе по берегу. — Потому что оно освобождает нас от личных пристрастий. Возле моря мысли становятся значительнее, вам не кажется? Вы думаете уже не только о себе. Взгляните, даже раковина — словно послание из другого мира. Если вы приложите ее к уху — вы, может, его и услышите...

— Если этот мир существует в нас самих.

— Разумеется, — улыбнулась она, — и если, скажем, у вас хватает смелости его услышать. Но у чехов есть великий пример. Человек, который знал, что все на свете нужно исследовать разумом и свободной мыслью. Звали его Ян Гус.

От этого она становилась Ярославу еще ближе, и он охотно искал с ней встреч.

— Я слышал, вас выслали из Германии. Меня восхищает, что вы решили пожертвовать всем во имя своих идеалов.

— Потому что могу принести в жертву счастье, желания — все, кроме одного: своих убеждений.

— Для женщины, мне думается, это редкость.

— Именно потому я хотела бы освободить женщин из-под гнета неведения. Иначе им никогда не добиться своих прав.

Когда они прощались, Ярослав пообещал как-нибудь приехать в Англию, где госпожа фон Майзенбург собиралась найти убежище.

По возвращении в Брюссель Галле закончил картину «Отрубленные головы». По обычаю больших мастеров он оказал доверие своему ученику: взял его с собой в морг, где хотел сделать набросок лица осужденного убийцы вскоре после исполнения приговора, и позволил Ярославу нарисовать на картине одну из голов.

Это была честь, но и тяжкое испытание: Ярослав все время думал об утверждении Вирца, будто отрубленная голова после казни долго еще чувствует боль, и всю ночь потом не мог заснуть.

Он подчинился указаниям Галле, запечатлевая в красках воспоминания об антверпенском карнавале, но одновременно вернулся к начатой ранее картине. Здесь изображалось, как бедная словацкая семья покидает родную землю; в последний миг остановилась она на границе возле простого распятия, стоящего на невысокой скале, чтобы еще раз оглянуться и махнуть рукой долине, а затем — первый шаг в неясное будущее. Тяжесть принятия решения, сознание его неизбежности — все это старался передать художник в склоненных лицах мужчины и женщины, несущей ребенка. И жесткая, иссохшая мертвая земля под их ногами.

С согласия Галле картина висела потом среди двух тысяч других на брюссельской выставке, неподалеку от «Отрубленных голов» Галле и на редкость сурового произведения Курбе «Дробильщики камня». Чувствительная сценка Чермака, даже цветом отличавшаяся от окружающих произведений, привлекла внимание бельгийского короля Леопольда, когда тот проходил по залу. Он выслушал объяснения о ее авторе, пожелал, чтобы тот был ему представлен, выразил удивление, что такой молодой художник избрал для себя столь серьезный сюжет, и приказал купить картину.

Пани Чермакова гордилась успехом сына и тщательно берегла вырезку из «Иллюстрасьон»: «Эта работа исполнена мягкой и проникновенной меланхолии, лица очень выразительны, и к достоинствам ее помимо звания национального характера и хорошо переданного чувства следует отнести также композицию и хорошие краски. Многообещающее начало».

Известность Ярослава росла. Однажды ночью его разбудил посылный из австрийской миссии: неожиданно скончалась жена посланника, и тот пригласил молодого художника из Праги, чтобы он на прощание запечатлел для него лицо умершей.

— Вы им гордитесь, правда? — время от времени спрашивала Иполита пани Чермакову.

Та соглашалась и с любовью смотрела на высокий лоб Ярослава, резко очерченные брови, решительный рот, благородные черты, безусловно, необычные в столь молодом возрасте.

Пани Чермакова и Мария были частыми гостями супругов Галле. Маэстро Галле вечерами сживал в глубоком кресле и слушал чешские песни; при этом он гладил волосы своей любимицы Амалии, Мили, как он ее называл, которая баюкала куклу, внимательно вглядываясь в лицо Ярослава и, казалось, был доволен.

— Ему явно не хватает одного, — сказал как-то Галле тайно.

Все посмотрели в его сторону.

— Парижа, — удивил собравшихся Галле.

Галле не раз заявлял, что даже когда он уже засиял как ученик Давида и Эннекена, только после посещения Парижа он вернулся законченным художником. Ярослав относился к его признаниям с недоверием, свойственным молодости. Несомненно, в Париже свершается история, на него смотрит вся Европа — но так ли уж просто стать там художником?

Сохранял Ярослав свое недоверие и когда сам попал в Париж. Здесь все было гораздо значительнее, нежели в Брюсселе: улицы, магазины, прошлое, настоящее. Кафе были переполнены, и в рюмках искрились аперитивы. Господа в темных рединготах сопровождали дам в кринолинах с цветочным узором и церемонно приветствовали друг друга, приподнимая высокие цилиндры.

— Да, в Париже я стал самим собой, — возбужденно заверял его Галле, когда они вместе шли по шумной улице. — У меня здесь друзья, а не учителя. В Версале висит моя картина «Коронация Балдуина в Царьграде», можете взглянуть, чтобы лучше понять меня. Но прежде всего мы отправимся за наслаждением... Вот это улица Риволи, по ней вы часто будете ходить, видите, в этой паштетной папаша Гуерра все еще продает свое заливное. Его запивают исключительно теплой мадерой. У меня слюнки текут, пойдете же, вы мой гость.

Ярослав охотно подчинялся его указаниям, но, оставшись один, бродил, полагаясь на собственное вдохновение. Хотя Ригер дал ему несколько адресов — как раз на Риволи находилась мастерская портного Гулека, покровителя соотечественников-чехов, с единст-

венной, должно быть, в Париже витриной, в которой красовалась надпись: «Здесь говорят по-чешски!» — Город казался Ярославу ближе, когда между ним и Парижем никто не стоял. Он слонялся возле кафе, угадывал в людях художников, узнавал в Латинском квартале типы из «Богемы» Мюрже, покупал у антикваров всякую мелочь, чтобы завладеть хоть частицей этого мира, рылся в старых книгах у букинистов на набережной Больших августинцев.

Он отдавал себе отчет в том, с какой охотой позволяет покорить себя. Вечером он с интересом ожидал следующего дня; в этом скоплении домов и людей на каждом шагу поджидало что-то такое, что жаждало быть открытым, жаждало осуществления, город говорил на тысячу голосов, душа парила в бесконечном волнении.

В 1848 году здесь тоже шла борьба, и победившие в феврале были уничтожены в июне как враги государства. Пятнадцать тысяч погибших! Республика может себе позволить стрелять в людей, иронически заявил бывший король Луи-Филипп. Будущее оставалось неясным. Недавно состоялись выборы в Законодательное собрание. Луи Наполеон, сын брата Наполеона — Луи, голландского короля, и его жены Гортензии, неожиданно объявившийся во Франции и провозгласивший себя республиканцем, был избран депутатом и вскоре за тем — президентом.

— Это противозаконно, — слышал Ярослав за партией бильярда в кружке художников, куда Галле ввел своего ученика, — он же был осужден за мятеж, у него даже подданства нет. Да и вообще он сын королевского конюшего.

— Но ведь трудно отлучить от Франции человека, имя которого — Наполеон. А в умах сильных мира сего — огромный страх перед новой революцией и социализмом.

Ярослав тихо осведомился у Галле об именах спорящих художников: того, что был моложе и элегантнее, звали Эжен Фромантен, постарше и решительнее — Робер-Флэри. Ярослав вслушивался, стараясь войти в мир, который манил его и пробуждал нетерпеливое любопытство.

— Разве не правы люди с окраин, избирая депутатами именно тех, кто находится в тюрьме либо в изгнании? — спрашивал Фромантен. — Это их месть за полевые суды, что были в сорок восьмом.

— Тем самым они, разумеется, снова сеют страх. Когда бедствуют рабочие слои, это опасно. А что может спасти нас от демократии? Только сильная рука.

— И таковой, по вашему мнению, обладает Луи Наполеон?

— А кто еще остается? Мать явно научила его верить в наполеоновскую звезду — а нам необходим император.

— Да бросьте вы! Уже в качестве президента он прекрасным образом заставляет Республику плясать под свою дудку. А будучи императором, он ее и скакать научит, господа.

Ярослав перебирал газеты и рассматривал рисунки, изображавшие тщедушную фигурку племянника Наполеона. Он держал в руках конституцию и присягал на верность Республике.

— Что за странные люди эти французы? — размышлял Галле, когда они ночью возвращались домой. — Страстно желают свободы, а потом преспокойно плюют себе в лицо и избирают президентом подобного авантюриста. Разве можно его сравнить с Ламартином! Упустили они возможность раз в жизни иметь президентом поэта.

Ярослав не собирался забывать об истинной цели своего пребывания в Париже и вскоре направился в Лувр, исполненный любопытства в первую очередь к тому, что ему до сей поры было незнакомо. Его захватила игра света у Веронезе, восхитил золотистый Тициан, он отдавал предпочтение меланхолической эlegantности Ван Дейка перед сочностью рубенсовских красок и пышными телесами его женских фигур. Но больше всего радовали его французы. Он медленно шел навстречу потоку времени, запечатленному на полотнах, и искал, где, собственно, находится источник этих бьющих ключом оживших красок.

Долго стоял он в задумчивости перед «Плотом «Медузы», написанным в 1819 году. Вот было событие, когда молодой Жерико явил эту картину миру! Жерико хотел крикнуть о своем отвращении к бесчеловечности, но в картине было столько правды, что она с неистовой силой передалась и краскам. Чувствовал ли художник, что открывает мир романтизма?

Старый смотритель, видя, что Ярослав долго стоит перед полотном, подошел к нему и тихо сказал, как бы продолжая разговор с самим собой:

— Когда он упал с лошади, то долго мучился и медленно умирал, бедняга. Но до последней минуты мечтал о больших настенных росписях, которые хотел создать. Ему было тридцать три, господин. Начинать надо вовремя.

Ярослав благодарно улыбнулся ему и продолжал осмотр. Долго стоял он и перед Делакруа. В «Хиосской резне» тот был близок к Жерико. Этой картиной художник боролся за свободу греков. Потом дышал воздухом Алжира. Его картины казались Ярославу несколько показными, но он отдавал себе отчет в смелом выступлении Делакруа против классического стиля, видел, как он пренебрегает контурами и придает краскам насыщенность в зависимости от тех задач, которые ставит перед собой. Не правильнее ли этот метод бельгийского? — размышлял он.

Вечером он спросил Галле о Делакруа.

— Это отшельник, к тому же он холоден как лед. Я с ним не знаком. Но, полагаю, вы распознали, — быстро направил он его на верный путь, — кто в Лувре царь всех художников? Рубенс. Вот источник, из которого следует черпать.

— Я всегда понимал вас так, что основным источником является природа.

— Отлично,— удовлетворенно улыбнулся Галле,— вы надышались Парижем. Вам стоило бы начать тут какую-нибудь картину, чтобы она всегда напоминала вам о вашем первом посещении Парижа.

Ярослав уже думал об этом, но шум пробуждающейся каждое утро жизни вселил в его душу такое беспокойство, что он всякий раз откладывал эту работу на завтра. Он поднимался раньше утреннего колокольного перезвона. Спешил на улицу; переступал через метлы дворников и обходил лавочников, поднимающих жалюзи. Какое-то время он шел в потоке молодых работниц, спешащих на фабрику. Вокруг него слышались возгласы торговцев-разносчиков: «Свежая вода! Яйца! Птичий корм!»

Ярослав любил ходить по берегам желтой Сены, которая текла, бесстрастная, как время. Рабочие, добывающие со дна реки песок, покрикивали из своих широких лодок на рыбаков, а те ругали их за шум. На стройках начиналась работа, маленькие кафе наполнялись посетителями.

Но особенно интенсивно жили парижские улицы по вечерам, когда появлялись люди, кормящиеся за счет скуки других: уличные акробаты, гадалки, шарлатаны, продающие лекарства от чего угодно. Однажды он встретил группу дилипутов, выступавших на Ипподроме. В сумерках мигали фонари на экипажах, увозящих загородных влюбленных.

В кафе на тротуарах можно было завязать разговор с кем угодно; вечерний весенний воздух делал людей общительными и готовыми к минутной дружбе.

Ярослав нередко возвращался домой, когда уже гасли фонари и даже ночные тряпичники покидали места своего промысла.

— Ну, как парижанки? — прищурился глаз Галле, когда они утром встречались, и одобряюще улыбался.

Мраморные богини за решеткой Люксембургского сада молчаливо сулили Ярославу упоение. Но он лишь издали смотрел на женщин, которые с достойным и неприступным видом шли по тротуарам, покачивая колоколами декорированных кринолинов, и сидели в экипажах.

— Кринолин — это символ времени, не так ли? — шутил Галле. — Больше обещает, чем дает. Лишь надуваются притворно, а Осман из-за них вынужден расширять бульвары.

Ярослав поймал себя на том, что ему не нравятся легкомысленные шутки Галле; его фривольные разговоры о женщинах бросали тень на его интимные отношения с Иполитой и тем самым как бы оскверняли ее. И все же, насколько можно было судить по портретам Иполиты, Галле, несомненно, был ею очарован. А Ипо-

лита? Ярослав вспоминал ее красивое лицо: даже кисть Галле вынуждена была отметить некую молчаливую тайну в глубине глаз, а в уголках губ лежала тень, которая могла означать как довольство, так и разочарование.

— Ну что? — спрашивал Галле. — Должен ли Париж исполнить еще какое-нибудь ваше желание?

— Непременно. Чтобы я поскорее снова оказался здесь.

Они поспешно возвращались в Брюссель. У Иполиты родилась вторая дочь. Роды были тяжелые. Несколько дней были наполнены тревогой. Но опасность миновала, и Иполита вернулась к жизни, похудевшая и бледная, с ввалившимися щеками. Все ее силы отнимал ребенок. Лишь некоторое время спустя она оправилась, повеселела и энергично стала наверстывать то, что, как она утверждала, было ею упущено.

При каждом визите Ярослав приносил ей цветы, передавал приветы от матери и сестры, его все больше и больше влекла к себе женщина, создававшая приятную атмосферу для окружающих, однако неизменно как бы таившая в себе частицу мира, куда она не собиралась кого-либо впускать.

— У меня сейчас ни на что нет времени, — сказала она однажды Ярославу, когда тот спросил, собирается ли она еще рисовать. — Вам следовало остаться во Франции и ждать, когда я вас позову.

Луи Галле смеялся:

— А вдруг бы ты нас больше не увидела? Там сейчас такое происходит!

Луи Наполеон хоть и приказал повысить себе жалованье на три миллиона, чтобы было на что покупать избирателей, все же не был уверен в исходе предстоящих выборов, и потому 2 декабря 1851 года, в годовщину Аустерлицкого сражения, приказал арестовать политических лидеров и занять их квартиры. Первые сообщения гласили, что Париж спокоен: кафе были полны, театры играли. Затем листовки призвали к строительству баррикад. Правительство намеренно стерпело это, Париж два дня принадлежал республиканцам. Но потом выступили войска. Брюссельские газеты были полны сообщений о кровопролитии на парижских улицах: солдаты, щедро оделенные водкой, врываются в кафе, в дома, стреляли, добивали раненых, убивали мужчин, женщин и детей. Арестованных сразу высылали в Алжир и Гвиану.

Ярослав представлял себе спокойные улицы, которые волновала лишь жажда развлечения и наслаждений, и не мог поверить, что они превратились в арену подобной трагедии.

Но слухи подтвердились. В Брюссель приехал Виктор Гюго, бежавший от мести тирана, а вслед за ним — Александр Дюма, хотя про него и поговаривали шепотом, что он бежит не от Наполеона, а от судебных повесток и жалоб кредиторов. Гюго поселился в

скромной квартире, Дюма же арендовал дом на бульваре и пригласил бельгийских художников посетить его.

Галле с Чермаком находились среди гостей, нанесших приехавшему Дюма визит. Писатель ослепил их неукротимой энергией и неиссякаемым остроумием. Он без умолку рассказывал, развлекая окружающих и себя самого, перемешивая исторические сведения с анекдотами и вымыслом.

— За едой не стареют,— пригласил он своих гостей к столу. Предложил им мясо с перечным соусом, заметив, что некогда перец ценился на вес золота, и объявил себя автором салата.— Обо мне говорят, что я эклектик, но салату это на пользу. Как уже известно со времен римлян, перец и салат с трюфелями вызывают желание выпить. Что касается кухни — тут мы, христиане, испортили все, что могли. Хорошо еще, что в монастырях понимали толк в вине.

Когда Галле представил ему Чермака как чешского художника, у Дюма тут же оказалась наготове забавная история о короле Вацлаве:

— Ваш король умел ценить хорошее шампанское. Когда он приехал в Реймс вести переговоры с Карлом IV, он ежедневно пивался — и таким образом вел переговоры целый год. Я вам скажу, когда это началось. В мае 1397 года.

— В наших исторических источниках об этой поездке Вацлава IV не упоминается,— удивился Ярослав.

— Возможно,— согласился Дюма,— но я предпочитаю истории легенды. Они рассказывают о людях больше. Вы, например, верите в существование того пьяницы раба, который подбавлял в вино морскую воду, даже не подозревая, что тем самым улучшает его вкус? Я — верю. Многие открытия появились благодаря мелкому жульничеству.

Удовольствие от кушаний Дюма сумел сдобрить интересным разговором, развлекая сразу человек тридцать гостей.

— На мой вкус, лучше всего токайское. Только половина мировых запасов находится у царя, половина — у императора. Мой великий друг Гюго прав: необходимо совершить беспощадную революцию. И опустошить их погреба, добавлю я.

Все сожалели, что прием окончился, но воздали должное кофе, поданному в конце.

— Поблагодарим йеменских коз, господа. Они открыли кофейное дерево, объедая побеги которого, чувствовали себя бодрее,— вот где истоки нашего наслаждения. Представьте себе, во времена Людовика XIV еще пили шоколад. Бедный король-солнце! Имей он представление о кофе, он платил бы за него бриллиантами.

Прощаясь, Ярослав спросил у Дюма, можно ли жить в Париже.

— Поезжайте спокойно,— посоветовал Дюма,— старый Париж не изменился. Впрочем, я тоже туда вернусь — у меня появилась

охота начать издание прекрасного журнала. Дело нелегкое, но я не сомневаюсь в успехе. Пока у меня есть только название. Какое? Разумеется, «Мушкетер»!

Итак, когда Ярослав вторично приехал в Париж, то застал уже империю. Он ожидал найти город притихшим от ужаса, взволнованным жестокостью, втайне клянущимся отомстить. Но был удивлен, встретив всюду расслабленность и, скорее, тихую радость от того, что кто-то намерен гарантировать спокойную жизнь. Утренний аперитив, воскресный обед, свидание влюбленных между пятью и семью. Магазины ломались от тканей, мебели, предметов старины. Неожиданно ему встретился старинный чешский щит, и он купил его. Обрадовало его и то, что среди эстампов он обнаружил эскизы чешских национальных костюмов, сделанные Голларом.

О великих планах перестройки Парижа говорилось больше, чем о декабрьских событиях. Император, который по примеру своего дяди завел в Тюильри большой двор, хотел расположить к себе страну мечтами о будущем.

— Это идиот, и к тому же вульгарный,— говорилось за закрытыми дверьми.

Но раздавались голоса и в его защиту:

— Это единственный француз, сохранивший представление о славе Франции.

Так говорили и иностранцы, не желавшие расставаться с Парижем, как с местом приятной, веселой жизни. Говорил так и Вапперс, решивший, что, если он хочет что-то еще совершить в жизни, Париж ему более необходим, чем слава директора в Антверпене. Галле с Чермаком навестили его, а потом все вместе зашли к Вирцу, который тоже уже приобрел здесь ателье. Но тот высказывался иначе.

— Ненавижу насилие и жестокость,— заявил он, показывая им огромное, во всю стену полотно,— и хочу изобразить весь ужас войн. Я назову картину «Последняя пушка».

Вапперс напомнил наполеоновские слова: «Империя — это мир».

— Не стройте себе иллюзий, коллега,— возразил Вирц. — Император — это новое воплощение герцога Альбы. При таком историческом опыте, как у нас, следовало бы иметь чутье. У этого человека нет ни капли совести.

— Но как же тогда случилось, — высказал Ярослав сомнения, не выходявшие у него из головы,— что за его императорский титул голосовало еще больше французов, чем за его пост президента? Девяносто семь процентов!

— Еще бы,— покачал лохматой головой Вирц,— Франция вымолила для себя диктатуру. При демократии нужно думать и придерживаться какой-то точки зрения. Для французов это слишком утомительно.

Когда они возвращались от Вирца, Вапнерс сказал:

— Голова у него работает, но он больше говорит, чем рисует, а этого я в искусстве не люблю. Я вообще не люблю художников-лунатиков. Хватает работы и в реально существующем мире.

Но Галле не согласился с точкой зрения Вирца:

— Мы в Брюсселе рисуем историю. Здесь над нами за это начинают подсмеиваться. А что вы найдете в этой новой французской живописи? Что найдете на выставках и в магазинах? Гаремные сцены, рынки рабынь, застенки, просто-напросто удобные поводы для наиболее соблазнительного изображения женского тела... И для завоевания публики.

— Верно,— подтвердил Вапнерс,— вместо свободы в течение одной ночи они выбрали для себя нового кумира — женщину.

— Император знает, что подобное вероисповедание легко распространяется. И сам подает пример: у него полно любовниц. Это делает жизнь веселей. Выходишь из картинной галереи — и мысленно раздеваешь всех женщин, попавшихся навстречу, а?

Как обычно при разговоре на подобную тему, Ярослав молчал.

— Я вас не исповедую,— улыбнулся Галле его сдержанности,— напротив, скорее мне следовало бы вас предостеречь: вы молоды, будьте осторожны.

Лишь самому себе признавался Ярослав в том, что по вечерам, когда он оставался один и теплая мгла окутывала его, будто женские волосы, когда ветер, шумевший в ветвях, напоминал шелест женских одежд и каждое окно скрывало тайну девичьих снов,— им овладевала жажда любви.

Иногда по ночам Ярослав открывал окно, выходящее на заднюю стену старого дома, но ничего не видел, кроме молчаливой тьмы. И лишь когда волнение его утихало, перед ним словно раздвигался занавес, являя лицо, которое он боялся увидеть, лицо той, что безраздельно завладела его душой, вызывая в нем чувство собственной вины.

Лицо Иполиты Галле.

— Последний день,— сказала Иполита, когда они пришли к Лорете.

Опускался серовато-голубой вечер, камни дышали холодом, ангелочки на решетке коченели, башня со звездой уныло торчала над крышами.

— Я думал, куда бы вас еще повести.

— Меня интересует Лорета. Ваш брат Ян говорил мне, что в монастыре песметные богатства. Вы когда-нибудь видели «Пражское солнце», эту алмазную дарохранительницу?

— По правде говоря, я не очень люблю пражские храмы, разбогатевшие после битвы на Белой горе благодаря истеричным дворянкам...

— Вот видите, а мне в Праге все кажется таким гармоничным.

В галерее внутреннего двора задержался последний отблеск теплого осеннего дня. Иполиту поразили две барочные скульптурные группы, полные живого трепета, похожие на окаменевшее пламя. Она осмотрела часовню с черной мадонной. Монах, присоединившийся к ним, заметил, что это копия вифлеемской хижины, перенесенной ангелами в Италию.

— Ну не вздор ли? — усмехнулся Ярослав.

— Но в вере все невероятно, — улыбнулась она его возмущению. — Неужели вы уже утратили детскость души?

Ее шаги тихо отдавались под расписанным сводом галереи.

— Вы ходили сюда мальчиком?

— Иногда — послушать музыкальный перезвон колоколов.

— А когда вы лежали в том ящичке и подолгу бывали один, о чем вы думали? Одолевали вас буйные мечты?

Ярослав не понимал, почему она возвращается к этой теме. Была ли ей близка мысль о его детской беспомощности? Или она чувствовала, что годы болезни стали отправной точкой его нынешней жизни, истоком его честолюбия и упорства? Или просто стремилась добиться более доверительной исповеди?

В окружении каменных святых казалось, что в ней таится волшебство жизни, все еще не явившее себя.

— О чем вы мечтали?

В памяти Ярослава воскресали устраиваемые матерью вечера, на которые приходили девушки из знакомых семей со своими гувернантками; барышни чинно слушали Звонаржа, игравшего Бетховена, и декламацию, но не могли дождаться, когда же наконец начнутся танцы.

Это были бледные девочки, утиравшие ладонью в перчатке лоб, скрывавшие свое смущение в кружевных носовых платочках. Иногда по уходе какой-нибудь из них вечер казался тоскливым, но позже их лица тоже становились всего лишь частью мира, который принадлежал карандашам и кистям.

— Я был робким. Не мог танцевать и боялся, что меня высмеивают за мой костыль.

— А ваша первая любовь?

— У нас бывал английский морской капитан с красивым именем Ральф Ноэль, посвятивший себя исследованию черепов, не знаю точно почему. Он был родственником жены лорда Байрона. Капитан часто говорил об этой родственнице, а я о ней мечтал. Должно быть, потому, что она имела отношение к Байрону. Это была моя первая любовь.

Губы Иполиты дрогнули, и Ярославу показалось, что он открыл ей больше, чем намеревался.

— Жаль, что я уже тогда не знала вас, — тихо сказала она.

Она играет со мной, думал Ярослав, так она воздействует своей красотой на мужчин, ведь она же догадывается, что ею очарованы. Если она хочет, чтобы я в нее влюбился, — ей больше не надо добавлять ни слова, ни взгляда. Я шел к ней с первой минуты нашего знакомства. Вначале это было уважение, восхищение, еще холодное, но потом я подпал под ее обаяние, думал о ней, хотя и не позволял себе этого, привык, что я всегда неподалеку от нее. Несомненно, я мало знаю женщин, но верю, что в Иполите есть все, что необходимо для моей любви: она умеет быть очаровательной всякий раз по-иному, умеет радоваться красоте жизни и искусства, она тиха и вдумчива, а иной раз — необузданна и весела, сердце ее полно тепла, я знаю, как она относится к детям, как сочувствует человеческим страданиям. А позже — позже я уже не размышлял и не анализировал свои чувства. Я был как пловец, очутившийся вблизи Магнитной горы. Существовала только Иполита. Ей прекрасно известно, что уже в прошлом году я нарисовал двух влюбленных в лодке среди бушующего моря, которые прижались друг к другу, чтобы забыть об опасности. Она наверняка заметила, что я придал им сходство с нами. Она по моим глазам читает, когда я взволнован. Поэтому успокаивает меня, если я выказываю ей свою преданность.

Нет, она со мной не играет. Понимает мои мучения. Но, если понимает, значит ли это, что она переживает их так же, как я?

В ту минуту Ярославом владело страстное желание упасть на колени и, как ноги святой, обнять ее ноги.

И она, должно быть, поняла это, потому что вдруг вздрогнула и заспешила прочь.

Когда Ярослав догнал Иполиту, лицо ее вновь обрело замкнутое выражение.

— Я с нетерпением жду встречи с детьми, — сказала она, — но я благодарна за эти дни в Праге. Что же нас ждет?

Вот так всегда она держалась на расстоянии шага от его робкой страсти, но стоило ему отважиться на какой-то шаг вперед, она немедленно отгораживалась стеной светской холодности. Поэтому Ярослав заставлял себя быть осторожным.

— Новая работа, — только и сказал он.

— Наверное, — кивнула она и улыбнулась его решимости. Положила руку на его ладонь. — Я верю в вас. Вы не имеете права изменить Праге.

Теперь улыбнулся он — как такое может прийти в голову?

Но слова не имели значения. Оба были взволнованы — ведь определенный период в их жизни подходил к концу.

— Вы знаете, мой муж собирается переехать в Париж.

— Мне он этого пока не говорил.

— Я была бы рада. У меня там родители. И к тому же Париж — это лабиринт, где ты не находишься под постоянным контролем.

Он взял ее руку в свои и горячо произнес:

— В прошлый раз я вас часто вспоминал там. Представлял себе вас в Париже.

— Вряд ли на это находилось время. Луи мне рассказывал, сколько всего вы там пережили.

— Он не все обо мне знает. А когда я оставался один...

Иполита мысленно согласилась, что так могло быть, и задумалась.

— Надежда на Париж примиряет меня с отъездом из Праги. Однако не скрою, меня это и пугает.

Она до боли сжала ему руку.

На площади стемнело, газовые фонари светили в сумерках неверным голубым светом.

Ярослав украдкой взглянул на нежное лицо Инолиты, на зеленые глаза, затененные черными ресницами, на губы, таящие блаженство и горечь одновременно. У него ни в чем не было уверенности, даже в себе. Может ли он вступить на этот путь? Все говорило против. Строгость матери, отеческое расположение Галле, страх за Иполиту. Собственные принципы. Все добрые намерения.

Чермаки проводили супругов Галле на вокзал. Пражские улицы были неприветливы. Ноябрьское небо слезилось.

— Что ж, счастливого пути, — сказал Ярослав Иполите.

Это означало: «Я не забуду ни единого вашего слова, ни пожатия руки, буду считать дни».

— Я благодарю моего самоотверженного пражского гида, — улыбнулась она из окна.

Это означало: «Вы не ошибаетесь, мои глаза не лгали. Даже если это невозможно для нас обоих, даже если б весь мир проклял нас за то — я буду ждать и повторять: «Париж...»

Накануне поздно вечером, когда они на минуту остались в комнате одни, Иполита вдруг спросила:

— Что, если огонь превратится в холодный пепел прежде, чем мы согреемся?

Не найдя иного ответа, в яростном протесте он схватил нож, которым она только что резала яблоко, и быстро полоснул им по ладони, чтобы доказать свою решимость. Кровоточащую рану он прижал к ее повозному платку.

Иполита взяла платок со свежими следами крови и поднесла к губам.

На вокзале стоял шум, все говорили одновременно и громко смеялись, чтобы скрыть смятение.

Когда поезд наконец тронулся, все почувствовали облегчение — наконец-то они могли вновь стать самими собой.

Пани Чермакова долго махала вслед поезду; потом взяла под руку Ярослава, с другой стороны шла Мария.

— Ты не сразу поедешь за нами, верно?

— Не бойся, я останусь в Праге.

— Хоть теперь немного отдохнешь.

— И повидею знакомых. Я даже доктора Ламбла еще не видел. Это верно, что он влюбился в Немцова?

— К сожалению. Можешь представить, что люди об этом думают.

— Врач — и такая красивая больная, оба умные, независимые люди...

— Но Немцова замужем. Как ты этого не понимаешь?

Ярослав промолчал. Ему были известны принципы матери. Когда он был моложе, она перевела и издала советы молодым Лафатера. И хотя пани Чермакова прекрасно понимала интересы своих детей и старалась быть им полезной, они всегда казались ей недостаточно взрослыми и к их поведению она подходила со строгими мерками.

— Я и с Манесом еще не поговорил толком, — сказал Ярослав, чтобы перевести разговор. — А что, собственно, происходит с Тылом?

— Кто только его не мучит. Даже те, кому следовало бы объединиться с ним.

— Ты же знаешь историю, — вмешалась Мария, — и знаешь, в Чехии никогда не было единства.

Ярославу казалось, что опасная тема снята, но, когда он, прежде чем сесть в экипаж, на минуту остался на тротуаре вдвоем с матерью, она спросила:

— Послушай, Яра, не начнет ли в конце концов маэстро Галле ревновать — ведь ты так занят его женой?

— Ко мне? Почему? — беспомощно улыбнулся он.

— А что у тебя с рукой?

— Пустяк. Задел во время фехтования.

Он знал, что стоит только взглянуть ей в глаза — и будет ясно, что матери известна правда. Видимо, вчера она заметила их взгляды.

— Будь умницей, Яра, — тихо сказала она.

— Ну, мамочка, — снова улыбнулся он, как в детстве; но знал, что обманывает ее.

И доказательством обмана служил холод одиночества, охвативший его на пражских улицах.

НЕСЧАСТЬЕ В ОСТЕНДЕ

Однажды, когда император проезжал на лошади под окнами Евгении, он галантно крикнул:

— Как к вам попасть, барышня?

— Через храм, сир, — шутливо ответила испанка.

Народное остроумие выпустило коготки: хороша наездница, уж она-то знает, когда пришпорить, а когда натянуть поводья, чтобы император бежал рысью, словно в манеже. Но когда был назначен день свадьбы, страна восприняла это с чувством удовлетворения. Через глубокие канавы, развалины старых домов и кучи глины в холодный январский день потянулся к Нотр-Дам поток любопытных. Собор сиял тысячами свечей, звучала музыка, глаза слепили бархат и мех горносталя. Евгения в платье из белоснежного сатина, поднявшись по ступеням собора, сделала публике столь глубокий реверанс, что вызвала слезы у всех гризеток. Словно снежинки замелькали носовые платки, падали цветы, это был праздник любви, на который Луи Наполеон явился в мундире Почетного легиона с орденом Золотого руна на шее. Любители старины простили ему в эти минуты, что он разрушает исторический город, будто карточный домик, предлагая вместо него пока лишь чертежи новых улиц за стеклами витрин.

Приехав снова в Париж, Ярослав знал, что на сей раз речь идет уже не о разведке, его ждет борьба. Осмотревшись, пора браться за работу, серьезно пробовать свои силы. Все пережитое в Праге настраивало его на этот лад. Он должен доказать Инолите, что достоин ее. Праге же подтвердить, что не сделался ренегатом и вступает в схватку в ее национальных цветах. Он считал это своим долгом по отношению ко всем, кто остался на родине и мыкал горе. Йозеф Манес тщательно пытался получить хотя бы незначительные заказы и экономил гроши, чтобы поехать в Словакию. Ламбл рассказал Ярославу, в какой нищете живет Немцова со своими детьми. Чехия влачила жалкое существование. Искусство едва дышало. Ярослав мог решиться уехать на чужбину. Но не имел права превращать это в развлекательную поездку.

В Париже он вел себя уже значительно самостоятельнее прежнего. Мог явиться к художникам, с которыми познакомил его Галле, и напомнить о себе. Навестил он и портного Гулека, самого богатого чеха в Париже; тот ввел его в «Клуб», объединявший всех чешских ремесленников, заброшенных сюда судьбой.

Достаточно было Ярославу сделать несколько шагов по улице, зайти в кафе позавтракать, и он смог убедиться, что в Париже царят женщины.

Всюду дробно стучали каблучки, и львицы и лоретки смеялись искусственным высоким смехом, лакомились шоколадными конфета-

ми, а если официант ставил перед ними бокал лимонада, его следовало оставить недопитым.

Художник Робер-Флэри, с которым Ярослав вновь сблизился — несмотря на то, что тот был уже членом Академии и лет на десять старше его, — сказал Ярославу:

— Если моя работа может вам в чем-то помочь — приходите, смотрите, спрашивайте. Только сегодня моя «Варфоломеевская ночь» вряд ли пришлась бы по вкусу. Дорога к успеху — это изображение красивой обнаженной женщины, укрывшейся под каким-нибудь античным именем.

Хотя о Робер-Флэри поговаривали, что он прочитывает историю лишь как иллюстратор, Ярославу нравилась его сдержанность, и Галле ценил его за уважение к свободе народов; в его картинах серьезная нравственная мысль, как правило, сочеталась с интересной манерой письма. В «Галилее перед инквизицией» он отстаивал право на собственные убеждения, в полотне «Карл V поднимает кисть Тициана» показал, сколь значительной считает работу художника. Ярослав придерживался того мнения, что Галле — наиболее современный из бельгийских художников; он научился у него уравновешивать и компоновать элементы картины и умел подражать его разнообразной манере письма; но Ярослава интересовало, каким образом французские художники наделяют краску самостоятельной выразительной силой, — он чувствовал, что здесь, в Париже, для него открывается возможность дальнейшего обогащения и усовершенствования.

По вечерам он заново перечитывал «Историю» Палацкого, чтобы найти образы, олицетворяющие значительные периоды в судьбе чехов. Он издавна уважал Яна Гуса за его мужество. Интересовали его и Ян Жижка и Прокоп Голый, и он сделал набросок: сидя вдвоем на военной повозке, они читают Библию; он упорно размышлял о том, что же творилось в их душах, когда великий гетман делился с преемником опытом и тревогами. Ярослав перевел рисунок на камень. Но ему хотелось сюжет своей следующей значительной картины связать с изображением Праги. И его не оставляло желание показать убожество жизни, которое он там видел, обвинив в жестокости и равнодушии тех, кто заботится лишь о своем благосостоянии. Он решил обратиться к истории придворного поэта Шимона Ломницкого, которого после битвы на Белой горе Габсбурги лишили всего имущества и он, как нищий, вынужден был просить милостыню на пражском мосту.

— Это исторический факт? — спросил Робер-Флэри, когда Ярослав показал ему первый эскиз.

— Может, и легенда, — вспомнил Ярослав слова Дюма. — Но я воспринимаю этого доведенного до нищеты художника как символ судьбы нашего народа.

— Не хотел ли он этим нищенством вызвать возмущение?

— Возможно, — согласился Ярослав. — Чтобы доказать низость и высокомерие своих врагов.

Когда Ярослав узнал, что Карел Свобода избрал тот же сюжет, его боевой дух возрос. «Я хочу заткнуть за пояс всех этих молодчиков в Праге», — написал Ярослав Явуреку, имея в виду учеников Рубена, и попросил друга срочно прислать ему набросок Градчан и скульптур на Карловом мосту, чтобы достоверно передать фон.

Галле, заканчивавший для весеннего парижского Салона картину «Торквато Тассо», похвалил эскиз Ярослава и предложил метод разработки. Однако в Ярославе что-то противилось этому. Желание идти своим путем? Нечистая совесть? Ему удалось найти на улице Годо-де-Мор две дешевые комнатки, в одной из которых он устроил ателье. Он знал, что условием вступления в общество художников является картина, принятая в Салоне. Поэтому сосредоточил всю свою волю на работе.

Он изобразил похудевшего и состарившегося поэта у входа на мост. Все прочее служило фоном: усталые взгляды других нищих, сострадание на лицах отдельных прохожих, высокомерие дворян и бездушные богачей, старавшихся не замечать его скорбной фигуры. Эта центральная фигура была особенно важна для Ярослава. Ей он посвятил больше всего раздумий, этюдов, набросков; через подавленность Ломницкого он хотел показать бессилие поработанных, выражение лица поэта должно было свидетельствовать об унижении, которому подвергается благородство. Возле смятой шляпы Ярослава нарисовал несколько холодно поблескивающих монет.

А пока он работал, в его душе уже вырисовывалась новая картина, названная им пока «Контрреформация». Картина должна была изображать, как солдаты во главе с иезуитами врываются в семью евангелистов в поисках запрещенных книг. Ярослав стремился показать достоинство преследуемых, контрастирующее с жестоким насилием. Галле весьма заинтересовался сюжетом. Он предложил Ярославу использовать живописное решение одного из своих известных полотен, где изображалось преследование евреев. Но Ярослав больше тяготел к Робер-Флэри, который не посягал на его стремление к самостоятельности.

Работа над «Шимоном Ломницким» продвигалась быстро, принося Ярославу блаженное чувство удовлетворения.

Он был уверен, что сумел придать картине историческую точность, но не хотел ею ограничиваться и выражением лиц и раскрытием взаимоотношений между людьми стремился сообщить сцене общезначимость.

В один прекрасный вечер Ярослав приказал себе больше не прикасаться к фигуре поэта: верил, что она будет красноречива и без излишней броскости. Неделя прошла в напряженном ожидании —

одобрит ли комиссия, принимающая картины, его полотно? Галле, бывший в близких отношениях с некоторыми из членов жюри, сообщил ему добрую весть прежде, чем его известили официально: «Шимон Ломницкий» был принят и даже удостоен почетной грамоты. Ярослав Чермак вошел в круг парижских художников.

Пришлось стерпеть, что в каталоге он значился и учеником Рубена; с иронией вспоминал как Рубен мучил его в академии. Но вскоре Ярослав смог написать матери, что граф Эуген Чернин из Вены, хоть лично и не знакомый с ним, пожелал приобрести какую-нибудь его картину и в качестве выполненного заказа принял «Шимона Ломницкого», распорядившись выплатить ему пять тысяч франков. Ярослав послал матери номер журнала «Иллюстрасьон» с силографической репродукцией «Шимона Ломницкого».

Иполита приехала в Париж в конце весны.

Галле послал за Ярославом. Он отобедал с ними, сопровождал их на прогулке, посетил с ними оперу.

Лицо Иполиты стало еще прекраснее; на нем появилась тень тайного страдания, но смеялась она заразительнее прежнего, настроение ее было переменчивым, иногда она раздражалась на Галле, но тут же винила себя в нервозности и начинала относиться к нему с преувеличенным вниманием.

Уже в ту пору, когда Ярослав заканчивал «Ломницкого» и находил такое удовлетворение в работе, — уже тогда он спрашивал себя: не послужила ли долгая разлука для них обоих лекарством, не покончить ли с пражским безрассудством и не вернуться ли к галантным дружеским отношениям? Знал, что для него это было бы тяжело, но прежде всего он думал об Иполите, ее спокойствии и задавал себе вопрос — принесет ли ей пользу его самоотверженность?

Он избегал минуты, когда им с Иполитой придется остаться наедине. Когда это все же случилось, он свел разговор к вопросам, касавшимся практических дел, стараясь быть веселым и беззаботным. Казалось, что Иполита видит его старания и тоже покоряется неизбежному.

Но когда однажды Галле неожиданно ушел и они вынужденно очутились наедине в квартире, до сих пор пустой, лишенной тепла жизни, после обычной минутной комедии Иполита отбросила вдруг веер, словно он олицетворял собой притворство, и с горькой улыбкой сказала:

— А не прожить ли нам этот вечер честно? Или вы, противясь злу, уже довели себя до смертельного недуга?

Ярослав посмотрел на нее с мольбой...

Но потом высокие ледяные стены, которыми он себя окружил,

словно в миг растаяли, он почувствовал, что этими словами она сняла тяжесть с его души. И сделал то, на что толкала его страсть уже в Лорете: упал на колени, обнял ее ноги и прижался к ним лицом. Он чувствовал себя в эти минуты бесконечно слабым, но сердце его наконец-то вновь билось свободно.

Его поступок был настолько выразителен, что слова оказались не нужны. Она долго молчала и гладила его волосы.

— Вы в самом деле думали, что мы снова сможем стать чужими? — прошептала она.

— Не знаю. Я не думал. Просто жил вполсилы.

Они говорили устало, как любовники, которым уже незачем пылать, потому что муки страсти ими пережиты в пору насильственного самоотречения, а теперь они поняли, что тщетно противились судьбе и, по сути дела, давно уже принадлежат друг другу.

Ярослав поцеловал ее — поцелуй был крепким и продолжительным, словно он был не только первым, но и последним.

— Не думайте, Яра, будто я не пыталась сопротивляться. Но нет, я не могу так жить. Я слишком несчастна и не вынесу этого. Не хочу заживо хоронить себя. Я эгоистичнее, чем вы думаете. Вы даже не знаете, что вы внесли в мою жизнь. У меня было достаточно времени, чтобы все обдумать...

Ярослав целовал ей руки в благодарность за то, что она вот так отдавала себя. Гордость ударила ему в голову будто хмель. Вместе с ароматом ее одежды и волос он вдыхал жизнь, от которой до сего дня отказывался.

— В течение всех этих месяцев я думал только о вас, Иполита. Но не сердитесь на меня за трусость — я не могу быть вором в доме своего учителя...

— беру вину на себя, — сказала она с чуть заметным презрением.

Он беспомощно развел руками.

Понимая, что в Ярославле борются чувство к ней и его отношение к Галле, Иполита проговорила, склонившись к нему:

— Я меньше всех хотела бы его обидеть. Но у меня всего одна жизнь. Раз бог дал мне ее, — значит, обязывает меня от нее не отказываться. Я приду, когда вы захотите. И когда-нибудь, по-видимому, убегу — не забывайте об этом.

Ярославу казалось чудом, что эта роскошная женщина любит его. Ведь я ничего собой не представлял, когда она меня узнала, говорил он себе, я и сейчас мало что значу, я ничего не сумел для нее сделать, ничего не могу ей обещать — я только хотел иметь право любить ее, не ожидая ее преданности. Созвучность их чувств казалась ему фатально многозначительной. Всем своим существом мечтал он служить Иполите, чтобы отблагодарить ее за подобный подарок.

Она целовала его и спрашивала, счастлив ли он.

— Моя жизнь наполнилась.

— Мы только еще на пороге ее.

Они не могли расстаться, но Ярославу казалось невысказанным встретиться в этот вечер с Галле.

Он возвращался домой в темноте, благоухающей ландышами, и благодарил Париж. Нигде больше не могло произойти то, что он пережил сейчас.

Они сидели в ложе прямо над оркестром. Видели дирижера, темпераментно наклонявшегося вперед, а в спокойных местах устало опиравшегося спиной о барьер оркестровой ямы, смотрели на безостановочно движущиеся руки оркестрантов. Артисты расхаживали по сцене, играли, исполняли арии.

Но весь оперный спектакль был лишь аккомпанементом мелодии, неумолкаемо и все более настойчиво звучащей в них самих. Серьезные и печальные мелодии были созвучны их состоянию. Они сидели рядом, Иполита плечом и бедром касалась Ярослава. Полумрак сближал их. Он гладил ее локоть. Все в этот вечер казалось значительнее обычного, они были словно наэлектризованы долгим ожиданием.

Свет в антракте застиг их врасплох — он был вызывающе обыденным и обнаруживал мешающие подробности. В тот вечер для них имела значение лишь достигнутая близость и взаимопонимание, их сердца бились в такт.

— Не хотите освежиться? Принести лимонный сок?

Иполита смотрела на него сияющими глазами, и в них была полунежность, полудопрос. Ее гладко зачесанные на уши волосы блестели в свете ламп.

Они отступили к зеркалу в глубине ложи и обнялись, тесно прильнув друг к другу.

Вдруг кто-то взялся за ручку и открыл дверь.

— Добрый вечер. Не помешаю?

В ложу вошел темноволосый, элегантно одетый мужчина лет тридцати пяти, с наполеоновской бородкой.

— Я увидел вас в ложе и хотел лишь поздороваться. Вы снова в Париже, мадам?

Иполита представила вошедшего. Это был доктор Амбруаз Тартье.

Он пользовал Иполиту еще до замужества, посещал супругов Галле и в Брюсселе. Держался он непринужденно, быстро составил мнение относительно пары, находящейся в ложе, но не хотел смущать Иполиту и потому излишне пространно рассуждал о музыке Мейербера.

— Муж остановил свой выбор на Париже, — сообщила ему Иполита. — Но вы же его знаете — у него нет для меня времени, вот

он и попросил господина Чермака сегодня сопровождать меня. Это ученик мужа, можете увидеть его картину в Салоне.

Тардье хорошо относился к Иполите; с лукавыми огоньками в глазах он дружески спросил:

— А ваше здоровье? Все в порядке?

— Кажется. Иначе я бы уж нашла к вам дорогу.

— Лучше я откажусь от удовольствия чаще вас видеть, — улыбнулся Тардье, — а если и посещать, то не в качестве врача.

Он несколько раз подряд поцеловал Иполите руку.

— Плохо, что он нас увидел? — спросил Ярослав, когда тот ушел.

— Он всегда был на моей стороне. Когда я вышла замуж, он предупреждал, что разница в пятнадцать лет слишком велика.

Сказав это, она запнулась, словно признав, что брак ее не совсем счастлив, и тем самым принизила свои чувства к Ярославу.

— Ни о чем не желаю сегодня думать, — проговорила она быстро. — Мне бы хотелось быть далеко от всего.

— Желаете уйти?

— Еще никто не написал такой оперы, которую мне хотелось бы сегодня слышать, — улыбнулась Иполита и вызывающе взглянула на него.

Она обняла его за шею, и ее глаза оказались так близко, что Ярослав уже не видел их. Ее уста отвечали на его поцелуи.

Он продолжал думать об этой жгучей минуте и тогда, когда они уже лежали в его ателье, нагие, прикрытые мехом, когда он прижимал Иполиту к себе.

— Ты боишься меня? — услышал он ее шепот.

— Я тебя боялся. Теперь я тебя боготворю.

— Ты как мальчик, — сказала она тихо.

Сильнее всего было в нем чувство, что он достиг цели, взбираясь по крутой дороге, и держит в объятиях богиню, на которую прежде лишь взирал.

— Да, — произнесла Иполита, — да, да, — признала она случившееся, — да, — подтвердила решение, укрепившееся задолго до того в их душах.

Ночное ателье было полно красок, они вспыхивали в темноте, создавая невиданную по сочетаниям гамму.

Ярослав со всей силой прижал руку Иполиты к сердцу, чтобы унять его биение.

В Остенде выдался на диво неприветливый день. Серое небо низко нависло над волнами, которые в ярости от своего бессилия все выше дотягивались холодными ладонями, вкрадчиво изгибались и вновь наносили удар. Люди кутались в пальто, шарфы, придерживали воротники и недовольно смотрели на небо.

После полудня неожиданно с набережной донесся тревожный колокольный звон.

Сторож обнаружил в полосе прибоя возле береговой дамбы перевернутую лодку, которую шторм пытался разбить о камни. Несколько человек выбежали из здания порта; с подчеркнутым хладнокровием заняли они места в спасательной лодке. Канат соскользнул с каменной тумбы, весла погрузились в воду, и лодка, высоко задрал нос, ринулась навстречу волнам.

Несколько любопытных, борясь с ветром, собрались у парапета.

— Что за безумец отправился в такую погоду в море?

— Утром было не так скверно, — объяснял владелец лодок, выдаваемых напрокат. — Но я все равно ее предупреждал.

— Кто она?

— Та красивая госпожа, элегантная дама, жена известного художника...

— Господи! Жена маэстро Галле? Вы ему сказали?

— За ним пошли.

Спасателям удалось добраться до перевернутой лодки; они подцепили ее и подтащили к набережной. На уключине повис мокрый лиловый шарф. Лица и руки мужчин заоченели. Больше пока ничего нельзя было сделать.

В дверях отеля «Солей» появилась фигура профессора Галле. Он шел быстрым шагом, подергивая плечами и не разговаривая со своими спутниками.

Люди на дамбе ожидали его, словно лишь его присутствие могло превратить происшествие в трагедию. Любопытство пересиливало уважение. Как отнесется к такому несчастью столь знаменитый художник?

Командир спасателей подошел к Галле и подал намокший шарф.

— Больше пока ничего не нашли. Но мы сейчас же снова отправимся.

Появился владелец лодки и повторил, как он отговаривал даму от поездки и как она смеялась и настаивала на своем.

— Волны меня не обидят, — говорила она, — я к ним привыкла.

— Она поехала одна?

— Одна. Я видел, как она выезжала. Утром ничего опасного не было.

Спасательная лодка вновь вышла в море, и видно было, как она прыгает через глубокие впадины, избороздившие его поверхность.

Галле ушел, низко опустив плечи и понуриив голову, он несколько раз обернулся и пытливым взглядом обвел горизонт, как бы надеясь все-таки на иную развязку.

— Где господин Чермак? — спросил он хозяина отеля, вышедшего ему навстречу с печальным лицом.

— Он ведь уехал фехтовать в Брюгге. Вы разве не знаете?

— Верно. Я забыл.

— Такая красивая и любезная госпожа... — вздыхал хозяин отеля. — Не могу поверить.

Рыбак, одолживший утром молодому иностранцу свою тяжелую лодку, удивился, когда в полдень тот вернулся на ней вместе с наспех одетой очаровательной усталой дамой. Но пожал плечами. Ему хорошо заплатили, и черт бы побрал эти любовные причуды! Он видел, как женщина, едва выйдя из лодки и увязая в мокром песке, кинулась на шею молодому человеку. И слышал, как она произнесла:

— Теперь уж я только твоя.

Он обнял ее так крепко, словно отныне владел ею перед небом и землей.

— Я сожгла все мосты, — сказала женщина.

Рыбак еще раз пожал плечами и вошел в дом.

Ярослав с Иполитой держались за руки и, даже вступив на твердую почву, все еще казались одурманенными штормом и авантюрой, унесшими их далеко за пределы обыденной жизни. Они вновь обнялись и застыли словно две статуи, хотя ветер развеивал влажные волосы и одежды Иполиты. Она, правда, продрогла в море, но это возбуждало ее и она пылко прижималась к Ярославу. Оба чувствовали, что переживают исключительную минуту.

— Тебе следует переодеться, — прошептал он, — ты заледенела.

— Отгаю.

Они шли к деревне.

Ярослав еще с вечера тоже был как в лихорадке — со вчерашнего вечера, когда они начали осуществлять то, о чем договорились еще в Париже.

В последние недели они сблизились. Встречались все чаще. Жажда счастья — именно из-за того, что им невозможно было утолить ее, — становилась для них неотвратимым законом.

Поскольку Иполита твердила о намерении уйти от Галле, Ярославу тоже это начало казаться верным решением, он полагал, что речь идет о разводе. Но когда он обмолвился об этом, Иполита испугалась, расплакалась и стала говорить о двух своих дочерях, о доверии Луи и о его работе.

— Я ужасно оскорбила бы его самого и унизила бы в глазах общества как художника. Я надломила бы его. Он чувствовал бы себя смешным. А мои дочери, что они в один прекрасный день подумают обо мне?

Ярослав взирал на нее как на святую, исполненную мудрости, и соглашался со всем, что она говорила. Потребуй она, и он обрек бы себя на вечное самоотречение. Но Иполита не хотела и не могла

от него отступиться, в нем воплощались все ее мечты, не угасшие даже в браке с Галле, и потому их встречи казались лишь минутами среди часов бесконечной тревоги и неопределенности.

К концу весны оба чувствовали — что-то должно произойти. Иполита любое решение предпочитала разводу. И тогда ей пришла в голову романтическая идея: она умрет. Умрет для мира, для Галле, для своих детей — и уедет с Ярославом. Исчезнет с лица земли для общества, друзей и семьи. Она была уверена, что гораздо честнее причинить такую боль себе и всем окружающим, нежели предать огласке супружеский разрыв и измену с учеником Луи Галле.

— И тебя это в глазах людей просто-напросто уничтожило бы, — доказывала она Ярославу.

Он чувствовал себя сильным и способным на неординарные поступки. Дух его был отважен, а тело — крепкое и тренированное. Он не боялся выступить против общества. Боялся лишь собственной совести, того, что придется стыдиться за предательство. Поэтому он позволил Иполите уговорить себя. Это не было окончательным решением вопроса, всего лишь оттяжкой на какое-то время, только трагедией все можно было урегулировать.

Они готовились к аванюре в состоянии лихорадочного волнения, словно сделались героями какого-то романа о безрассудной любви; некоторое время они еще мешкали, колебались, но кровь бурлила в их жилах, и отступление казалось невозможным — они мечтали быть наконец вместе, а не красть каждую минуту радости.

Взволнованные уезжали они в Брюссель, а потом в Остенде. Иполита несколько дней должна была пробыть там без детей. Они ждали первого шторма, который помог бы осуществить их мечту.

Ярослав привел Иполиту в трактир, где он поселился.

— Пойдем, переоденешься, выпьешь чего-нибудь горячего.

— Ты заказал фиакр? Я сейчас буду готова.

Ярослав ходил перед трактиром, меряя шагами расстояние между двумя платанами. В этой быстрой ходьбе он черпал успокоение. Шаг его был пружинист, и он не обращал никакого внимания на лукавые взгляды, бросаемые на него возницей. Ветер наполнял его чувством свободы, холодил лоб. Ярослава охватила жажда движения, деятельности. Он посмотрел вверх, на окно. Иполита сбрасывает одежду, на которой оставило следы разъярившееся море, снимает вынужденную личину — выйдет новая, заново рожденная для жизни с ним.

Ярослав с удивлением отметил, что не настолько доволен, как ожидал. Частью его существа владело победное чувство — да, они сделались героями великого приключения, но вместе с тем он не мог избавиться от какого-то предательского разочарования.

В памяти возникал Луи Галле, склонившийся над его ученическими рисунками... Он вспоминал, какое чувство надежности появи-

лось у него, когда Галле взял его за руку и перед лицом всего художественного Брюсселя признал его талант.

И чем он его отблагодарил?

Он давно поделился этими сомнениями с Иполитой. Она поспешила отогнать их своими объятиями. Был ли иной путь из этого тупика? Иполита считала для себя невозможным оскорбить Луи разводом. Есть такие натуры, которые в порыве сильного чувства готовы уничтожить все, кроме одного — веры того человека, которого они покидают.

Ярослав представил, каково сейчас Галле, если он уже узнал обо всем. Нельзя отмахнуться. Нужно взять на себя тяжесть совершенного поступка и нести ее вместе со счастьем, купленным такой дорогой ценой.

Иполита появилась в дверях спокойная, с улыбкой на лице, полная решимости. Словно она стояла у алтаря. И Ярослав был не в силах больше противиться, признав неизбежность их поступка.

Он повел ее к фиакру.

— Куда мы поедем? — спросила Иполита.

— На французскую границу. Потом мне, к сожалению, придется вернуться в Остенде. Иначе возникнет подозрение.

Когда они двинулись в путь, Иполита положила голову на его плечо. Она переживала побег более торжественно, чем он выглядел на самом деле, как будто все свершалось под звуки неслышных фанфар.

Ярослав вспоминал портреты Иполиты, написанные Галле. Поверит он, что его жена погибла, или сразу поймет, что был обманут?

Но когда он коснулся Иполиты и склонился к ее лицу, исполненному блаженства, он снова вспомнил, какими связанными, словно в оковах, чувствовали они себя под бдительными взглядами окружающих. Должно было что-то случиться, для того чтоб они вырвались из этих оков, это святое право всякой любви — право принадлежать друг другу без опасения, без унижающего чувства греховности; это была уже не минутная вспышка, а убеждение, что они созданы друг для друга, проверенное долгим опытом.

— О чем ты думаешь? — спросила Иполита как во сне, даже не ожидая ответа.

Мысли его вновь вернулись к картинам Галле. Не мог же художник сам создать им успех в Европе. Должно в них быть что-то такое, что привлекало людей, вызывало их уважение. В художнике Галле существовал человек Галле.

— Скоро мы там будем?

— Скоро, любимая. Но потом мне придется вернуться в Остенде, — повторил он и при этих словах вздрогнул.

— Тебе холодно?

— Я боюсь этого.

— Не бойся, он тебя не обидит. Он же ничего не знает.

В последний раз они были вместе на спектакле по пьесе Дюма «Диана де Лис», где муж убивал любовника своей жены. Как и все зрители, они рассуждали о том, что правомерность подобного преступления сомнительна, и особенно протестовала Иполита — ведь, если согласиться с этим, женщина превратится просто в трофей, не имеющий права на собственные чувства.

— Я боюсь не этого. А задуманной нами комедии.

— Ведь это ради нас, — прошептала она. — Чтобы нам не нужно было больше расставаться. Чтоб мы наконец могли покончить с этой комедией!

Галле даже не поднял головы, когда Ярослав вошел к нему в комнату. Он сидел склонившись над каким-то эскизом, но не работал. Он не казался удрученным. Скорее, он походил на человека, получившего дурное известие, которое оглушило его, лишив способности воспринимать реальную действительность.

— Maestro, — тихо сказал Ярослав.

Галле кивнул в знак того, что принимает его сочувствие.

— Я должен с вами поговорить, — продолжал Ярослав, желая этими словами выдать себя, чтобы Галле все понял.

Всю обратную дорогу он мысленно продолжал разговор с Иполитой, но она уже не могла ему ответить и голова ее не покоилась на его плече. Да, мне тоже казалось, что иного пути нет, уверял он ее. Теперь же, когда это произошло, все вдруг видится совершенно иначе.

Галле действительно обеспокоили непривычные интонации в голосе Ярослава. Он поднял глаза. Выражение лица Ярослава укрепило его смутные подозрения.

— Что случилось?

— Во всем виноват я, — сказал Ярослав, принуждая себя к решительности; он знал, что даже самое полное признание не сможет оправдать его.

Галле поморщил лоб и прищурился. Он наугад протянул руку, нащупал на столе карандаш и начал нервно черкать что-то.

— Говорите, — приказал он.

— Иполита жива, — сказал Ярослав. — Это была глупость. Безумная мечта несчастного человека. Вы не сможете меня простить, я знаю. Но я и сам не смогу себя простить. Я по-прежнему уважаю вас. И тем не менее я это сделал, и это ужасно.

На лице Галле застыла гримаса отвращения.

— Она даже не вспомнила о детях? — хрипло спросил он Ярослава.

Ярослав понимал — чтобы как-то спасти положение, он должен говорить совершенно откровенно.

— Это было бегство из тюрьмы. В ваших глазах оно выглядит преступлением. Справедливо. Но вы знаете, что такое большое человеческое чувство — оно может толкнуть на безумные поступки, если на его пути стоят преграды. Я боролся, упрекал себя — все было тщетно. Я полюбил госпожу Иполиту с первого мгновения, когда вы привели ее к нам, и был бессилён что-либо сделать. Я понимал, какую совершаю несправедливость, маэстро, но не мог поступить иначе.

Вы ведь меня знаете, вы любили меня, — знаете, что я не был дурным человеком... Вы знаете госпожу Иполиту и знаете, что она достойна большой любви. Не ее вина, что она вызвала эту любовь. Накажите меня как сочтете нужным. Но прошу вас, постарайтесь нас понять.

Он стоял перед Галле как перед судьей, его смуглое лицо было бледно, глаза горели.

— А что — она? — Галле думал только об Иполите. — Вы для меня — человек чужой. А что — она?

Он знал, что Чермак не может ему на это ответить, и обоим было ясно, что ответ уже дан достаточно выразительно и признание Ярославом своей вины ничего не меняет. Но Галле пытался найти такое объяснение случившемуся, которое хоть частично могло бы вернуть ему чувство собственного достоинства.

Ярослав сделал попытку помочь ему.

— Она поддавалась моим фантазиям. Мы оба были как загнипнотизированы. А этим романтическим обманом она как бы хотела сказать, что предпочтет уйти из жизни, нежели оскорбить вас...

Это была правильная мысль, но Галле сделал протестующий жест — и вдруг выпрямился, словно его только теперь охватил гнев.

— ...он как бы доказывал ее беспомощность, — продолжал Ярослав, — ее горе, неразрешимость ситуации, ее уважение к вам...

— Слова здесь ни к чему, — овладел собою Галле. — Благодарю вас за сообщение. Понимаю, что это и для вас неприятная минута. Конечно, вам никто ее не навязывал, вы сами избрали такое решение. Где Иполита?

— У нее ключ от моего парижского ателье.

— Хорошо. Я посоветуюсь с ее врачом, — лаконично закончил разговор Галле. — Прощайте.

Ярослав знал, что большего ему ожидать не следует. Он сбросил с себя тяжесть. Но уже сгибался под новым бременем: он предал Иполиту.

ПАРИЖСКИЙ ЛАБИРИНТ

«Только пользуясь кредитом,
можно смело строить планы.
Страж порядка — овод рьяный,
но Париж не укротит он!
Свистопляска цен по воле
воротил и монополий.
Прибыль — сладость меда, но
слаще тратить денежки вольно!» *

Последние слова припева певец подчеркнул жестом, но и так всем было ясно, что он поет о графе Морни, сводном брате императора, который совершал крупные спекуляции, основывал и продавал предприятия, создавал компании по строительству железных дорог, каналов и транжирил деньги на женщин и пиршества.

В таверне «Атос» на Монмартре были хорошие певцы. Владелец трактира, маленький, худой бретонец Ле Корр, беззаветно любил своих певцов и своих завсегдатаев, готов был платить штрафы, а время от времени даже садиться в тюрьму, лишь бы о его кабаре говорили, что здесь под низким потолком свободное, хотя и закопченное от дыма небо. Официантами у него служили немые по фамилии Гримо; они приносили гостям что вздумается, случайных посетителей это забавляло, с постоянными у них существовала договоренность. А девиц, которые к полуночи собирались сюда, называли «интеллигенцией панели».

Здесь бывали многие художники, даже те, кто снискал себе имя и имел ателье, дом и семью; атмосфера времени подсказывала им — хорошо, что они знают друг друга. Минута вечерней сердечности давала хоть какую-то уверенность в пору, когда тысячи домов в городе разрушались. Семьи победнее сплошь да рядом перебирались на окраины, пустые квартиры в центре города ожидали богачей, бульвары выпрямлялись, чтобы облегчить движение транспорта, а также потому, что

«Ядру лететь вольготней напрямую —
все равно, куда, когда...»,

как пелось в кабаре, носившем имя самого благородного из мушкетеров. Здесь обсуждались сообщения о Крымской войне, давались оценки заключаемым союзам, «стратегии» после бокала мятной намечали атаки и отступления.

— Идти вместе с Турцией и Англией? Сделка, ничего более. Как выглядит Франция в глазах Европы?

— А идти с царем Николаем? Он тридцать лет ссылает худож-

* Здесь и далее перевод стихов И. Инова, кроме особо оговоренных случаев.

ников в Сибирь. В Париже даже диктатор не обходится без искусства. А там? Где Пушкин? Где Лермонтов?

Ярослав отыскал себе место у стоящего в глубине столика. Однажды его привел сюда Эжен Фромантен; здесь Париж высказывается откровеннее всего, сказал он.

В том состоянии, в каком Ярослав вернулся из Остенде, он чувствовал потребность связать себя с общественной жизнью. По изначальному плану, рожденному в пылкие мгновения любовного опьянения, предполагалось, что Иполита под чужим именем снимет дешевую квартиру и станет зарабатывать на жизнь шитьем. Вопрос о том, подаст ли она весть семье Пик и обратится ли к ним за помощью, они оставляли открытым. Однако признание Ярослава все изменило. Телеграммы Галле господину Пик и доктору Тардьё опередили Чермака. Когда он вернулся, он не нашел Иполиту ни в своей квартире, ни где-либо еще.

Несколько часов он ощущал всю свою беспомощность, потом решил обратиться к доктору Амбруазу Тардьё.

— Я догадываюсь, о чем вы хотите спросить, — качал тот головой и смотрел на Ярослава так, словно обнаружил интересный случай редкой болезни. — Господи, как вам такое взбрело в голову?

Ярослав был согласен с осуждением, которое прочел в его глазах, скрытых за пенсне в золотой оправе, но стал умолять его:

— Вам известно, где госпожа Иполита?

— Думаю, существовал один-единственный способ объяснить это происшествие — и одновременно скрыть его от общества...

— Разве кто-нибудь узнал об этом?

— А вы полагали, весть не разнесется? Сегодня об этом рассказывают в самых различных версиях.

— Но где теперь Иполита?

— В монастырской больнице Пикнюс, в квартале Мор. Я признал ее нервнобольной и прописал абсолютный покой и уединение.

— Могу я с ней поговорить?

— Не советую. Впрочем, она и сама этого не желает. Я уважаю госпожу Иполиту, люблю ее. Самое лучшее для нее — отдохнуть от всего и от всех. В том числе, разумеется, и от господина Галле, — Тардьё пытался утешить Ярослава. В его глазах явственно прочитывалось понимание.

— В конце концов, вы можете написать госпоже Галле. Ей это не повредит, и никто о том не узнает.

Монастырь был расположен в печальном месте: на его кладбище покоилось более трехсот гильотинированных во время революции, в том числе поэт Андре Шенье, и туда по сей день приходили скорбеть оставшиеся в живых родственники казненных. О больнице поговаривали, будто женщины должны посить там черную вуаль и спать в саване.

Ярослав писал Иполите каждый день и несколько раз упросил монахино принять для нее цветы. Письма были одинаковы: он вновь и вновь объяснял, почему вынужден был отказаться от обмана, с которым поначалу примирился, заверял, что чувство его благодаря всем испытаниям еще более окрепло и он готов претерпеть все что угодно, лишь бы это пошло ей на пользу.

Ощущая свое полнейшее одиночество, Ярослав сделал попытку встретиться с Галле и посетил его ателье, но Галле в довольно оскорбительной форме отказался его принять.

Ярослав находился в состоянии беспрестанного напряжения. Чувствовал, что это еще не конец и что так или иначе их судьба должна решиться. Он знал, что даже после того, как Иполита выйдет из больницы, его мучения не кончатся. Работай, работай, постоянно твердил он себе. Вначале, когда он приехал в Париж, им владело желание завоевывать, доказывать правомерность своего пути, атаковать; теперь же работа защищала его от жизни, становилась пьянящим напитком, одурманивающим и обезболивающим. Пока он противостоял Галле, он чувствовал себя словно на дуэли; теперь, когда он остался в одиночестве, ему казалось, что он лишился чести и способности сопротивляться. Любое раздумье вызывало в его душе мучительные упреки, оставалось лишь забыться в каоторжном труде. Он утратил интерес к остальному миру. Казначей венского графа Чернина вынужден был настойчиво напоминать ему, что следовало бы поблагодарить графа и подтвердить получение гонорара за «Шимона Ломницкого».

Ярослав обрадовался, когда в Париж приехало несколько приятелей из Чехии: художники Ян Брандейс, Петр Майкснер и особенно — Собеслав Пинкас, один из самых верных друзей. Его отец, адвокат и депутат, был частым гостем в доме на Новых аллеях, а у Ярослава с Собеславом, сохранявшим вопреки отцовскому консерватизму радикальные взгляды, было много общих воспоминаний. Во время заседаний кромержижского парламента Пинкас был покорен Йозефом Манесом, который поддержал его как художника; он рисовал Гавличеку карикатуры в его журнал «Шотек», а позднее раздумывал над тем, как вызволить Гавличека из бриксенского изгнания. Пинкас был прямой, честный, скромный и не завидовал растущей славе Чермака. Когда Ярослав с супругами Галле ехал в Прагу, они остановились у него в Мюнхене и он ввел их в дом Ганелли; сам Пинкас потом отправился в Париж к Кутюру, желая освоить новый колорит. Бабушка Пинкаса была французской эмигранткой, он хорошо говорил по-французски и быстро освоился в Париже.

Когда к ним присоединился и Карел Явурек, Ярослав почувствовал себя под покровительством двух друзей, на которых мог положиться. Он не делился с ними своими муками; но для него было облегчением встретиться с кем-нибудь из них в ателье, вспомнить

Прагу, обсудить новости, посоветоваться или даже повздорить по поводу очередной темы, которую предлагал их вниманию Париж.

— Кое-кто хвалил мне Кутюра за элегантность рисунка и мастерство колорита. Но не знаю, — жаловался Пинкас, — не больно-то мне нравятся эти парижские одалиски, наверно, мне следовало остаться в Брюсселе.

Ярослав с улыбкой поглядывал на его воинственное лицо с зачесанными на лоб волосами.

— И ты сожалел бы об этом. Бельгийцы понимают толк в гармонии, они прекрасно приглушают краски под искусной коричнево-серой патиной, но свежесть уходит. Новая живопись — это Париж. В «Шимоне» я этот урок учел.

— Ну что ж, — согласился Пинкас, — волшебство красок возможно даже в самом что ни на есть будничном сюжете. У нас это удается Манесу, а в Париже мне больше всего нравятся деревенские парни — Милле, Курбе или этот стекольщик Домье...

— Я тоже иной раз вспоминаю Манеса. Жаль, что он не может сюда приехать.

— Тебе же известна наша нищета. Художник только что не подбирается. И ты знаешь, что с Немцовой.

Ярослав переписывался с доктором Душаном Ламблом, который лечил детей Немцовой; письмо доктора о болезни ее сына цензура задерживала так долго, что она смогла приехать уже только к его смертному одру. А от своей матери Ярослав узнал, что после ареста мужа пани Божена приходила к ней и читала рукопись «Бабушки»; Чермакова анонимно посылала ей ежемесячно несколько гульденов.

Явурек, который тоже сживал с ними в «Атосе», отстаивал историческую живопись.

— Йозеф прекрасно знает, что нам в Чехии нужно, — говорил он. — Здесь все строится на эффекте, и наш патриотизм в Париже казался бы смешным. Но этот путь полон опасностей. Когда твой «Ломницкий» несколько дней висел на Жоффине, люди туда ходили, но боялись останавливаться перед картиной, чтобы какой-нибудь шпик не донес на них. Рубен, говорят, от подобной дерзости был вне себя. А здесь-то, в Париже, поняли, что, собственно, нарисовано на этой картине?

— Вряд ли. Иначе кто-нибудь выцарапал бы той девушке глаза уже здесь, а не в Вене.

— Наверное, венцы сочли, что она смотрит на подбирающегося художника с излишним состраданием, — сказал Пинкас.

— Явурек прав, — признавал Ярослав. — Великим народам вообще не понятно, что значит бороться за свободу. У малого народа нет оружия, потому ему нужны художники.

Тем временем его полотно «Контрреформация» было выставлено в Брюсселе под названием «Чехия после Белой горы» и получило

золотую медаль. Журнал «Иллюстрасьон», некогда отметивший Ярослава как «многообещающего», на сей раз приветствовал его уже в качестве мэтра и к тому же «сына героического племени, породившего Яна Гуса, Прокопа Голого и Жижку». Ярослава, жизнь которого в последнее время стала крошечным адом, это приободрило.

— Если мы в своих картинах упорно будем говорить о нашей борьбе да к тому же если это будут хорошие картины, мир по крайней мере осознает, что мы еще живы.

— Верно, — согласился Пинкас. — Но я говорил о том, что нынче здесь называют «малым искусством». Для него не столь важен сюжет, сколь выражение его. Вы слышали об этих молодых людях, которые ездят куда-то на опушку леса в Фонтенбло, в Барбизон? Мне тоже очень хотелось бы там побывать. Нам необходимо, чтобы наша палитра стала воздушнее.

— И ты не закончишь свои исторические картины? — удивился Явурек.

— Ни за шведов, ни за гуситов мне что-то не хочется браться. Вчера я рисовал какую-то овчарню. А больше всего меня волнует мельница, где изготавливают гипс, неподалеку отсюда, белая от гипса лошадка с платком на глазах, рабочие с белыми мешками на плечах... Беспощадно выжженный солнцем кусок земли.

— Или ты сошел с ума, или я постарел, — сказал Явурек.

— Существует третья возможность, — успокоил его Пинкас, — мы с тобой идем разными путями, и это самое лучшее. А я вышел парижскую чашу до самого дна.

— Вот он Париж, — показал Явурек на певицу, которая выпорхнула в широкой юбке на эстраду и приветствовала собравшихся. Господин Ле Корр сам забренчал на струнах гитары простой мотив, и певчиха обратилась к посетителям с песенкой:

«Судари, судари,
не потворствуйте гордыне!
Всех своих возлюбленных я помнить могу ли?!
Не диковина, что ныне
мы на честь рукой махнули.
Се ля ви — не прекословь!
Гложет ржавчина любовь».

Мысль об Иполите постоянно жила в Ярославе и была неразрывна с его существом. Часто во время работы он ловил себя на том, что мысленно обращается к прошлому и задает себе вопрос, не следовало ли ему поступить иначе, или погружается в мечты о будущем.

В новом ателье на улице де Мартир он разрабатывал на мольберте эпизод времен гуситских войн. Сцена изображала передышку в сражениях, момент, когда нужно было стеречь подступы к стране

от вражеского вторжения. У одного из таборитов, охраняющих узкую дорогу в ложбине,— мужественное лицо профессора Пуркине, перенесенное с портрета, начатого Ярославом, когда Пуркине на несколько дней приехал в Париж и навестил его. Лицо одной из таборитских женщин носило черты Иполиты.

В манере письма Ярослав хотел полностью отойти от стиля Галле. Он не стал готовить красок для заключительного золотистого полумрака. Разграничил цветовые поверхности и хотел, чтобы они были отчетливыми, как отчетлива была мысль картины, хотел дать полное освещение, чтобы оно столь же интенсивно придавало краскам свежесть. Он использовал в картине купленный им гуситский щит и хотел, чтобы вся картина производила впечатление щита — символа обороны и надежности.

Однако воспоминания об Иполите пересилили. Он отложил большое полотно и на картине меньших размеров запечатлел пражское еврейское кладбище. Но и эту работу не закончил. Зная, что Иполита любит тему материнства, нарисовал сепией сценку, увиденную ими в Молиторове: трактирщица показывала своим детям в зеркальце их лица. От посещения Иполитой Праги у него осталось несколько рисунков-воспоминаний, и он утешался ими: как приветствовала ее семья Веселых, как потом Иполите пели вечернюю серенаду...

Ярослав полагал, что Иполите будут приятны эти воспоминания о счастливом пребывании в Праге, когда они наконец встретятся. Но случится ли это когда-нибудь?

В этих рисунках Ярослав размышлял и вспоминал, пытаясь осознать, что означает для него Иполита и что он может ей дать. Перед его мысленным взором проносились сцены, начиная с первых встреч, когда его отношение к ней носило характер учтивой благодарности, до того момента, когда он понял, что охватившее его при первой встрече необычайное волнение было не случайным, оно жило в нем, словно сила, овладевающая нами прежде, чем мы осознаем, что случилось. Он вспоминал минуты первых объятий, воскрешал в памяти ощущение одиночества, когда ему все было чуждо, кроме нее, первые мгновения, когда души их слились и они не мыслили себе жизни друг без друга, и сознавал, что его жизнь полностью зависит от Иполиты, хоть и не мог точно объяснить почему.

Иногда, как бы желая отстоять свое «я», он находил в глубине своей души нечто чуждое и враждебное ей; оно появлялось, когда волнение утихало и несло в себе привкус разочарования, особенно если они были не одни, а находились среди посторонних людей. Ему казалось, что Иполита словно бы теряла непосредственность и естественность, как бы пытаясь приспособиться к окружающим, начинала вдруг говорить иным языком, словно мысль ее утрачивала самостоятельность, а ее отношение — ту чуждость, за которую он ее любил. Иногда после подобных размышлений его

охватывало щемящее чувство страха — не поддался ли он вымышленной любви. Но стоило им остаться вдвоем, Иполита обращала к нему лицо, и ему снова чудилось, что перед ним один из ангелов господних, сошедший на землю.

Ярослав винил себя в раздвоенности. Тебе хочется интересничать, издевался он над самим собой. Рисуешь себя в собственных глазах романтической фигурой, тебе нравится иметь одну сторону души черной и не хватает сил решиться на что-то определенное. Ведь Париж, твердил он, призван благословлять порывы любви, поднимающие человека над убожеством обыденности. Нужно найти в себе готовность к постоянному влечению — и этого можно достигнуть с помощью нравственности, а не страсти. Разве не прекрасно получить от жизни такую женщину, как Иполита, и раствориться в преданности ей? Любить избранную женщину и принимать ее всю — не есть ли это нечто вроде религии?

Он призывал на помощь своему постоянству все добрые силы. Воспоминание об отце, смотревшем на него с фотографии, стоящей на столе. Слова матери. Веру сестры. И во всем искал ответа на свои сомнения.

Из Алжира вернулся художник Эжен Фромантен, к которому Ярослав привязался еще в прошлое свое посещение Парижа. Они встретились в «Атосе», и Ярослав пригласил его в свое новое ателье.

— Я тут несколько стеснен, — извинялся он, — хотел бы замахнуться на полотна покрупнее, да для этого нужно больше места и света.

— Значит, меня посылает к вам само небо — мне как раз предложили ателье, которое так и дышит историей. На старой улице Отфёй. Знаете, где это? Ниже нового бульвара Сен-Жермен. Там был францисканский монастырь, превращенный во время революции в якобинский клуб. Большинство помещений уже занято, но в глубине — последняя дверь по коридору — есть зал с кафедрой, откуда вожди революции произносили речи и посылали своих противников на гильотину, пока сами на нее не попали. Если прислушаетесь — вы услышите там эхо голосов Дантона, Робеспьера... Вам определенно там понравится. Сама обстановка призывает к работе.

Ярослав обещал взглянуть и принялся расспрашивать Фромантена о поездке в Алжир.

— Когда я все распакую, вы мне нанесете ответный визит и все увидите. Обо мне говорят, что я люблю краски, но, кроме этого, мне хотелось бы сказать еще кое-что и об образе мыслей туземцев. Вам стоило бы туда разок съездить. Краски там так и полыхают.

Он взял палитру Ярослава с выемкой для плеча и отверстиями для большого пальца и кисточки и пытался уравновесить ее на руке.

— Я прибавил бы сюда индийской желти, минеральной лазури, побольше белил...

— Эта палитра сделана из чешской груши, — смеялся Ярослав. — Я часто спрашиваю себя, у какой дороги стояло это дерево и каких людей видело, что под ним говорили и пели. Я на родине, хотя бы в прошлом, — показал он на гуситскую сцену.

— Здесь есть покой и достоинство, — похвалил Фромантен, потом перевел взгляд на полотна поменьше, напоминавшие о поездке в Прагу. — Вы все еще пребываете в своем счастливом плену? — спросил он.

Выражение лица Фромантена говорило о том, что он претендует на интимность лишь настолько, насколько это необходимо, чтобы понять друг друга. — Тут наши взгляды схожи; единственное большее чувство — редчайшая возможность для того, чтобы жизнь не рассыпалась у нас в руках.

— В таком случае остается лишь завидовать вашему счастливому браку.

Но Фромантен покачал головой.

— Я влюбился, когда мне было тринадцать. Вы поверите, что это может стать фатальным? Я любил ее, даже когда она вышла замуж. Однажды она меня поцеловала, и я чуть не упал в обморок. А когда она умерла, угас и мир моих чувств. Это звучит неправдоподобно, я тогда был моложе, чем вы сейчас, но спокойно мог предаться воспоминаниям. Знал, что величайшее чувство моей жизни позади, — и оказался прав.

Ярославу было известно, что Фромантен жадно стремится к работе и художественному познанию жизни; он припомнил некоторые его новые картины, серебристый оттенок на которых мог означать отсвет воспоминаний, и сказал об этом.

— Возможно, — согласился Фромантен. — Я тоже ищу в картинах присутствие души художника. Чувствительность в творчестве — большая сила, при одном условии: если она не связывает нас по рукам и ногам.

— Не является ли она частью нас самих — как, скажем, зрение? — спросил Ярослав, думая о своем непрерывном безмолвном диалоге с Иполитой.

— В таком случае мы заболели бы раздвоением личности. Вы, вероятно, знаете о такой болезни от брата? — улыбнулся Фромантен, отец которого был врачом в больнице для душевнобольных. — Для здорового человека подобная болезнь — великий дар. Способность смотреть на собственную жизнь как на спектакль, разыгрываемый кем-то другим.

— Наверное, это лучше удастся писателю, — с горечью произнес Ярослав, припомнив, как он был взволнован, когда, казалось, буря обрушилась на него со всех сторон.

— Если вам подобное раздвоение окажется не под силу, остается последняя великолепная возможность: привести себя в согласие с

самим собой. Согласовать свои поступки со своим душевным миром. Только подобная победа достигается редко.

Ярослав всегда гордился умением дисциплинировать себя. Но как добиться этого, когда душа твоя раздвоена, когда ты ежедневно сталкиваешься лицом к лицу с бесконечной неуверенностью? Не стало ли его ателье, полное неоконченных вещей, свидетельством того, что последнее время он никак не может сосредоточиться?

— Эта победа пока еще в необозримом будущем, к тому же я знаю, что с определенного момента каждый человек проживает свою жизнь не ради данного мгновения, а для вечности.

— Вы еще молоды, — утешил его Фромантен.

— Мы с моей молодостью не понимаем друг друга. Я не люблю ее.

Прощаясь, Фромантен задержался в дверях, словно вспомнив о чем-то важном.

— Возможно, вас мучает мысль, что вы причинили кому-то боль? Ну, хорошо, допустим. Но я вас спрашиваю: если он художник, почему он не использовал эту боль?

Ярослав понял, что Фромантену стало известно остенденское происшествие.

— Вы правы. Мать воспитывала меня в духе борьбы против несправедливости...

— Тинторетто, — сказал Фромантен, — когда у него умерла дочь, испытывая жесточайшую боль, создал лучший портрет в своей жизни. Рубенс, который по возвращении в Антверпен не застал свою мать в живых, на год заперся в уединении — и вышел из него мастером. А ваш учитель?

Дверь закрылась. Слова старшего друга остались в ателье с Чермаком. Мысленно он повторял их Галле. Убеждал его, что их отношения с Иполитой давно умерли. Разве в ином случае могла бы Иполита так слепо полюбить Ярослава?

Но он тут же одернул себя. Полюбила? Да она не ответила ни на одно из его писем, посланных в больницу в Пикпюсе.

Ярослав проснулся с мыслью: идти — не идти? И то и другое, несомненно, означало решение на всю дальнейшую жизнь. Это был один из роковых дней в его жизни.

Он повторял слова, переданные ему мальчиком из ателье Галле, чтобы понять, что за ними скрывается. Иполита вернулась домой, это несомненно. Приглашение Галле означало какое-то неожиданное примирение. Может, это под ее влиянием? Или Иполита полностью отреклась от него — и отсюда подобная снисходительность?

Все утро он бродил возле своих полотен, то тут, то там нанося мазок, чтобы не сойти с ума. Он вышел раньше времени. Продавец

крикнул ему прямо в лицо: «Купите цветы для любимой!» Сконфуженный, словно выполняя какое-то тайное поручение, он выбрал букет ромашек. Они завяли раньше времени, к которому надо было явиться, и Ярослав выкинул цветы в Сену.

Рука его дрожала, когда он постучал в дверь квартиры Галле. Он ожидал напряженной ситуации, возможно, драматической встречи, к которой никак не мог подготовиться.

Юный ученик, передавший приглашение, провел Ярослава в ателье, где Галле как раз натягивал на раму новый холст.

Ярослав поздоровался.

— А, вы пришли, — кивнул Галле, лицо его было багровым. — Ну и работенка. Но Париж не ссылка, и я не имею права на то, чтобы меня здесь забыли.

— Я недавно был в Брюсселе, маэстро. Все, с кем я встречался, спрашивали про вас.

— А директором сделали Кейсера, и его слава давит на всю молодежь будто свинец. Теперь там начнется медленное умирание.

Ярослав, удивленный тоном Галле, внимательно посмотрел ему в глаза. Они подозрительно блестели. Ярослав понял, что Галле пил. Для человека столь холодного и самоуверенного это было непривычно. Ради чего ему нужно было набраться храбрости — чтобы решиться или чтобы забыться?

— Бельгия — маленькая страна, — продолжал Галле, — и потому в ней много места для зависти. Но искусство не знамя для чьего-то честолюбия.

Ярослав молчал. Упрек, высказанный Галле, можно было отнести и к нему.

Замолчал и Галле. Закончив работу, отослал ученика. Он заметил на лице Ярослава выражение неуверенности, но его жесты стали еще медленнее, когда он подошел к столику и налил из графина в рюмку немного вина. «Решил быть великодушным?» — мелькнуло в голове Ярослава. Белое вино было мутноватым, оно служило больше для бутафории, чем для утоления жажды в подходящую минуту.

Он невольно вспомнил Александра Дюма.

— Винус бонус, — сказал он тогда в Брюсселе. Кто-то поправил его: — Винум бонум. — Дюма улыбнулся, довольный, что поймал кого-то на удочку, и сказал: — Дорогой мой, хорошему вину соответствует хорошая грамматика, плохому...

Галле, вероятно, показалось, что Ярослав улыбнулся, и он заявил серьезным тоном:

— Моя жена была очень больна. Нам придется вернуться в Брюссель. Она ждет не дожидается встречи с детьми.

— Вы разрешите мне засвидетельствовать ей почтение? — осмелился спросить Ярослав.

Галле с минуту смотрел в пространство: но не похоже было, что он размышлял, лицо, скорее, выражало усталость и безразличие.

— Ей нельзя утомляться. Она не сможет также бывать в обществе, — снова сказал он серьезным и выразительным тоном, словно желая, чтобы его слова врезались в память Ярослава.

Галле позвонил и приказал служанке пригласить госпожу. Он смотрел на Ярослава с легкой усмешкой; взгляд его был усталым, но в нем ясно можно было прочесть, что этот человек не позволит больше себя обмануть.

— Когда художнику приходится много работать, тылы должны быть надежны, — высказал он свою тайную мысль.

Вошла Иполита и со светской непринужденностью приняла приветствие Ярослава. Она вела себя так, словно была существом из иного мира, которого этим двум мужчинам не дапо понять.

Ярослав был удручен. Слова, приходившие ему в голову, казались неуместными. Он чувствовал себя неуверенно.

— Как вы поживаете? — тусклым голосом спросила Иполита. И когда он пробормотал что-то в ответ, продолжала: — Над чем вы теперь работаете?

Он попытался ухватиться за эти слова, все время чувствуя себя персонажем комедии, которого вытолкнули на сцену, а он не знает, кого, собственно, он изображает и какой текст должен произносить.

Постепенно Ярослав понял, что был приглашен только для того, чтобы ознакомиться с ролями, которые отныне все трое будут разыгрывать в глазах общества и которые им следует играть в течение всей дальнейшей жизни. Он задавал вопросы, отвечал, но все это было маловажно и носило характер светской беседы. Ведя поверхностный разговор, мысленно он обращался к Иполите совсем иначе.

Иполита, говорил он, я знаю, что ты прошла через тяжкое испытание. Но мы избежали вечной лжи и жестокого оскорбления твоего мужа. Разве могли бы мы всю жизнь скрываться? Мы были безумны, пусть даже это безумие было прекрасным.

Лицо Иполиты было очень бледным. Ей шла неприступность, которой она отгородилась от всех. Отреченность в сжатых губах уподобляла ее моделям венецианских портретистов. Он чувствовал, что вновь допущен в ее мир, хоть она ничем не дала этого понять и он не имел права о том думать. Иполита по-прежнему олицетворяла для него ту единственную женщину, с которой он мог бы существовать. А вдруг ее мраморная холодность таит волнение — не могло же оно в ней умереть?

Я по-прежнему твой, говорил он ей взглядом. Для меня это не игра, не приключение. Быть может, я могу тебя потерять. Но не перенесу, если ты меня забудешь.

Однако он не знал, готова ли она принять эту молчаливую исповедь, не мог понять, причастна ли она к решению Галле.

Ярослав говорил о новом ателье, о своей работе, но это было совершенно не важно, гораздо красноречивее говорили его дрожащие руки и удрученный взгляд.

Галле, казалось, был доволен результатом встречи. Он не выражал ни ненависти, ни обиды. Он хотел урегулировать все, что грозило ему опасностью. И видел, как бурливые волны послушно ложатся у его ног.

— Желаю вам хорошо провести время в Париже, — решил он закончить аудиенцию.

— Думаю, зимой я тоже буду в Брюсселе, — ответил Ярослав. — Я должен поехать в Англию, к госпоже фон Майзенбург, после чего охотно заглянул бы в Брюссель.

Вероятно, это было неразумно. Но он хотел остаться честным и дать понять, что, даже если он и принимает условную игру, как того желают остальные, он не считает ее оконченной.

В Уэльсе стояла прекрасная осень. Поутру долина была затянута туманом, но то был лишь занавес, который с каждым часом поднимался все выше, открывая склоны с их все еще изумрудной травой и дышащим свежестью кустарником, круглые холмы и тропинки, проложенные для пешеходов, любящих беседовать с природой.

Ярослав привязался к Антону Шпрингру, но часто с ним спорил, и жена Шпрингра — Иза, сестра Собеслава Пинкаса, вынуждена была их примирять. Зато он почти всегда соглашался с госпожой Мальвидой фон Майзенбург, гостями которой они были.

На выставке в Манчестере они видели несколько прекрасных полотен Мурильо и Рембрандта. Заинтересовали Ярослава и английские художники. Затем госпожа Мальвида поехала со своими гостями в Лондон, и тут для них открылся иной мир. Устье Темзы было заполнено мачтами судов, привозящих товары со всех концов света. Но самым ярким впечатлением Ярослава от этого путешествия оказалась встреча с Александром Ивановичем Герценом, к голосу которого, как говорили, прислушивалась вся передовая Россия. А Ярослав постоянно задавался вопросами, на которые не находил ответа, — о смысле своего отъезда с родины и о борьбе за ее права; ему хотелось узнать, как смотрит столь мудрый и воинственный человек на подобные проблемы.

Герцену в ту пору было едва за сорок, но Ярослав знал, что у него недавно умерла жена и двое сыновей; судя по горестно-скептическому голосу и задумчивому взгляду, казалось, этот черноволосый и бородастый человек уже прожил жизнь. Достаточно было нескольких вопросов, чтобы он понял, как тяготит чешского художника необходимость жить вдали от родины, и одарил его своим доверием.

— Вы в сорок восемь уже были в Париже?

— Нет. У нас и в Праге работы хватало.

— Знаю. В Париже в том году прогресс был разбит наголову. Весной весь Париж пел «Марсельезу». Нищие, солдаты, дети. Я слышал, как ее пела актриса Рашель — это звучало словно «Отче наш». А потом наступило лето, и в эти дни я постарел, а Париж навеки мне опостылел. Я прижимался в отеле лбом к окну и слушал залпы. Четыре дня и четыре ночи реакция мстила тем, кто весной хотел спасти Европу. Пьяные гвардейцы шатались по улицам, чишили суд и расправу, кровь просачивалась сквозь наваленные кучи песка. А потом господа в экипажах выехали посмотреть на развалины и обгоревшие стены. Нужно было убивать — кто не убивал, казался подозрительным.

Герцен прикрыл глаза, словно по сей день видел перед собой эти ужасные картины.

— Но не было же это концом всех надежд?

— Я потерял веру в Запад и вернулся к мальчишеским клятвам на Воробьевых горах — что отомщу за убийство декабристов и посвящу свою жизнь служению народу. С тех страшных дней в Париже я верю, что только Россия может стать новым берегом. Революцию делают молодые люди. А в Европе уже нет молодых. Богема? Это всего-навсего бегство. Здесь люди уже не стремятся ни к чему, кроме благосостояния.

— Я сказал бы, что и в Париже есть молодые, только они обречены на молчание.

— Чтобы идеи превратились в действие, мало разрушить Бастилию. Говорят — *memento more* *, но и *memento vivere* * имеет значение. Помни, что ты живешь, и поступай соответственно этому. Я знаю, плохо было всегда, наше время не имеет монополии на страдания, не существует рецептов и для прогресса. Но ведь несправедливость — вечный вызов бойцам сделать попытку...

— В Чехии мы тоже осуждены на молчание, Вена заткнула нам кляпом рты, но мы не сдались...

— Чехи — славяне, а славянский мир, безусловно, еще не сказал своего последнего слова. Мне славянство представляется молодой женщиной, которая еще не любила и в которой, когда она пробудится, появится огромная сила. Западная Европа по своей воле и во имя собственного комфорта выбрала деспотию. Одна мечта у нее рухнула, а другая не родилась. И в то же время вас, чехов, даже двухсотлетнее иго Габсбургов не похоронило, только на белых мундирах австрийских вояк прибавляется одно позорное пятно за другим.

— Вы думаете, мы можем верить в Россию?

— Прежде всего мы должны верить в революцию, которая ее

* Помни о смерти... помни о жизни (латин.).

изменит. Чаадаев хорошо сказал: символ царской России — тот большой колокол, что демонстрируется в Кремле: у него нет сердца, он не может говорить, царь стережет его...

— Иногда я думаю, правильно ли я поступил, уехав из Праги, пытаясь идти через Брюссель и Париж...

— Когда я покинул Россию, я тоже обвинял себя в трусости, — искренне признался Герцен. — Вам уже известно мое мнение о Западе: жить здесь нелегко, но бороться тут можно, и для России я смею сделать больше. Меня могут отправить на галеры. Но пока не погибнет слово, не погибнет и мысль.

— Для меня это поддержка...

— Кто не мирится с рабской жизнью, тот не изменник. Наша борьба касается всего человечества. Мы ищем пути. Только не умереть заживо! Конечно, можно выбрать страдание и уйти в него. Но в сущности, таким способом оглушают себя, чтобы не тревожили мысли. Я предпочитаю знать правду. Этот Запад, с его нравственной вялостью, утратил не только надежды, но, похоже, и безнадежность. Он утратил и боль, которая поистине — призыв к борьбе. Мы это чувствуем, мы, славяне, вливаем в здешнее общество новую кровь... Мы пытаемся войти в контакт со свободным духом всей Европы. С прошлого года у меня здесь типография. Хочу работать.

— Вы не представляете, что для меня значат ваши слова...

— Только взгляните вокруг! Мы думали, что конец восемнадцатого столетия положит конец горю. А между тем? Всюду кровь и пламя. Я не знаю иного лекарства, кроме работы, просвещения, возрождения...

На бледном лице горели темные глаза. Скорбные морщины вновь озарялись светом. Голос по-прежнему был полон горечи, но в нем звучала жажда жизни.

После этой встречи Ярослав почувствовал большую уверенность в своем решении. Он идет правильным путем. Но его картины должны стать действенными. Писать проще — этого мало. Я должен быть в курсе всего, что происходит, твердо решил он, я не имею права отставать от Парижа, но в моих картинах должно быть дано слово тем, кто страдает и борется.

Во время путешествия Ярослав думал об Иполите, заранее представлял себе ее взгляд, устремленный на его новые полотна, и чувствовал себя неуверенно, поскольку ему не доставало того, что было необходимо ему для полноты жизни.

Когда ему удалось приобрести ателье на улице Отфёй, он обставлял его с расчетом на то, что когда-нибудь туда войдет Иполита. Пол с расшатавшимися кирпичными плитками покрыл ковром. На стене оставил несколько гобеленов, купленных у прежнего вла-

дельца. Перевез сюда свои книги, оружие, гуситский щит, полотна, рамы, картонь. Купил старую фисгармонию и поставил ее в угол, в другой угол — столик и три кресла. Под шкафом, стоявшим за занавеской, лежала гиря.

Фромантен был прав: не только фасад здания, но и коридор и все помещения дышали прошлым. Со времени революции прошло всего полвека, Ярослав до сих пор встречал старых людей, которые пережили ее, но она представлялась гораздо более далекой, необозримой, из иной эпохи.

Одним из первых произведений, созданных им в новом ателье, был небольшой трехстворчатый алтарь, предназначавшийся в подарок Иполите к новому, 1855 году. Святой с распущенными волосами он придал сходство с Иполитой, а у летящих с лентами ангелов были лица ее дочерей. Он полагал, такой подарок мог бы принять и Галле.

Он с радостью поехал бы к матери в Прагу. Брат Йозеф, основавший лечебницу для душевнобольных в Брно, тоже звал его к себе; первая жена Йозефа, прежде гувернантка у Чермаков, умерла, вторая его жена была родом из Любляны. Ярослав рад был бы узнать что-нибудь о южных славянах, он поддерживал постоянный контакт с Ламблом, и они сговаривались отправиться в Далмацию, а может, и в Черногорию, где Ламбл уже побывал в сорок восьмом году, но в конце концов Ярослав решил провести зиму в Брюсселе. Убеждал себя, что должен написать несколько обещанных портретов; на самом же деле ему хотелось быть как можно ближе к Иполите.

Каждый день он надеялся, что ему удастся с ней встретиться. Он бродил возле дома Галле, сживал в кафе, позволил завлечь себя в несколько светских кружков, где, как он полагал, могут бывать супруги Галле. Но Галле явно следил за Иполитой, и она сама честно исполняла принятую на себя роль первобольной женщины, которая должна избегать людей.

Ветры, дующие с моря, уже дышали весенним теплом, небо стало мягко-голубым, Ярослав закончил все портреты и подумывал о возвращении в Париж, когда ему наконец повезло. На открытии брюссельского Салона он увидел супругов Галле, но не смог к ним подойти. На следующий день он вновь отправился на выставку в смутном предчувствии, что, возможно, и Иполита поступит так же, и действительно встретил ее там. Она была одна. Он подошел к ней.

— Могу я к тебе обратиться?

— А почему бы нет?

Он попытался сказать ей то, что во время парижской встречи выражал лишь взглядами. Был откровенным и сдержанным.

— Для меня все упростилось, — сказал Ярослав. — Это моя вина, но и моя надежда. Моя кровь.

Его мужество подействовало на Иполиту. Он вдруг показался ей

старше и опытнее. Ему почудилось, что он прочел в ее глазах прощение.

— Я знаю, что любовь не трофей, — сказал он серьезно. — Это обязательство двух людей, каждый из которых принимает на себя равную ответственность.

Вероятно, это неразумно, обвинял он себя, вероятно, ей было бы приятнее, если б я прошептал несколько страстных слов, дававших ей понять, что я по-прежнему очарован, но на лице Иполиты были понимание и признательность.

Она спросила его о матери и о Праге, поинтересовалась работой, но фразы звучали уже не столь светски и холодно, как в Париже; в ее вопросах чувствовалась большая интимность, искренность, и было ясно, что воспоминания доставляют Иполите радость.

— В мае мы будем в Париже, — сказала она.

— Я могу ждать долго. Скажи только: можно мне надеяться?

Она посмотрела на него тем же взглядом, что и в Праге, — любовь боролась в нем с печалью, — потом слегка кивнула.

— Пожалуй, — тихо произнесла она.

Ярослав поклонился и быстро ушел. Большого он и не хотел услышать. Из Брюсселя он уезжал с возвращающейся уверенностью в себе.

В Париже тем временем все разговоры вертелись вокруг Салона, которым император хотел ошеломить общество. Забылся сумасбродный поэт Жерар де Нерваль, повесившийся зимой, забылись студенческие волнения, и все говорили о пяти тысячах картин, заполнивших Дворец промышленности. Газ шел лучше, улицы стали светлее, омнибусная компания выгустила на улицы новые «газели». Париж был наводнен иностранцами.

Салон воздал почести Энгру, выставившему свыше сорока полотен. Ярослав то и дело оглядывался, не увидит ли супругов Галле. Он мог представить себе любопытство Иполиты, мысленно слышал колкие замечания Галле.

Но подлинная сенсация родилась вне стен официального Салона. Хотя четыре года назад Курбе уже выставил «Похороны в Орнане», на сей раз жюри эту картину отклонило. Оскорбленный художник — ему было тридцать шесть лет — построил собственный деревянный сарай, над входом повесил большую надпись: «Реализм» — и ближайших своих друзей посадил в гардеробе и у входа, где взялось по франку.

— Ты должен на это взглянуть, — звал Ярослава Пинкас, — я пойду с тобой еще раз. Там была даже королева Виктория.

— Заплатила один франк?

— Так же как и Делакруа.

«За посещение театров и концертов платят; не являются ли и мои картины зрелищем? — обосновывал в каталоге Курбе введение

входной платы. — Я никогда в жизни не рассчитывал на благосклонность властей; обращаюсь только к широкой публике; если она желает увидеть мои картины, она явно не откажется заплатить за это удовольствие».

Большинство людей входило с улыбкой. Тут висело десятка четыре полотен. Сразу у входа — картина «Ателье художника», на которой Курбе изобразил себя и своих друзей.

— Говорят, многие из них после этого с ним разошлись, — заметил Пинкас.

— Почему, собственно, его картины вызывают такое сопротивление? — размышлял Ярослав. — Мне импонирует, что он остается верен себе.

— Ты говорил когда-нибудь о нем с Галле? Что он сказал?

— Что Курбе либо провоцирует, либо издевается.

Ярослав вспомнил, как пять лет назад впервые увидел «Дробильщиков камня» на брюссельской выставке. Он был там с супругами Галле, Иполита шла рядом с ним, он робко поглядывал на нее и вдвойне гордился, когда его позвали, поскольку с ним желал говорить король.

— Я думаю, — произнес Пинкас, — что реализм начал с открытия пейзажа. Поэтому молодые приняли Коро. Поэтому ездят в этот Барбизон.

— Но в таком случае я бы сказал, что все мы — реалисты. Сентиментальный романтизм все равно давно уж похоронен карикатурами.

— Благодаря нашему земляку пану Зенефельдеру. Что бы мы делали с карикатурой, если б ее нельзя было репродуцировать?

Друзья неторопливо обходили просторное помещение.

— Вон эти женщины, — показал Пинкас, — про которых господин Делеклюз написал, что даже крокодил отказался бы их сожрать.

В картинах не было красоты и гармонии, но чувствовалось упорное желание изобразить действительность.

Посещение «сарая» Курбе произвело на Ярослава глубокое впечатление. Вернувшись в ателье, скептическим взглядом окинул он собственные полотна, а потом вновь стал вчитываться в каталог.

«Звание реалиста было мне присвоено, так же как людям 1830-х годов звание романтиков... Я изучал вне какой-либо системы и предвзятости искусство древних и искусство современное. Я не хотел больше подражать одним и копировать других. У меня и в мыслях не было достигчь праздной цели «искусства для искусства». Нет! Я просто хотел почерпнуть в полном познании традиций осмысленное и независимое чувство собственной индивидуальности... Быть в состоянии передавать и оценивать нравы, идеи и облик моей эпохи, быть не только художником, но также и человеком, одним словом, создавать живое искусство...».

Ярослав непредвзято следовал за мыслями Курбе и соглашался с ним. Его восхищало мужество отшельника. С чувством сожаления он осознавал, что не принадлежит к подобному сорту людей. Мои мысли не столь энергичны, не столь точны, говорил он себе. Должно быть, это головокружительное чувство, когда художник идет по земле, где до него никто не проходил. Но в таком случае он должен дать имя своему пути. Что касается меня — я не создан для проповеди нового евангелия. Я трудолюбив, упорен, хочу быть честным, хочу служить. И все...

Впервые он осознал, что обстановка, кажущаяся привлекательной, по сути дела, ему враждебна. Здесь существуют тысячи художников, и каждый добывается места под солнцем. Париж — их родина. Он иностранец. Ярославу вдруг показалось, что ему не хватает воздуха.

Куда оно девалось, мое брюссельское честолюбие? В свою защиту он припоминал слова Герцена. Он оставался верен миссии, возложенной на него Прагой. Но как в этой хаотической борьбе без правил обрести твердую почву под ногами?

ПОРА СЛУЖЕНИЯ

«...С отрадой вспомнит моряк молодой
старую-старую звонницу в поле,
и сердце сожмется его от боли
при мысли о доброй Янтоник... Ждет его...
Выйдет на берег и ждет...».

Художник Йан Даржан донел бретонскую балладу, и все остальные — Пинкас, гарибальдиец Луиджи Аркинти и Чермак, импровизировавший аккомпанемент на фисгармонии, — повторяли с ним вместе припев. В новом ателье Чермака много пели; почти каждый вечер туда приходили друзья, и Чермак, иной раз болезненно возбужденный оттого, что не мог сосредоточиться на работе, радостно их приветствовал. Он жил в постоянном напряжении: ждал известия от Иполиты, следил за поездками супругов Галле между Парижем и Брюсселем, ничего не происходило, и он истомился от напрасного ожидания.

Ярославу необходимо было заглушить свои муки. У Аркинти, изгнанного австрийцами из Венеции, были неплохие сообщения, он признался, что связан с врагами императорского режима, и обстановка ателье, где витали тени Дантона и Марата, разжигала их нетерпение и любопытство.

— Есть у вас песни, призывающие к борьбе? — спросил бретонца Пинкас.

Даржан служил на железной дороге, но это было для него лишь средством существования; он страстно любил рисовать, особенно мистические сцены, иллюстрировал несколько детских книг, намеревался взяться за Данте и, кроме того, собирал легенды и предания своего края.

— К борьбе? — засомневался он. — Бретонцы часто обливались кровью, но при этом не пели. А у вас есть такие песни?

Ярослав открыл сборник Мартиновского, привезенный ему Пинкасом, и ударил по клавишам — это была уверенная рука одного из лучших учеников маэстро Звонаржа. Он запел, и Пинкас присоединился к нему:

«Ратоборцы в божьем стане...»

— И это зовет к борьбе? — усомнился Аркинти, когда они закончили. — Больше похоже на церковный хор.

— Вот видишь, а враги бежали.

— Но Луджди прав, — согласился Пинкас, — у нас тоже есть много песен, в которых звучит исповедь и жалоба...

Он затянул свою самую любимую словацкую:

«Боже мой, отче мой, беднякам в земной юдоли
столько тягот, столько тягот вынало на долю!..»

Устав от песен, переходили к разговорам об искусстве. Аркинти, писавший о выставках, высмеивал модных художников. Даржан хвалил Чермака и Пинкаса за их стремление усвоить технику французской живописи, только сомневался, прав ли Ярослав в своем желании остаться верным национальным сюжетам.

— Многие ли у вас это оценят? Найдется ли достаточно публики для твоих картин?

— Найдется, — ответил за Ярослава Пинкас, — ведь пришли же посмотреть на «Контрреформацию», когда он послал картину в Прагу. Правда, повторилась та же история, что с «Ломницким». Боялись остановиться у картины, чтобы не подпасть под подозрение.

— Вот видишь, потому я и говорю: не разумнее ли отдать себя целиком новой родине?

— В моих жилах течет чешская кровь, — улыбнулся Ярослав. — Мы должны сохранить жизнь нашего измученного народа, хотя бы на картинах.

— Париж поставил крест на исторической живописи.

— Я не собираюсь рисовать какие-то стародавние беды, — защищался Ярослав. — Но хочу поддержать тех, кто остался на родине. А если Франция узнает о нашей борьбе — тем лучше.

— Это верно, — вступился за него Пинкас, — что, даже если он не может ожидать какого-нибудь заказа из Праги, его имя у нас на родине служит для чехов оружием.

— Если все чехи такие, как Ярослав... — одобрительно развел руками Аркинти.

— Нет, — засмеялся Пинкас, — не надо мерить чехов по нему! Во времена господина министра Баха все ходят понурившись и говорят шепотом. Трудно найти чеха, у которого, когда он причесывается, от волос летят искры и который умеет взглядом гипнотизировать хищных зверей.

Ярослав, зная, что Пинкас над ним подтрунивает, отмахнулся.

— Ты забыл сказать, что и с гирей мало кто упражняется.

— Гирия — вещь неплохая, — заметил Аркинти, — но ружье красноречивее.

— Нам бы хоть сохранить свою жизнь, — сказал Чермак и оглянулся на картину — табориты, обороняющие перевал, — которая все еще стояла в его ателье.

— Краски мне нравятся, — посмотрел на картину и Аркинти. — В коричневом и зелени есть покой. Этот завал из деревьев и камней, вероятно, чешский, но пейзаж — французский. Я имею в виду — по живописи.

Ярослав был уверен, что это новая нота в его творчестве. Мотив был найден им в Марлотт, куда они ездили с Пинкасом и где чувствовали себя уютно под кронами деревьев, бросавшими зеленый отсвет, а вечерами — в трактире господина Аптони, который оказался сыном чешского солдата, он даже запомнил от отца несколько исковерканных песенок.

— Что за художники там были? — поинтересовался Даржан.

— Теодор Руссо там как дома, — ответил Пинкас, — потом, старик Арпиньи, напоминающий крепкий дуб из тамошнего леса... вечно сожалеет, что он всего лишь пейзажист, в то время как ему так нравятся красивые девушки. Появился там и Коро, но вечером его с нами не было.

— Вот кто меня восхищает. Не только тысячами написанных картин, но и сочетанием точности с фантазией. В воде, которую он изображает, есть ощущение глубины, простор над ней — это волны света, природа у него всегда праздничная...

— Вспомни, — подзадоривал Пинкаса Чермак, — там еще был также Мюрже и у меня с ним вышел скандал...

— Я же говорил: Ярослав одержим навязчивой идеей, будто у него магнетический взгляд. Когда он испытывает его на черных пантерах в зоологическом саду — пожалуйста. Но Мюрже, бедняга, седой, старый... Зачем его дразнить?

— Я верю в возможность гипноза, только на практике у меня это никогда не получается, — смеялся Чермак. — У меня вообще никогда не получится то, во что я верю, — в его смехе послышалась горечь.

— Тебе не хочется на время расстаться с Парижем? Мы с Ад-

риеной собираемся переехать. Я нашел дивный уголок в Во-де-Кер-най. Это летняя резиденция многих парижских художников.

Пинкас недавно женился на нежной, сердечной девушке, Ярослава пригласили в свидетели. Адриена была швеей и согласилась уехать в деревню, где жизнь дешевле и куда Пинкаса, как художника, влекло все больше.

— Будете там выращивать салат, разводить кур, радоваться, что вы одни...

— Безусловно. Я приглашу тебя на сбор винограда. Мне тоже необходимо залечить пражские раны.

Когда Пинкас в последний раз был в Праге, он взял с собой картину, изображающую мельницу на Монмартре, но предсказание Ярослава сбылось: не только отец, но и умный, чуткий Йозеф Манес — несмотря на то, что оценил гармонию белил и охры и вложил в картину чувство, — засомневался, не слишком ли груб сюжет.

— По мнению отца, начни я подражать тебе, я тоже сразу же добился бы успеха. Но было бы печально, если б каждый из нас не работал так, как ему подсказывает собственный ум и сердце, верно?

— Временные успехи никакой гарантии не дают, — соглашался Ярослав, — а жажда славы только сбивает с пути. Нужно иметь уверенность вот здесь, — приложил он ладонь к груди.

Но Пинкас придавал словам иной смысл и скептически проговорил:

— А ты, Яра? Ждать, и только ждать, — это неблагоразумно.

Он уже знал тайпу отношений Ярослава с Иполитой и все связанные с этим трудности.

— Тот, кто провинился, должен расплачиваться.

— Знаешь что, дружище? Любовь — прекрасная вещь. Но если жизнь наполнена только ею, она превращается в серьезную болезнь...

Когда Пинкас был в Праге, Йозеф Манес исповедался ему в своей несчастной любви. Здесь ему была предопределена та же роль у Чермака. Он жалел обоих, гордился их доверием и хотел бы помочь.

— Тебе необходима веселая девушка. Жена-друг.

— Должно быть, я упустил время. Теперь я кажусь себе всего лишь рабом, влекомым за колесницей триумфатора.

— Что за вздор ты городишь? — от раздражения у Пинкаса вздыбились кончики усов. — Кто этот победитель? Твое чувство? Твоя несуществующая вина? Неужели тебе не ясно, чем бы кончилось дело у супругов Галле, не объявись там ты? Галле по образованию адвокат, он найдет выход. А у тебя краски на палитре засыхают. Таборитов давно следовало закончить. Ты не работаешь. Не можешь. И это серьезно.

Аркинти с Даржаном тем временем пытались подобрать мелодию на фисгармонии, но громкие голоса отвлекли их.

— О чем спор? Аркинти утверждает, что ни одна любовная песня не сравнится с итальянскими.

— Он ошибается, — немедленно запротестовал Пинкас. — Самые красивые в мире любовные песни в Моравии.

Он потащил Ярослава к фисгармонии и тут же запел:

«Мне бы к милой, черноокой
за горою за высокой!..»

Протяжные звуки, исполненные тоски, неслись по ателье. Итальянец и француз, увлеченные мелодией, попытались вполголоса вторить:

«Только не легко попасть к пей:
ночью — темень, днем — ненастье».

Голоса набирали силу:

«Как же это врозь мы, если
предназначено быть вместе?!
Трам-тарá-тарá-та,
душечка моя ты,
предназначено быть вместе...»

Пинкас повернулся к Даржану.

— Ну не жемчужина ли? Настоящая поэзия!

Аркинти улыбался его горячности, повторяя мелодию, но не спеша поднялся, собираясь уходить.

Чермак остановил его.

— Когда ты пришел, то спросил меня, не скучаю ли я по морю. Что ты имел в виду?

— Хочешь проветриться? — уклонился от ответа Аркинти. — Мы тут у тебя накурили. Проводи нас до набережной.

Выйдя за дверь, они столкнулись в коридоре со стройной молодой мулаткой с тонкими чертами лица. Аркинти весело предложил ей пойти с ними, но она отказалась.

— Вы слишком шумны, господа.

— Виной наших криков страстная песня, — объяснил ей Даржан.

— Вот была бы натурщица, — любовался ее плавной походкой Аркинти. — Она уже побывала у тебя в ателье? Нет? Неужели художник может быть до такой степени слепым?

Ярослав тоже оценил фигуру женщины, чья кожа отливала оливковым цветом, когда она вышла на тротуар и очутилась в свете фонаря.

Они направились к Сене, пересеченной черными дугами мостов; на воде дрожали отражения газовых фонарей, стоящих на набережной. Женщины, сдающие напрокат стулья, возвращались из парков, позвякивая собранными саптимами. Вдалеке еще слышались крики

газетчиков: «Севастополь пал!» Группы метельщиков нехотя плелись в темноту. Кафе еще были открыты; в первом же, мимо которого они проходили, сидели за стаканом сока несколько девушек; при виде проходящих мужчин они беззастенчиво завели с ними разговор.

— Кто из господ еще не истратил всех денег? И кто предпочитает развлечение получше?

— В Париже столько красивых девушек, — вздыхал Аркинти. — Меня спасает лишь отсутствие денег.

— Почему это, — рассуждал Пинкас, — женщина на картине может изображать все на свете? Рисуешь ли ты Добродетель, Грех, Порок, Прогресс — это всегда красивая нагая женщина.

— Потому что женщина — начало всех начал, — предположил Аркинти.

— Это самое лучшее, что только может вообразить себе мужчина, — утверждал Даржан.

— Кроме того, тут проявляется мужская хитрость, — добавил Ярослав, — которую женщины столь же хитро терпят. С давних пор. Этакое лицемерное соглашение, в котором участвует весь мир, включая церковь.

У моста Ярослав попрощался с друзьями.

— Обожди, — остановил его Аркинти, — здесь нет стен, которые могут иметь уши. Мы хотели тебя спросить, твои штурманские права еще действительны?

— Конечно. Куда ты собираешься плыть?

— Мы ищем кого-нибудь, — небрежно сказал Аркинти, — кто сумел бы на небольшой парусной яхте проплыть довольно далеко от берега.

— Где взять судно?

— Об этом не беспокойся, — сказал Даржан.

— В таком случае это для меня пустяк.

— Значит, договорились.

Аркинти опустил руку на плечо Ярослава, и сразу стало ясно, что речь идет о гораздо более серьезном деле, чем они говорили. — В свое время узнаешь, когда и где.

Ярослав повернулся и пошел обратно. И с ним случилось то, что случалось всякий раз, когда он оставался один: он почувствовал, как многозначительно звучат в вечернем воздухе эхо женских шагов, тихие слова, таинственный смех влюбленных. И одиночество его тотчас отозвалось болью.

Не исключено, что Пинкас прав, и женщина поможет ему преодолеть свою раздвоенность. Что если ожидание Иполиты несет ему лишь медленное угасание чувства, таланта — всего? Имеет ли он право подобным образом губить свою жизнь, которая была ему дана для того, чтобы посвятить ее искусству?

Когда задыхающийся, как астматик, поезд покинул вокзал в Ренне, Даржан заставил Чермака подойти с ним к окну и с энтузиазмом показывал деревни и хутора, разрушающиеся часовни среди высокого кустарника, живые изгороди цветущего золотом дрока, колокольни, шпили которых вырисовывались на горизонте, усадьбы с печными трубами по обе стороны крыши.

— Это Бретань, это уже Бретань! — повторял он с меланхолической радостью. — Мы, бретонцы, тоже рьяные патриоты. Жаль, нет времени заехать с тобой в Кемпер. На каждом шагу — исторические памятники. И даже доисторические. Нигде в мире ты не встретишь столько таинственных менгиров, как в наших вересковых зарослях. Никто по сей день не установил, для чего, собственно, служили эти каменные глыбы. В качестве надгробных памятников? В качестве алтаря?

В Морле они пересели и к вечеру добрались до Роскофа. Ярослав впервые видел такую бедную пристань, открытую морю и ветрам, где камни как бы жили общей жизнью с людьми.

— Повсюду вокруг — дикое побережье, — показывал Даржан, — привыкшее к вечному единоборству с океаном. Море умеет жестоко любить. Между нами, из Гранвиля или Картере до Джерси было бы ближе. Но в Роскофе у нас свой человек. И никому не придет в голову, что какой-то безумец отправится отсюда на Джерси.

Быль как раз отлив, и за дамбой открывалась грязная полоса, на которой беспомощно лежали на боку лодки и суда побольше. Женщины сгребали и грузили на повозки подсыхающие водоросли; затем их где-то сжигали и собирали пепел, содержащий йод.

— Некогда тут было корсарское гнездо. Здесь все подчинено морю. Роскоф с ним живет и умирает. Эту церковь люди выстроили в море. Когда епископ не захотел уступить им кусок земли, они натаскали камней и земли на отмель. Таскали в сетях, фартуках и шапках.

Вход в церковь был украшен рельефами парусников, а самая верхняя часть устремленной ввысь башни представляла собой постройку из камня и воздуха в стиле рококо. На площадь выходило несколько старинных фасадов.

В единственном портовом кабаке их ожидал капитан Виктор Фаллак. У него были резкие черты лица, напоминавшие древних святых в церкви.

— Парусник в порядке? — спросил Даржан, познакомив его с Чермаком.

— Это быстрое и надежное судно. Вчера я ходил на нем с Биссоном — это тот, что взорвал свое судно, чтобы оно не попало в руки пиратов. Он говорил, что решил бы на нем плыть хоть в Австралию. Я тоже пойду?

— Тебя здесь каждый жандарм знает. А господин Чермак —

художник, он оригинал и больше всего обожает ночной лов. Скажи это своей жене, пусть о том станет известно всему городу. Сам знаешь, у чехов моря нет, оно им в диковинку.

В тот же вечер они купили в лавке, расположенной как раз возле жандармерии, новые сети.

— Художник ест только рыбу, выловленную им самим, — с соответствующей гримасой сообщил Фаллак продавцу и постучал себе по лбу.

Когда они вышли с покупкой, их встретил теплый дождик.

— Местные на него и внимания не обращают. Бретань — дочь дождя.

— Видите, — показал Фаллак Ярославу сухое место на смоченной дождем земле. — Анаон! Там укрылись души мертвых. В Бретани на каждом шагу сталкиваешься с суеверием. Сами над этим смеются, но попробуй в том усомниться — обидятся.

Ночь была ветреной, и брызги волн перелетали через каменный парашют дамбы. Но к утру небо и море успокоились.

Когда с приливом пристань ожила, все три парусника Фаллака вышли в море, и старый рыбак показывал Чермаку проход через залив по амерам — белым полосам на рифах и островках. Показывал, где ночью будут гореть огни. Вернулись они с мизерным уловом, а в полдень в трактире повздорили. Художник хвастал, что плохой улов компенсирует ночным ловом за островом Ба. Поскольку поднялся ветер, Фаллак предостерегал его. Кончилось это пари, свидетелями которого были все рыбаки в трактире.

Вечером Ярослав пришел на мол один. Мешок с парусами и корзинку, в которой лежало несколько сэндвичей и бутылка рома, он бросил в лодку и на веслах подошел к паруснику, привязанному у буя довольно далеко от пологого берега. Он перебрался на парусник и ловко пришнуровал парус к мачте и верхнему рею, после чего закрепил шкоты. Он делал все тщательно, зная, что каждый узел важен. Затем он поднял стаксель, который заплескался на ветру, и грот.

Ярослав был взволнован, понимал, что не знает толком судно, не знает как следует скалистого побережья, и мало ли что может помешать плаванию. Однако он был горд доверенной ему миссией и счастлив, что смог принять ее. Этим поступком он как бы искупал свою вину за незавершенные полотна, за нерешительность в борьбе, которую дал себе обещание вести, и заполнял пустоту, возникшую в душе из-за неопределенных отношений с Иполитой. Он вспоминал Герцена и Мальvidу. Пусть даже я погибну в этом плавании, думал он. Пусть крабы выгрызут мне глаза, мысленно улыбаясь, повторял он слова, услышанные от Фаллака. Но тут же одернул себя: нет, я должен добраться, я должен быть воплощением осторожности, потому что иначе вся затея бессмысленна.

Ярослав отвязал судно от буя, привязал к бую лодку, отбросил лишь в подветренную сторону, подтянул шкоты грота и стакселя, чтобы набрать ветру, и вспомнил слова опытного учителя в Остенде: обопрись на руль — корпус станет устойчивым, мачта должна быть тугой как лук...

Судно двинулось.

По носу показались вспененные волны. Подтянув парус прямо над корпусом судна, Ярослав своим весом уравнивал напор ветра на наветренной стороне. Соленая вода брызгала ему в лицо, словно приветствие моря, он щурил глаза и вдыхал ветер.

Заметил, что с маяка, на котором уже горел огонь, вслед ему смотрела группа таможенников. Помахал им, и они ответили ему тем же. Наверняка они знали о пари.

Затем Ярослав резко налег на руль, так что ветер оказался с противоположной стороны и перекинул грот и стаксель. Ярослав быстро пересел. Теперь он шел другим галсом. Рифы находились под водой, но бледное небо освещало поверхность моря, подернутую мраморной зыбью.

Оказавшись за островом Ба, уже недоступный биноклям, Ярослав развернулся спиной к ветру, распустил грот по одну сторону лодки, а стаксель перебросил на противоположную сторону. Скорость судна увеличилась — оно уже не боролось с волнами, а несло вместе с их черными хребтами, поднималось, падало, мачта тихо постанывала.

Фаллак оказался прав: «Корсар» был хорошим судном, надежным, послушным — оно угадывало желания своего кормчего, хотело плыть, любило ветер. Укутанный в дождевик, Ярослав начинал ощущать радость от единоборства с морем. С наступлением ночи ветер подул ровнее, порывы прекратились. На небосклоне зажглось несколько больших звезд. Ярослав был уверен, что идет заданным курсом, ему даже не нужно было сверяться с компасом.

Чермак представлял себе поэта, к которому плыл. Противник императора, он был вынужден покинуть родину. Кое-кто ставил ему в вину его переменчивость, но изменялась вся страна — нельзя было застыть словно изваяние.

Жизнь Виктора Гюго была полна утрат: недавно у него утонула любимая дочь. Говорят, после этого он долго не мог писать. Но общественные дела не позволили ему уйти в свою печаль. Когда Луи Наполеон выставлял свою кандидатуру в президенты, он попросил Гюго о помощи; напомнил о своем сочинении, где предлагал ликвидировать нищету и обещал осуществление принципов революции. Но потом резко изменил свое отношение. Он чувствовал в Гюго самого строгого своего судью и с радостью отдал бы за его голову немало франков. Поговаривали, что пребывание Гюго на Джерси тоже небезопасно; английскому двору милее самозванец, гарантирующий

широкую торговлю, нежели горстка честных людей, защищающих честь Франции.

«Живет тот, кто борется», — написал Гюго еще в 1848 году. То-го, кто все надежды утопил в крови невинных, он обвинял в низком преступлении. «Луи Бонапарт убил Францию, убил свою мать!» — кричал он. Его голос на острове сквозь шум океана звучал еще громче. «Гибель палачей — это утешение жертв. Проклинать тиранов — значит благословлять народы!»

Ярослав знал стихотворение, в котором Гюго насмешливо назвал правителя, обманувшего народ, Наполеоном Малым. Говорят, император с иронией показывал его своим придворным подхалимам как пустячный памфлет. Так по крайней мере сообщала о том «Елисейская ежедневная газета». Но Франция не забывала о Гюго. Прошло совсем немного лет со времени борьбы за «Эрнани», читался «Собор Парижской богородицы», люди из предместья Сент-Антуан утверждали, что Гюго готов был с оружием в руках вести их в бой против батальонов узурпатора. И не переставали надеяться, что он сорвет с лица диктатора маску филантропа.

Именно поэтому было необходимо, чтобы его голос перелетел с английского острова во Францию. Несколько существовавших связующих нитей оборвалось, необходим был новый отважный кормчий, на которого еще не пало подозрение.

— Это может кончиться и плохо, — предупреждал Аркинти, объясняя Ярославу, о чем идет речь. — В таком случае это означало бы тюрьму и высылку из Франции.

Но Чермаку казалось, что просьба друзей пришлась как пельзя кстати, чтобы вырвать его из летаргии. Он ничего не мог делать ни для себя, ни для Праги. Решил послужить своей второй родине.

Остров Джерси обнаружил себя силуэтом острых скал на побережье, посивших название Скалы изгнанников. Высокий берег лишил Ярослава ветра. Парус заполоскал, хотя руки Ярослава спокойно удерживали руль.

Он взглядывался в темноту. Неожиданно заметил небольшой треугольник другого парусника и одновременно — световой сигнал: неизвестный, находившийся на судне, поднимал и опускал фонарь.

Словно две нерешительные и неуклюжие птицы, суда, покачиваясь, сблизилась.

— Откуда прибыли, господин?

— Вы не поверите — из Роскофа. Я заблудился.

— Удачен ли ваш лов?

— Буду ловить здесь.

— Я вам верю, — кивнул незнакомец. — Спустите парус.

Ярослав бросил в воду якорь и спустил паруса. Незнакомец вытащил из трюма два больших свертка в просмоленной дегтем материи.

— Это письма. Здесь двадцать оттисков «Наполеона Малого». А здесь — оттиски новых стихов. В мешке есть груз. Если вас останавливают, спустите все под воду.

Ярослав укладывал свертки на своем судне.

— Что нового на острове?

— Мы отпраздновали годовщину польской революции. Но англичане предпочли бы, чтоб нас тут не было. Роберт Пиль требовал в парламенте, чтоб нас сбросили в море.

— А Виктор Гюго?

— У него прибавилось морщин и седин. Но гнев поддерживает его силы. Мы говорим себе, что в истории существуют такие минуты, когда спать — все равно что не жить. Вы доставите все это прямо в Париж. Знаете куда?

— Будьте спокойны. И передайте привет — от всех нас.

Ярослав вновь поднял парус и вытянул якорь.

— Вы поляк? — задал ему еще вопрос человек с Джерси.

— Нет. Чех.

Это было прощание. Ярослав подтянул парус, чтобы набрать ветер. Расстояние между судами увеличивалось. Джерсейское лениво двинулось к берегу, роскофское развернулось в обратную сторону.

Судно шло спокойно и быстро. Сердце Ярослава учащенно билось.

Увидев перед собой остров Ба, он закрепил парус и сунул руку в мешок. Вытащил один из напечатанных листов. Приблизил его к глазам и, поскольку ночь была светлой, сумел прочесть. Стихи назывались «Он засмеялся».

«Смеешься? Под конец ты завопишь, о мразь!»

Он пробежал глазами строки и улыбался желчи поэта, трансформировавшейся в остроумие:

«Ты усмехаешься, чтобы меня кольнуть!..

Презренный шут!.. Постой: ты скоро глянешь хмуро:

Я раскалил клеймо! Твоя затлеет шкура!»*

Опасно оскорблять столь большого поэта, подумал он.

Вдруг судно дрогнуло. У бретонского берега его встретил сильный ветер. Но роскофский рыбак не потерял присутствия духа. Он вытащил из трюма улов, приготовленный ему Фаллаком на тот случай, если его заметят таможенники. Волны кидались на нос судна, и соленая вода вновь полетела в лицо Ярославу. Парус стонал, и его стон смешивался с ударами литавр — это волны бились о берег.

Теперь Ярослав был уверен, что доберется благополучно. Фаллак и Даржан ждут его. Он отпразднует выигранное пари. Нет смы-

* Перевод Г. Шенгели.

сла идти спать. Утром они сядут в поезд, и к вечеру книги будут в Париже. Стихотворение разлетится в тысячах копий. Одна из них ударит императору прямо в лоб.

Шкот врезывался Ярославу в ладонь. Но паруса были наполнены ветром, и он летел по гребням волн, сжав губы и прикрыв глаза, с чувством сурового блаженства принимал торопливые поцелуи солевой воды и мысленно повторял фразу Гюго, сближавшую Францию, которую предали, с его родиной:

«Королям принадлежит сегодняшний день. Народам — завтрашний».

Потом он увидел огни роскофской пристани и осторожно сбросил скорость. На фоне светлеющего неба вырисовывались силуэты крыши и башни храма.

Ярослав почувствовал, что неохотно покинет Роскоф.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИПОЛИТЫ

В конце лета неожиданно наступили холода, затяжные дожди крошили перекопанные улицы, воздух был насыщен нездоровыми испарениями.

Пинкас, склонившись над печуркой, подбрасывал дрова и следил за куском мяса на сковороде.

— Воображаешь, будто ты двужильный, — упрекал он Ярослава, — а я, вместо того чтобы кормить кур, снова заточен в этом городе, где немисливо жить.

— Адриена наверняка клянет меня, правда? У нас в роду плохое сердце. Именно потому меня подзадоривает возможность дать ему бой.

— Сердце у тебя железное. Понятно, от насморка это не спасет.

Он подал Ярославу горячий лимонный сок.

— У меня словно ножи в горле, — закашлялся Ярослав.

— Надо было уехать со мной в деревню. Природа все исцеляет — и людей и краски... Я знаю, мы все время должны возвращаться в славное прошлое, чтобы узаконить себя в будущем... Французам легче. Они издавна свободны, историю оставляют для учебников, могут без конца бродить по Барбизону да упиваться природой.

— Не они открыли природу. Нас еще на свете не существовало — а англичане о ней уже знали. Я слышал, что, когда Делакура впервые увидел Констебла, он побежал на выставку и вечером, накануне вернисажа переписал свою «Хиосскую резню».

Пинкас вдруг принялся, быстро обернулся и подскочил к печурке. Сковорода дымилась, и в ателье запахло горелым.

— Вот результат твоих споров! Останешься без ужина. Или сбегать вниз, в трактир?

— Дай сюда, для меня и так сойдет.

Послышался стук в дверь.

— Взгляни, но никого ко мне сюда не впускай...

Пинкас открыл дверь. На пороге стояла элегантная дама, пытавшаяся скрыть волнение за внешней решительностью. Увидев незнакомого мужчину, она смешалась еще больше.

— Простите, господин Чермак здесь не живет?

— Живет, только он болен, — сказал Пинкас и тут же вспомнил лицо, изображенное Ярославом на рождественском алтаре.

— Можно мне с ним поговорить?

Пинкас оглянулся, чтобы получить согласие Ярослава, но Иполита уже вошла и увидела Ярослава, в изумлении приподнявшегося на постели; он не ожидал, что встреча, о которой он столь долго молил, произойдет при таких обстоятельствах. Он был растерян, но одновременно безмерно счастлив, что Иполита пришла к нему. Она еще не произнесла ни слова, но он инстинктивно понял, что своим приходом она высказала то, чего он тщетно ожидал и о чем даже перестал мечтать.

— Я так беспомощен... — чуть слышно произнес он.

— Тардье мне сказал, что ты болен. Лежи, — произнесла она тоном, не терпящим возражения. Заметив результат стряпни Пинкаса, добавила: — Кажется, я пришла к стати.

В ее облике не было тех трагических черт, которые Ярослав мысленно ей приписывал, напротив, она была спокойна и решительна.

Поставила на стол корзинку и сняла с нее салфетку.

— Хватит этого? — посмотрела она на Пинкаса и умолкла, как бы ожидая, что он представится.

— Мой друг, Собеслав Пинкас, второе его имя — Иполит, я тебе о нем говорил... — сказал Ярослав.

— А, господин с таким же именем, что и у меня!

— Мне дали его при конфирмации, — поцеловал ей руку Пинкас и решил упростить ситуацию: — Я как раз ухожу.

— Не лгите, — отклонила Иполита его любезность, — наоборот, думаю, вы понадобитсяе Ярославу.

Она подошла к постели и поцупала лоб Ярослава.

— У тебя жар. Я сделаю тебе компресс.

— Нет, бога ради, — он старался скрыть свое беспомощное состояние. — Думаю, я как раз совершенно выздоровел.

— Половина Парижа простужена. Доктор Тардье дал мне для тебя порошки. Но их следует принимать и ночью, запивая горячим чаем.

— Я сейчас в Париже один, и мне, собственно говоря, негде ночевать, — признался Пинкас, — я останусь здесь, чтобы его будить.

Ярослав объяснил, что жена Пинкаса в деревне и он живет там в бывшем монастыре, разрушенном во время революции.

— Не совсем в монастыре, — поправил его Пинкас, — а в старой усадьбе, на стенах которой уже оставили следы разные художники — там полно рисунков и карикатур...

— В таком случае мы должны на это взглянуть, — заявила Иполита. — А как только я здесь устроюсь, вы придете со своей женой ко мне, я хочу с ней познакомиться.

Ярослав не сводил с Иполиты глаз и удивлялся той воле, с какой она отбросила прошлое и обрела совершенно новые качества. Он гадал — идет ли это от решения начать новую главу жизни. Или это всего лишь приподнятое настроение оттого, что она сбросила оковы брюссельской жизни и чувствует себя в Париже свободной и самостоятельной?

В корзине Иполиты оказалась жареная курица, омар, майонез, ананас, бутылка токайского.

— Мадам, никогда более щедрая маркитантка не посещала одиноких бойцов, — Пинкас принес к кровати столик. Глазами он спрашивал друга, не лучше ли ему все-таки исчезнуть, но и взгляд Ярослава был столь же неуверенным. Иполите же, казалось, присутствие Пинкаса действительно не мешало, наоборот, она восприняла его как желанную помощь при встрече после столь длительного перерыва. Держалась она непринужденно, и ее внимание к Ярославу было красноречивее всяких слов.

Когда они сели за стол, разговор шел обо всем на свете; Иполита спрашивала о художниках, о выставках, вновь возвращалась к Адриене и к жизни в деревне. И только когда Пинкас предложил убрать посуду и нарочито стал греметь ею в углу ателье, появилась возможность сказать несколько более интимных слов.

— Я испугалась за тебя, — наклонилась Иполита к Ярославу.

— Ты не представляешь, как я тебе благодарен.

— Вдруг мне стало совершенно ясно: я должна приехать.

Только теперь ее голос утратил оттенок светской легкости. Она посмотрела в его блестящие от температуры глаза и прошептала:

— Я больше не могла. Я сошла бы с ума. Сказала Луи, что продолжаю любить тебя.

— А я как раз приучал себя к мысли, что ты все забыла. Как он это встретил?

— Упреками. Но мне хотелось, чтоб он знал. Нельзя вечно притворяться.

— Я думал, ты все уже похоронила.

— Возможно, вначале я так и собиралась. Можешь себе представить, я пережила трудные минуты. Но и эта разлука и все пережитое нами не прошло бесследно — ведь мы измеряем свое чувство всей жизнью... А ты? Не иду ли я к чужому человеку, говорила я себе. И такое могло случиться.

— Ты в это не верила, правда?

— Ты не умеешь играть чувством. Но тебя могло изменить разочарование.

— Я тот же, что был в Брюсселе, в Остенде... Но Луи, выходит, — вернулся Ярослав к ее намеку, — согласился бы на развод?

— Нет, тут ничто не изменилось. Для него гораздо важнее общественный престиж, нежели наш союз, и этим все сказано. Но он ни за что на свете не пожелает потерять имя и славу, общественное положение... Он не даст согласия на развод. Возможно, даже будет мстить.

Ярослав удивленно взглянул на нее.

— И тем не менее ты пришла? И как теперь у нас будет? Как прежде?

Она поцеловала его в горячий лоб.

— У тебя температура. Это я виновата. Это тот огонь, в котором сжигаются мосты. Мы обо всем договоримся. Но теперь тебе больше нужен покой, чтобы поправиться. Нам обоим понадобится сила и здоровье.

— А как ты себя чувствуешь? Что говорит Тардьё?

— Он не совсем доволен, но я надеюсь, и, стало быть, он тоже должен надеяться.

Она повернулась к Пинкасу.

— Вы поставили воду для чая?

— Сейчас вскипит.

Иполита уже несколько раз посматривала на картины, висящие по стенам. Теперь она встала и прошлась по ателье. Наконец она увидела полотна, которые он писал для нее. Она обратила внимание на рисунок, изображающий еврейское кладбище в Праге.

— Спасибо, — сказала она, — я тоже это вспоминаю.

— Сцена с зеркальцем, — показал он, — помнишь? Я делал это для тебя.

Какие еще требовались доказательства?

— В ней все исполнено света, — сказала Иполита. — Но я еще вернусь к этим картинам.

Она подошла к столу и взяла бокал с токайским.

— Чтоб ваша любовь была счастливой, — подняла она тост за Пинкаса. — Наш тост подождет, — нежно наклонилась она к Ярославу. — Когда ты хочешь, чтобы я пришла?

— Я хочу, чтобы ты вообще не уходила. И ты вернешься такой же? Это не чудо, после которого снова ад долгой кошмарной зимы?

— Сам увидишь.

Когда она ушла, в ателье словно бы стало темнее. Друзья посмотрели друг на друга, чтобы убедиться, что их действительно посетило счастье.

— Как ты себя чувствуешь?

— Скверно — и вместе с тем прекрасно. Скажи, пожалуйста, мне это не привиделось?

— Она великолепна, твоя Иполита. Правда, сдается мне, что ваша жизнь будет не легкой...

— Если мы хоть изредка будем вместе, я переживу даже самое худшее.

Были именины императора, на Марсовом поле маршировали полки, вернувшиеся после Крымской кампании. Париж был освещен, в театрах играли бесплатно, из аэростата над площадью Звезды сыпались конфеты, гремели фейерверки.

В ателье на тихой улице Отфёй снаружи долетал шум летнего гулянья.

— Сколько жизней это стоило, — сказала Иполита, — а Париж на все закрывает глаза.

— В тебе действительно проявляется славянская душа, — слегка повернулся к ней Ярослав и, как всегда, заново оценил нежную гармонию черт ее лица. — А Парижем теперь владеет одна-единственная мысль — возродиться: для красоты, для наслаждения... Господин Осман строит прекрасные районы для тех, кто любит беззаботную жизнь.

— Сказки Османа, — улыбнулась Иполита.

— Но правдивые. Он строит для тех, кто умеет зарабатывать. Это будет твердыня богатства, и царить в ней будет не Наполеон, а Оффенбах.

— Разве это не лучше?

Ярослав притянул ее к себе и обнял. Он все еще не избавился от восхищения той поры, когда он, двадцатилетний студент, приблизился к этой недоступной красоте и начал мечтать об Иполите как о возлюбленной. Но даже охваченный страстью, сохранял к ней уважение, и, лишь когда загоралась Иполита, он невольно покорялся ей.

Уголок в ателье был островком в море событий. Повсюду вокруг росли ограды новых бульваров, чуть дальше — километры крепостных стен и широкие рвы, а над ними — укрепления и бастионы. Парижанам было неважно, что амбразуры направлены не только вовне, но и в сторону города, который они должны бы защищать. Их больше занимали новые универсальные магазины. Каждая женщина должна была иметь на платье ленты и кружева такие же, как у императрицы, каждый мужчина — пальто с широким воротником, а в руке — перчатки, дома полагалось выставить портрет работы модного художника. Поскольку императорская семья ездила на дачу в Сен-Клу, богатые парижане тотчас начали подыскивать, какую бы дачную местность им облюбовать. Мебельщики были завалены ра-

ботой, чтобы банкиры и биржевики могли пить чай и играть в карты в массивных столовых а-ля Генрих II. Необходимо было иметь салон, кого-то принимать, у кого-то бывать. О ком-то говорить и на кого-то наговаривать. Потому что это общество, жаждущее безнравственности, было бесконечно нравственным.

Ярослав целовал нежную щеку Иполиты.

Далекие орудийные залпы фейерверка затихли.

— Мне пора идти. Твои друзья сегодня не придут?

— Позже.

Для Иполиты его объятия тоже были источником силы, необходимой для того, чтобы жить в уединении.

— Как ты решил? Останешься в Париже? А что Прага?

Этим летом из Праги приходили одни грустные сообщения. Умер Гавличек, вслед за ним — Тыл, оба ушли из жизни преждевременно, оба в забвении и нищете, бойцы из первых рядов; их похороны проходили под надзором австрийской полиции, и единственный венок, из терновника, принесла на гроб Гавличека Божена Немцова.

— Я чувствую себя здесь словно потерпевший кораблекрушение на острове. А там, вдали, тонет корабль. К сожалению, славяне не умеют объединяться...

— Ты думаешь о России? Даже после крымского поражения?

— Скорее, я думаю о южных славянах. Что мне импонирует, так это борьба горстки черногорцев против превосходящих сил турок. Вот это пример, и мне хотелось бы там когда-нибудь побывать. Я уже думал об этом в прошлом году, но боялся покинуть Париж, чтоб ты не искала меня понапрасну...

Иполита поцеловала Ярослава, встала и не спеша начала одеваться. Он рассказал ей о встрече с черногорской делегацией, приехавшей в Париж для того, чтобы добиться расположения Луи Наполеона.

— Секретарь князя Данилы — чех, по имени Ян Вацлик, чуть старше меня. Он два года был в Праге, учился там и воодушевился борьбой черногорцев.

— Но турки утверждают, что Черногория принадлежит им, не так ли?

— Как они могут утверждать подобное, если сроду не имели там ни клочка земли? Вацлик звал меня приехать посмотреть. Мне хотелось бы чем-то помочь им, но чем?

Тусклый свет с улицы наполнял комнату голубоватым полумраком, в котором желтым светом горело несколько свечей.

— А как же я, если ты уедешь? — сказала Иполита.

Представляя себе это тягостное видение, она казалась по-девичьи трогательной. Ярослав обнял ее и заверил:

— Ты же знаешь, я тебя никогда не покину.

На мгновение она прислонилась виском к его плечу, словно желая испытать, насколько надежно то, что он предлагает. Он прижался губами к ее волосам.

Ярослав понимал, что Иполита права. Она живет среди постоянных ссор и упреков. Он не может оставить ее во власти равнодушия и холода. Для этого у него был слишком мушкетерский характер. «Скорее я изменю своим творческим планам, чем Иполите», — решил он. И еще крепче прижал ее к себе.

— Не бойся, любимая.

Париж каждый день менял свое лицо. Каждый день происходили всякие истории, события, одни звезды закатывались, а другие восходили. Лишь небольшая кучка людей провожала на кладбище Альфреда де Мюссе, некогда столь любимого молодежью. Тысячи шли за гробом Беранже. Его песенки не умирали. Кому из них завтра будут поклоняться больше? Делакруа после многих тщетных попыток прошел наконец в Академию, спустя тридцать лет после Энгра. Умер Деларош, которого так уважали и которому подражали в Бельгии. А Веле, который был знаком чешским художникам по Мюнхену, повесился из-за нищеты. Позвали Пинкаса, жившего несколько дней по соседству у знакомых, он вынул горемыку из петли и попытался вернуть его к жизни. Позже он рассказывал Ярославу, каким кощунством звучали над покойным сиплетни сбежавшихся туда дворничих.

Пребывание Иполиты в Париже поначалу внесло в жизнь Ярослава успокоение; однако вскоре оказалось, что новая ситуация предъявляет новые требования — и к его времени и к его мыслям. С той поры, как Иполита призналась мужу, что ее чувство не умерло, между супругами Галле возникали частые ссоры, иногда длившиеся по нескольку дней. Иполита утратила хорошее расположение духа, в котором пришла к Ярославу, легко раздражалась, обещала навсегда покинуть брюссельский дом и снять в Париже собственную квартиру для себя и дочерей.

Господин Пик был состоятельный торговец и мог обеспечить свою дочь значительной рентой. Семья, разумеется, не одобряла ее шага, равно как и не могла помешать парижскому обществу воспользоваться желанной возможностью продемонстрировать свое негодование по поводу столь безнравственного поведения. Ярослав в глазах этого общества был прежде всего соблазнителем и любовником неверной жены; меняй он женщин, *le beau* * Чермак мог бы добиться славы искателя приключений; но, поскольку он посвятил себя одной-единственной замуженной женщине, это было непрости-

* Красивый (*франц.*).

тельным прегрешением. За его невнимание женщины мстили Иполите как более уязвимой.

— Знаешь, госпожа Бернар не пригласила меня на свой четверг. Впервые с тех пор, как я в Париже.

— Может, забыла. Или какое-нибудь недоразумение?

— В последний раз мне принесли извинения трое знакомых. Я начинаю усматривать в том умысел — оскорбить меня. По-видимому, прослышали о наших отношениях. Хотят продемонстрировать свое осуждение.

— Значит, завидуют тебе в том, на что у самих не хватает смелости. Найдешь приятельниц получше, разве не так? Таких, которые не носят китовый ус в кринолинах и в душе.

— Ты не чувствуешь изоляции, в которой мы оказываемся?

— Мне хватает двух-трех добрых друзей. Я одиночества не боюсь. Самое важное в жизни — что мы нашли друг друга. От остального я могу отказаться. Странное дело: в те минуты, когда люди препятствуют счастью других, ими овладевает особая злоба. Яростная зависть. И тогда они немедленно поднимают щит моральной чистоты, о котором в своей собственной жизни и не вспомнят.

— Но тебе необходимы люди. Чем кормится художник? Портретами?

— С тобой я готов заключить союз против всех.

Однако Ярослав мог себе представить, до какой степени Иполита, привыкшая к мишуре салонов, чувствовала себя униженной, когда некоторые дамы начинали демонстративно избегать ее. Он хотел компенсировать это. Когда однажды Фромантен предложил ввести Ярослава в салон старой госпожи Ансело, тот оговорил, что придет с Иполитой.

— Может, нам лучше скрывать свою любовь? Зачем понапрасну дразнить людей, — высказала опасение она.

— Что же, мы всю жизнь так и будем жить как воры?

Дом госпожи Ансело находился на улице Сен-Гийом, о которой господин Осман, планируя перестройку города, словно бы забыл. На мостовой росла трава. Старая дама принимала гостей в комнатах, где все поблекло — обои и ленты — и где висел ее давний портрет кисти Жерара. Мимо клеток, в которых щебетали волнистые попугайчики, не спеша прохаживались пожилые мужчины и женщины.

Разговоры постоянно вертелись вокруг императорской семьи. Художники, имена которых были неизвестны, завидовали Винтергальтеру, рисовавшему в Тюильри портреты, и со злобой и завистью повторяли слова художника Бугро, изображавшего нагих жещин, что он оценивает свою минуту в сто франков.

Потом играли в обычную игру — вопросы и ответы без раздумья.

— Ваша страсть?

— Презрение

— Ваша страна?

— Пустыня.

Остроумие здесь ценилось, но и остроумие было однообразным и утомительным. Ярослав смотрел на Иполиту и видел, что она не особенно довольна: гости старались быть интересными, но все, что они говорили, было надуманно, обескровлено, вымучено.

Наконец старые дамы собрались в маленьком салоне у столика для спиритических сеансов.

Больше Иполита с Ярославом там не бывали.

Минуты наслаждения, носившие привкус горечи, чередовались с минутами безысходности. Несмотря на трудности, вызванные разрывом с Галле, Иполита все больше укреплялась в решении не возвращаться к нему в Брюссель. Ярослав старался облегчить ей новую жизнь. Подыскивал квартиру, служанок, гувернантку, думал о бюджете, доставал мебель.

Ярослав привык к мысли, что возвращение Иполиты должно придать ему сил для творческой работы. Теперь же он был настолько занят хлопотами, что лишь поздно вечером, оставаясь один, вновь осознал себя художником.

Будь доволен, уговаривал он себя, твое желание исполнилось, к тебе вернулась настоящая жизнь. Жизнь тоже творчество. Это борьба за себя.

Но жажда искусства боевого, действенного по-прежнему оставалась неутоленной.

Ярослав обрадовался, когда в Париж приехал младший сын профессора Пуркине — Карел, которому только-только исполнилось двадцать три года; опыта у него было немного, но он интересовался различными проблемами живописи, темперамент сочетался в нем с чистотой характера и остротой суждений. Ярослав охотно сопровождал его по Парижу, словно приобщившись к горному ручью, впадающему в стоячие воды.

Пуркине, правда, заглянул в мастерскую Кутюра, как некогда Пинкас, но гораздо быстрее отверг прославленного маэстро.

— Все, по его мнению, мазилы, а сам он при этом плагиатор. Покуда он будет заседать в жюри Салонов, молодому художнику туда явно не попасть.

Не успел Карел пробыть в Париже и нескольких дней, а его суждения уже были так категоричны, словно он прожил тут годы. Чермака иной раз забавляла его резкость.

— Но, Карел, традиции ведь тоже некая ценность, а?

— Там не традиции, а консерватизм.

— Я имею в виду традиции как верность себе, душе своего искусства...

— Но господин Кутюр понимает их как верность публике. И от всех своих учеников хочет только того, что знает сам и к чему люди привыкли. Скажите, Яра, существует ли искусство, которое может идти вперед при одобрении всего общества? Лучше, если оно вызывает скандалы, не правда ли? Видите примеры вокруг. Флобера осуждают за «Бовари», Бодлера — за «Цветы зла». К чему относятся с уважением обыватели? Только к гарантированному успеху. Авантюры они не любят.

— Вы мне были необходимы как соль, Карел. Вы художник, который не только рисует, но и мыслит.

— Чем больше я мыслю, тем, вероятно, хуже рисую. Наше несчастье — это вы, Яра, — смеялся Карел. — Вы ошеломили нашего отца своим талантом и своей славой, и он без конца ставит вас в пример.

— Пинкас тоже так говорит.

Карел показал ему письмо своего брата Эмануэля, известного естествоиспытателя.

«Опять ты пишешь о деньгах. Почему ты не зарабатываешь как Чермак?»

— Видите, — постучал Карел по листу бумаги, — так смотрят на искусство даже самые близкие нам люди. Они о нем и понятия не имеют. Косарек замахнулся на большие чешские пейзажи, но их никто не купит. О Манесе Эмануэль мне пишет, что видел массу его эскизов, но он не способен создать из них картину. Эмануэль — педант. Я почитал бы за честь растереть Манесу краски.

— Не мог бы и он приехать в Париж?

— Откуда ему взять на это денег, бедняге? Рад был, что попал в Словакию. Живет помощью доброхотов. Но у него глаза, которые видят больше, чем все мы, вместе взятые.

— Однако меня удивляет, что вы можете и любить кого-то.

— Вы знаете его акварели и небольшие картины маслом? Я сказал бы, что он опередил французов. А иной раз я готов над его картинами расплакаться.

Из-за Карела Ярославу пришлось преодолеть антипатию к ночным посещениям трактирчиков, где собирались художники. «Атос» уже стал жертвой времени. И Ярослав повел молодого Пуркине в пивную «Мученики», где дымили в сто трубок и где за черными полированными столами сходились те, кто, быть может, падал от голода, но из вечера в вечер решал тут за рюмкой стоимостью в пятьдесят сантимов проблемы европейского искусства.

Чермак был сдержан и предпочитал оставаться незаметным. Карелу Пуркине все были интересны, и он неустанно расспрашивал. Ярослав показал ему Мюрже, чья седая голова царил среди тех, чей мир впервые изобразил он в своей прозе. К художникам льнули их натурщицы с волосами всех цветов и оттенков.

— У каждого постоянная натурщица — или они их меняют?

— Насколько мне известно, — наоборот: натурщицы меняют возлюбленных, а с ними — палитры, политические убеждения и вероисповедание.

Лица присутствующих блестели от пота, щеки пылали. Женщины оглядывались на Чермака.

— Вот эту называют Удар Ножа, — показывал он Карелу, — это знаменитая Титина, я покажу вам ее на нескольких полотнах. Но постойте, за соседним с нами столом сидит Курбе, вы его знаете?

— Так я и думал. А эти двое с ним?

— Тот, что в красном робеспьеровском сюртуке, — критик Кастаньяри. А другой — Жюль Юссон. Он написал книгу о реализме. Но под именем Шанфлери.

— Да, я читал ее.

Вскоре столы были сдвинуты, и знаменитости оказались в окружении своих почитателей.

— Ваше выступление было подобно пушечному выстрелу, — громко признавался в своем уважении к Курбе молодой художник с длинными волосами. — Со времен «Смерти Марата» Давида во Франции не было ничего столь значительного.

Курбе широким жестом отклонил похвалу, словно отстраняя ее от себя, но было видно, что ему это приятно.

— Знаете, как Кутюр нарисовал Курбе? — наклонился Пуркине к Чермаку. — Перед кабаньей головой. У этого человека и впрямь нет вкуса. Лучше я буду копировать в Лувре старых мастеров.

— Видите, Карел, это я и имел в виду, говоря о традиции.

Когда Кастаньяри поднялся и начал читать какое-то стихотворение Гюго, Карел придвинул стул поближе к соседнему столику, чтобы услышать, о чем тихо говорит Шанфлери. Он был разочарован: тот говорил о пантомиме. Чтобы спровоцировать его, он набрался храбрости и спросил напрямик:

— Я знаю вашу книгу, сударь. Скажите мне, откуда берется такое противодействие реализму, когда это столь естественное искусство?

Шанфлери с улыбкой обернулся к нему.

— Откуда, дружочек? Человеческое невежество настаивает на том, к чему оно уже привыкло. Оно поддерживает лень художников. Смотрит на картины, а истинную природу не воспринимает. Понимаете?

Пуркине это было ясно, но ему хотелось, чтобы Шанфлери продолжил, и потому он изобразил на своем лице неуверенность.

— Притом искусство подобного рода существовало с незапамятных времен, — продолжал теоретик. — Не был ли Гомер реалистом, изображая нравы своего времени? Цицерон упрекал его в том, что боги у него похожи на людей.

— Реализм должен победить, — сказал, усевшись, Кастаньяри, и это прозвучало неожиданным рефреном к стихотворению Гюго.

— Несомненно, — кивнул Шанфлери, — и чем скорее он победит, тем скорее и отживет. Даю ему лет тридцать жизни.

— Но нами искусство не кончится, — вмешался Курбе. — Каждое поколение завещает свое искусство будущему, которое и выносит окончательное суждение.

— Я имею в виду реализм как школу, — пояснил Шанфлери, — тот, что нам предрекла уже Санд.

Курбе снова сделал широкий жест.

— Главное — быть верным самому себе и ненавидеть фразерство. В искренности есть сила, и люди в конце концов всегда это распознают. Я принципиально отвергаю мнение жюри и адресуюсь к публике. Реализм — искусство демократическое.

Шанфлери согласился:

— Как писал Стендаль: у меня, правда, нет стиля, но я говорю то, что думаю.

Пуркине слушал, время от времени оборачиваясь к Чермаку с жестом, означавшим, что французские художники укрепляют его в сознании правильности своих взглядов. Но вот слова стали повторяться, внимание рассеивалось, за одним столом послышалась пикардийская песня, атмосфера разряжалась.

— Простите, что я вас обременяю, — извинился Пуркине, — когда они вышли из трактира и вдохнули свежий воздух. — В другой раз я уже сам найду сюда дорогу. Для меня это важно, будет о чем поразмыслить.

— Не сомневайтесь, мне тоже, — покачал головой Ярослав. — Я не переставал размышлять об этих вещах с того самого дня, как вошел в деревянный сарай Курбе с надписью «Реализм».

Спускаясь со склона, они остановились. На бледном небе вырисовывались силуэты башен и высоких домов. Во многих окнах все еще горел свет, и над городом поднималось мгlistое зарево.

— У Парижа богатая душа, — сказал Карел. — А пражская еле дышит. Боишься, как бы она в любой момент не уснула навеки.

— Поэтому я уверен, что Париж пойдет вам на пользу. Сильным талантам он помогает, слабые душит. А талант связан с характером.

— Вы довольны собой? — неожиданно задал Карел прямой вопрос, но Ярослав одобрял подобную прямоту.

— Нет, не доволен, мой дружок, уже несколько лет. Я чувствую, что я должен делать. Но колеблюсь, потому что не уверен до конца, что нашел для своих картин именно тот мир, который мне нужен. Я мало сделал для этого.

— А знаете, я вздохнул с облегчением, — весело посмотрел на него Карел. — Боялся, что вы слишком уверены в себе и не хотите знать ничего, кроме того пути, по которому величественно шествуете.

— Я полагал, вы ставите мне в вину увлечение историей...

— Да почему? Я знаю, что она нас учит. Но ведь и сейчас с людьми кое-что происходит. Вновь и вновь оживлять историю — мало. Это противоречит нынешним социальным отношениям, духу столетия...

— Курбе тоже так говорит.

— Да? Я думаю, должны существовать какие-то источники, которые питали бы нас новыми мыслями.

— Найти бы их!

— Возможно, в себе самом. Я мог бы нарисовать нимфу. Но стоит ли — подражать другим, чтобы что-то продать? Я хотел бы в искусстве мыслить. Только я лодырь. Рисую слишком быстро. Мне интересно первое впечатление.

— Найти новые источники, — повторил Ярослав его слова. — Именно поэтому я и оказался сейчас на перепутье. Найти источник мыслей, надежд, радости. Я не хочу изменять нашему миру. Но я мало что узнал в нем. Даже Словакии я не знаю. Даже Моравской Словакии. А мой дедушка был пивоваром в Градиште.

— Почему бы вам туда не поехать? — воскликнул Карел. — Немцова посоветует, куда лучше всего отправиться. Хотите?

— Попробую. Не исключено, что это поможет мне обрести себя. Я пытаюсь разгадать, кто я — бельгийский, французский или чешский художник?

— Вы себя обижаете. Спросите кого угодно в Праге — он вам ответит.

Когда они расстались, Ярослав пошел дальше по улицам, по которым они обычно спускались с Иполитой. Среди монмартрских садов и виноградников они чувствовали себя свободнее всего. Знали, как короче пройти по лестницам и проходным дворам, и у них всегда было такое ощущение, словно они покинули свой дом и отправились вместе бродить по свету.

Потом он свернул к дому, где жила Иполита и где с ней поселились обе дочери. Он насвистывал «Марш «Согласия» Сметаны, и ему казалось, что Иполита идет с ним рядом. Добрая, веселая, любящая.

Ты же меня понимаешь, мысленно говорил он ей. Ты знаешь, что каждую работу я начинаю во имя тебя. Но ты догадываешься и о том, как беспокоят меня вопросы моей творческой судьбы. Я ведь чувствую ответственность, и, если я проживу впустую, я буду несчастен даже в твоих объятиях. Мы с тобой вместе. У нас все хорошо. Нам не нужно бояться за себя. Но я должен отправиться в чужие края, чтоб не прожить беспечно свою жизнь. Ты ведь сама меня пошлешь, верно?

Иполита, казалось, шедшая с ним рядом, соглашалась.

ПЕРВОЕ СЛАВЯНСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Он ходил по горным тропкам, восхищался словацкими пейзажами, стремился сблизиться с людьми и прислушивался к себе — как человек, который принял лекарство и теперь ожидает его действия. Он привыкал к природе, величественной, буйной, преодолевал свою нелюдимость, знакомился с мужчинами и женщинами, которые помогали ему ощутить Словакию. После парижских событий ему казалось, что здесь, в Словакии, он большими глотками пьет чистый, освежающий напиток, благодаря которому чувства становятся сильнее, тоньше.

В начале 1858 года весь Париж таял от умиления по поводу любви принца Жерома, называемого в народе Плон-плон, к умирающей актрисе Рашель. Даже на ее похоронах продолжали говорить об этой романтической истории. Но день спустя идиллия рухнула... В карету императорской четы, направляющейся в оперу на «Вильгельма Телля», была брошена бомба.

Три взрыва на улице Ле Пелетье отшвырнули императорскую карету на тротуар. Загорелся газопровод.

Евгения, в белом платье, забрызганном кровью, заявила кинувшимся к ней полицейским.

— Не беспокойтесь о нас, такая уж у нас опасная служба — позаботьтесь о раненых...

Раненых было более ста. Несколько человек умерло.

Неужто это сделал француз? И даже один из тех, кто ликовал, когда сто один выстрел возвестил о рождении принца? Нет, на улице Мон-Табор в качестве виновника покушения был арестован итальянец Феличе Орсини. Ярослав вспомнил, где впервые услышал это имя. Было это у Герцена, когда там говорилось о ненависти итальянцев к Луи Наполеону, уничтожившему при поддержке папского Рима зародыш национальной свободы. Орсини, первый раз осужденный на пожизненную каторгу, а вторично приговоренный к смерти, в то время как раз бежал из Мантуи накануне казни и с помощью лекций в Лондоне, как он сам говорил, добывал средства для дальнейшей борьбы. Теперь он избрал мишенью для мести французского императора. Только это был бессмысленный удар. Орсини поплатился за него жизнью, а закон о безопасности, за который тотчас проголосовали, дал императору возможность бросать в тюрьму или даже высылать без суда и следствия кого угодно. Четыреста «подозрительных личностей» были высланы в Алжир.

В Праге, куда Ярослав попал после шестилетнего отсутствия, это событие тоже вызвало волнение.

— Я вижу, Прага не такой мертвый город, как о ней говорят, — констатировал он, когда при встрече у профессора Пуркине друзья столпились вокруг него и засыпали вопросами.

— Кто говорит, что Прага мертва? — отозвался профессор. — Вы ошибаетесь, Ярослав. Здесь есть люди, которые процветают. Их называют доносчиками.

Неруда и Галек подтвердили его слова и оба стали сетовать на условия, в которых влачит жалкое существование чешское искусство. Примерно то же говорили все коллеги из академии. Лишь одна встреча носила иной характер. Когда Ярослав посетил мастерскую Пуркине, который делил ее с Йозефом Манесом, он действительно был поражен живописными этюдами последнего.

— Вы тайком побывали в Париже, Пепя? Этими вещами вы подаете руку самым современным парижским художникам.

— Разве в чешской живописи отсутствовали краски? — Манеса обрадовали похвалы Ярослава. — У нас ведь были Шкрета, Купецкий, которого еще не оценили... А игра цвета у Норберта Грунда?

Ярослав опять затаил дыхание, перебирая иллюстрации Йозефа к «Рукописям» и глядя на эскизы. «Не тот ли это путь, что я потерял?» — подумал он.

— Вы погрузились в бездонные глубины славянской памяти, — сказал он с восхищением. — Если я не ошибаюсь, когда чешский мир увидит ваши иллюстрации, никто уж не сможет по-иному представить себе далекое прошлое нашего народа.

— Вот попадете в Словакию, Яра, и поймете, откуда я все почерпнул. Не надо бояться затерянных долин. Туда ведет путь не только к народным костюмам, но и к национальному характеру, к тем его качествам, которые обеспечивают народу существование и честь.

Позже Пуркине тоже показал Ярославу несколько новых работ.

— Вы сами определите, что получило крещение на Монмартре.

Парижские этюды представляли собой лишь беглые наброски. Булонский лесок дрожал на полотне, словно взгляд художника лишь мельком задержался на нем и тут же унесся дальше, но этот зачарованный взгляд остался в светлых и темных цветовых пятнах и в глянце листьев.

— Будете рисовать на основе этого картины, Карел?

— У меня в голове уже новые вещи. Я, как вам уже известно, лентяй и доволен тем, что есть.

— Вы нарочно на себя наговариваете. Но что с Манесом? У меня все время перед глазами его лицо. В нем столько сдерживаемой боли и столько задора.

— Я вам говорил, он не такой, как мы. Мы все искусству служим, а он им живет.

Во время путешествия по Словакии Ярослав вспоминал пражские встречи, сам себе учинял допрос и искал наиболее правдивый ответ. Не упустил ли я свое время, думая о заказах и о портретах? Не изменил ли искусству, потратив столько воли и сил на

устройство личной жизни и выяснение отношений с Иполитой? Мне тридцать два года. Даже если я, быть может, что-то упустил, даже если я не жил только для искусства, еще не поздно начать сызнова. Он все больше укреплялся в этой мысли, поднимался ли он упорно по склону, чтобы окинуть взглядом всю ширь словацких долин, сидел ли в пастушьих хижинах, слушая неизменные жалобы. Он знал, что здесь, как и в Чехии, люди придавлены к земле многолетним гнетом; и все же наблюдал тут более чистые и здоровые нравы. И одновременно он вполне естественно осознавал свое кровное родство со всеми этими людьми. С пониманием думал о Ламбле, всегда писавшем на картах с обозначением границ Чехии и Словакии одно название — «Чехославяне». Мысленно представлял себе, как Фрич после сорок восьмого года вербует здесь среди лесорубов и контрабандистов новых бойцов, вооруженных лишь кривыми ножами да косами. Слышал он и о венгерских виселицах. И вновь видел перед собой Манеса, тащившегося тут по грязи и пыли четыре года назад, и это воспоминание придавало ему силы. Его карандаш зарисовывал интересные типы, сцены, живописные национальные костюмы, нежные и дикие черты лиц, свидетельствующие о глубине страстей, склонности к песням и танцам. Люди, с которыми он встречался, зачастую бывали несчастны, подавлены, но он неизменно находил в них откровенность, самоотверженность, горячее взаимное чувство. Он припоминал из Колара: «Чтобы на зов «Славянин!» отклик давал Человек»*.

Мысленно разговаривал он и с Иполитой и был благодарен ей за то понимание, с каким снарядила она его в путь. Он писал ей о своих переживаниях; желал ей найти успокоение в парижской жизни вместе с дочерьми и утешал себя тем, что его долгое отсутствие поможет ей наладить отношения в семье и со знакомыми.

Он поднялся в Татры и в Микулаше передал священнику Годже рекомендательное письмо, данное ему Боженной Немцовой.

«...Он наш брат, и он доказывает это также своим искусством», — громко прочел Годжа и улыбнулся. — Я к вашим услугам, как верный друг.

Но за его поездкой следили и другие.

Журнал «Люмир» счел уместным проинформировать своих читателей о том, что «Ярослав Чермак отправился в большое путешествие по славянским областям Австрийской монархии; он направится в Венгрию, объедет воеводства Сербское, Словенское и Далмацию, несомненно, поднимется он и в соколиное гнездо — Черногорию. Во время своего путешествия он будет усердно изучать

* Перевод С. Шервинского.

костюмы, жилища, обычаи и природные условия различных национальных групп...».

Когда Чермак остановился в Брно, чтобы навестить братьев Йозефа и Яна, «Брюннер цайтунг» также сообщила, что в Брно «в эти дни находится художник Ярослав Чермак, который направляется в путешествие по Венгрии и Далмации».

Сообщение не ускользнуло от бдительного ока начальника полиции в Праге, и четвертого сентября он докладывал о том министру в Вену. «Поскольку Ярослав Чермак принадлежит к семье, которой не чужды сепаратистские чешские тенденции, поскольку, кроме того, он был воспитанником известного революционера д-ра Шпрингра, можно не без основания предполагать, что Ярослав Чермак своим путешествием может преследовать и политические цели. Полагаю, что я обязан был сообщить об отъезде Чермака вашему превосходительству».

Вена восприняла это сообщение с благодарностью, и тотчас в президиумы наместничества в Будапеште, Темешваре и Загребе, затем в полицейское управление в Загребе, а также наместнику Далмации подфельдмаршалу Мамуле был направлен циркуляр, повторявший содержание донесения из Праги (только слово «революционер» было заменено на «демократ»), с приказом следить за Чермаком; надлежало также проверить личные связи графа Орсата Пудича, к которому Чермак должен был обратиться в Дубровнике. Вслед за циркуляром последовали два настойчивых напоминания.

Подчиненные учреждения старались угодить начальству. Главное императорско-королевское наместничество в Буде первого октября известило начальника высшего полицейского управления господина Иоганна Кемпера фон Фихтенштейна, что «пражский художник Ярослав Чермак двадцать третьего октября прибыл в Липтовски-Микулаш и направился к известному панслависту евангелистскому священнику Годже, к которому имел рекомендательное письмо; однако отклонил приглашение жить у него и снял комнату в гостинице. Его нынешнее поведение подозрений не вызывает; он совершает прогулки в Карпаты, где рисует различные пейзажи».

В следующем рапорте, от четвертого октября, сообщалось, что Ярослав Чермак останавливался в Тренчине, где «занимался художественными работами, связанными с различными словацкими национальными костюмами, и Тренчинским замком». Он был подвергнут допросу и сказал, что путешествует от имени какого-то общества, «название которого, однако, не сообщил», чтобы сделать зарисовки различных славянских национальных групп; с этой целью он делал наброски многих мужчин и женщин в крестьянских национальных костюмах. По официальному требованию он предъявил папку с рисунками и сообщил, что далее намерен

направиться через Предмер в Жилину и Микулаш, а оттуда — в Бистрицу, Пешт и Славонию. Желая отличиться, полицейский чиновник добавил к своему сообщению подробности: «Замечу, что он хромает на одну ногу и, похоже, располагает значительными денежными средствами. Впрочем, он и впредь будет находиться под наблюдением».

Австрийская императорско-королевская полиция была педантична (ирония судьбы — через сто лет ее подробные донесения будут принадлежать к немногочисленным точным источникам о жизни чешского художника). Комиссар мог допросить Чермака и открыл его папку, чтобы убедиться, не содержит ли она следов панславистских и сепаратистских происков. Однако комиссар скрыл происшествие, которое, по всей вероятности, представило бы в смешном свете результаты его деятельности в глазах начальства.

Чем больше препятствий чинили в Венгрии Ярославу, тем больше ему хотелось устроить какой-нибудь спектакль. Однажды, выйдя на прогулку из Тренчина, он заметил, что за ним следуют трое жандармов. Он принял вызов. Изменил направление, ускорил шаг, заставил жандармов тащиться за ним по труднодоступным крутым склонам. Описав большую дугу, спустился к реке. Развел костер и спокойно пообедал. Когда он убедился, что жандармы, спрятавшись за скалами, наблюдают за ним, разделся в кустах на берегу реки, переплыл ее, держа узелок с одеждой на голове, и вернулся в город. Ярослав представил себе, как перепуганные преследователи искали, куда он исчез. Несколько часов спустя он увидел из окна гостиницы, как они, усталые и запыленные, плелись в ратушу. Должно быть, сообщить, что художник бежал или утонул. Полицейский комиссар направился вместе с ними в гостиницу. Да, стоило окунуться в такую студеную купель ради того, чтобы потом увидеть их испуг при виде подопечного, спокойно сидящего за ужином.

Вечером того же дня Ярослав подсчитал, сколько у него прибавилось рисунков и набросков. Твердо решил, что после остановки в Вене, где ему предстояло быть свидетелем при помолвке сестры Марии с графом Ежи Чарторьским, страстным любителем музыки и живописи, он, невзирая на позднюю осень, двинется дальше на славянский юг, чтобы не обмануть ожиданий друзей и бдительных официальных учреждений.

Чермак взял с собой в поезд книгу Фромантена о Сахаре. Отдавая должное способности друга четко выражать свои мысли, он вместе с тем осознавал, сколь отличны их поиски: Ярослав хотел найти не просто мир красок, но страну, с которой он мог бы срастись, черпая в ней новые силы и новые замыслы.

Он продолжал вспоминать о своих странствованиях по Словакии и писал домой, что «словаки — самый лучший народ», но с первых шагов по Далмации понял, что он на правильном пути. Ему импонировала простота и врожденная гордость этих людей, равно как и их искренность и отвага. Стоило ему сказать, что он чех, как повсюду находились сердечные друзья, все говорили о голосе крови, который не заглушить. Несмотря на то, что его рекомендательные письма от Ламбла утонули в волнах во время поездки на остров Локрум, его приветливо приняли и без них. Он делал беглые наброски и с самого начала решил, что непременно вернется сюда на более продолжительный срок весной или летом.

Полицейские комиссариаты не выпускали его из виду.

В донесении императорско-королевского наместничества в Задаре сообщалось в Вену, что Чермак седьмого октября поселился в Дубровнике на частной квартире и до шестнадцатого из города не выезжал. Его знакомства ограничивались врачом д-ром Иваном Казначием, рекомендованным ему Ламблом, управляющим русско-консульства болгаринном Петковичем и русским государственным советником Майковым, прибывшим с несколькими офицерами на военном корабле «Баян». В поведении Чермака не было повода для его задержания; он отыскивал лишь типично славянские лица и национальные костюмы да собирал песни, которые пели местные жители в трактирах.

В донесении от двадцать второго октября сообщалось, что Чермак девятнадцатого приехал из Триеста в Фиуме, поселился в отеле «König von Ungarn»*, пробыл там три дня и пароходом Лойда вновь вернулся в Далмацию; должно быть, за деньгами.

Несмотря на это, венская полиция первого декабря сообщила в Прагу, что знакомства Чермака были «политически предосудительны», и потребовала дальнейших сообщений о его поведении, об отношении к руководителям ультрачешской партии и о цели его путешествия в южнославянские страны.

Тогда начальник полиции Пойман ответил, что Чермак слишком большой художник и идеалист, чтобы позволить склонить себя к какому-либо действию, представляющему непосредственную опасность для государства, однако о нем известно, что он «всею душой привязан к своей чешской отчизне». Пойман сомневался, чтобы художник выполнял какую-то политическую миссию, но допускал, что «своим поведением он мог проявить себя и в политическом отношении, что при его эксцентрическом темпераменте вполне допустимо».

Ярослав чувствовал, что за ним следят черно-желтые взгляды австрийской полиции, но это не мешало ему пользоваться любым

* «Король Венгрии» (нем.).

удобным случаем, чтобы сблизиться с людьми из далмацких деревень и с рыбацких пристаней.

— В этой стране необходима особая осторожность, — предупредил его окружной начальник в Риэке.

— На мой взгляд, это откровенные и честные люди.

— Особая осторожность по отношению к вам, — поправил его окружной начальник с бакенбардами а-ля император. — Далмация — завоеванная страна, где не нуждаются в эмиссарах, преследующих политические цели. А императорский двор не потерпит здесь какого-то закулисного панславизма.

— Здесь живет много славян, так что панславизм здесь, собственно говоря, совершенно естествен — разве не так? Вам известно, господин окружной начальник, что славяне составляют десятую часть всего населения земли?

— Вы живете в Париже, — мялся сановник, — там более свободные нравы и взгляды. У меня, например, свое отношение к картинам. Художник должен изображать возвышенные предметы, чтобы нас облагораживать. Не понимаю, чем может привлекать художника этот низкий сброд, — ткнул он пальцем в окно, выходящее на улицу.

— Вы имеете в виду этих далматинских подданных его величества?

— Да, подданных. И по отношению к ним единственная наша обязанность — держать их в повиновении.

Ярослав с удивлением взглянул на человека, которому для успешной карьеры хватило подобного принципа.

— У меня на сей счет иные взгляды, — признался он.

— Вот видите, — торжествовал окружной начальник, — я ведь вас разгадал.

И в восторге от собственной проницательности поставил в его паспорте нужную печать.

Ярослав продолжал писать этюды и представлял себе, как по возвращении претворит в картины эту новую среду, новых людей, новые краски. Он запечатлевал в памяти сцены, свидетелем которых был, приглушенную игру красок в деревенских домах, ликование света на поверхности совершенно покорившего его Адриатического моря. Сожалел, что у него нет фотографического аппарата, чтобы зафиксировать на дагерротипной пластинке то, что будет трудно, как он опасался, сохранить в памяти. Он советовался с доктором Казначичем, насколько эффективен отдых на морском побережье; убеждал в письмах Иполиту, что пребывание в Далмации определено пошло бы ей на пользу, и просил переговорить о том с доктором Тардые. В нем зрела прекрасная мечта: обосноваться тут, работать над картинами на здешние сюжеты, жить рядом с Иполитой.

Ярослав получал от нее письма с новостями из Парижа: старый Дюма выиграл процесс с господином Маке об авторстве «Трех мушкетеров» и уехал в Россию; танцовщица Могадор, вычеркнутая императором по ходатайству Плон-плон из списка проституток, вышла замуж за какого-то графа и уезжает писать романы в Австралию... В условиях простой жизни на Далматинском побережье это казалось ему опереточным спектаклем, но по тону писем Иполиты он заключал, что та постепенно привыкла к Парижу и даже не упрекает его за длительное отсутствие.

О новостях в мире художников ему сообщал Пинкас. Отец перестал высылать Пинкасу пособие, и потому он вынужден был писать небольшие картины, с которыми ходил из магазина в магазин. Его «Зуава на посту», написанного еще под влиянием Ярослава, жюри Салона не приняло; но то же жюри не приняло и Милле, которого Пинкас так любил. Однако позже он мог сообщить другу об успехе: Пинкас нарисовал группу судачащих соседок, столпившихся над несчастным Веле, к которому его позвали, дал название картине «Молитва над повесившимся» и заслужил одобрение жюри. Ярослав представлял своего друга в его деревенском убежище; ему нравился напоенный солнцем воздух сельской площади и вечерний сумрак, окутывающий фигуры деревенских жителей на картинах Пинкаса. Но он считал своим долгом продолжать начатый путь. Завершив картину «Гуситы, обороняющие перевал», которую он продал позднее в Англию, он заканчивал одну главу своих поисков. Однако он и впредь был намерен вмешиваться в жизнь, а в Далмации это желание только усилилось. Не стал ли Жерико самим собой в ту минуту, когда позволил завладеть собой мысли об ужасе «Плота «Медузы»? Не стал ли Делакура наиболее красноречивым, очутившись на баррикаде? В том ярком краю, с которым он знакомился, справедливость пониралась на каждом шагу. В горах Черногории убивали турки, здесь царил тупая австрийская бюрократия. Разве этот мужественный народ не заслужил, чтоб художник поставил себя на службу ему и свидетельствовал о его положении?

Начало октября в Дубровнике было еще теплым, и Ярослав не терял надежды, что сумеет посетить Черногорию, которая особенно его привлекала. Стоило взглянуть на черногорцев, с которыми он встречался в Дубровнике, увидеть, как гармонируют их гордые лица с праздничным нарядом, и все манило его отправиться по скалистым тропам к народу, которому чехи издавна симпатизировали и в борьбе которого с превосходящими силами турок видели символ борьбы за свободу вообще. Он написал письмо Ламблу, в котором просил поделиться с ним своим опытом, а к Вацлику обратился с просьбой о приглашении.

Но вдруг наступили холодные дни, ветер стал совсем сырым, а выпавший однажды поутру снег придал горам новые очертания.

Зима здесь парализует все, даже воинственность, говорили ему друзья. Приезжайте лучше вместе с весенним солнцем, вы увидите и переживете больше.

Тогда он сложил эскизы и снова двинулся вверх, в Истрию. Посетил еще три города на побережье, сделал несколько этюдов к портретам, простился, снова отложил отъезд, чувствуя, как южнославянский мир прикипел к его душе.

В последнем письме к Ламблу он нарисовал кувшин для вина: «Быть может, этот рисунок наполнит весельем ваше сердце, пробудив сладкие воспоминания».

И для него это были уже воспоминания.

— Я все время думаю о юге,— повторял он Иполите, показывая ей рисунок за рисунком свои трофеи и сопровождая их рассказом о впечатлениях. Он заново переживал вместе с ней встречи с различными местами и людьми, и каждое воспоминание кончалось рефреном: мы должны туда поехать вместе.

За те несколько месяцев, что Иполита прожила одна с дочерьми, окружающие успокоились; у нее окрепли дружеские отношения с людьми, которые уважали ее характер, решительность или по крайней мере ее ренту. Она вновь была исполнена энергии и живости. Важнее всего было наладить возможность встреч. Она приглашала Ярослава в свою новую квартиру, но только вместе с другими людьми — хотела избежать пересудов за спиной. Иллюзию совместной жизни давало ателье Ярослава, куда можно было незаметно войти.

В театр они также предпочитали ходить с кем-то из знакомых, чаще всего — с супругами Беллем; те интересовались живописью, были благодарны Ярославу за его портреты и рисуночки в альбомах, госпожа Беллем иногда кокетничала с Ярославом, и Иполита охотно ей это позволяла.

Они вместе были на «Орфее в аду» Оффенбаха. Иполита возражала против подобного оскорбления мифологии, но мелодии, уже насвистывавшиеся на улицах, нравились всем. Ярославу было ясно, что речь идет об остроумном способе борьбы против нового строя. Собственно говоря, новый, 1859 год наводил на мысль о драме: во время обычной аудиенции император сообщил австрийскому посланнику, что ему претит поведение австрийского правительства по отношению к Италии. В эти минуты австрийские гульдены на бирже стоили не дороже мусора.

— Теперь демократ и тот в перешителности,— размышлял Ярослав.— Мы симпатизируем королю Сардинии, поскольку тот хочет освободить и объединить Италию. А если французский император намерен ему помочь, мы должны его хвалить хотя бы уже за то, что он идет против Австрии.

В ателье, где царили воспоминания о южнославянском путешествии, Ярослав однажды утром отыскал исхудавший странник с рекомендацией от портного Гулека.

Чермак внимательно взгляделся в него.

— Но мы же знакомы, — подсказала ему память. — Где мы виделись в последний раз?

— На Карловом мосту, десять лет назад.

— Фрич! — воскликнул Чермак. — И вы приносите мне рекомендацию? — рассмеялся он. — Ведь этот год всех нас навеки соединил. И то горькое испытание живо в нас...

— ...словно неоплаченный долг, — кивнул Фрич и пожал Ярославу руку.

Ярослав знал, что во время восстания Штура в Словакии Фрич был ранен, потом, после неудавшегося заговора Бакунина, брошен в Праге в тюрьму... Как только его амнистировали, он пытался пробудить весну хотя бы в литературе. Жена его умерла во время родов, он вновь был арестован и осужден на заточение в крепости.

— Для вас это было суровое десятилетие, знаю.

— Я уж думал, что не выйду из этого проклятого Дежа.

— Могу я предложить вам завтрак?

Железная печка горела неровным пламенем. Ярослав быстро разбил на сковородку несколько яиц и резал хлеб. Фрич тем временем с любопытством разглядывал картины на стенах.

— Воспоминание о Словакии?

Рядом с акварелью, на которой была изображена лесная часовенка, он заметил портреты словачки с выражением материнской нежности на лице и пастуха в длинной рубахе.

— А это уже приметы юга, верно? Вы были в самой Черногории?

— Нет, но я видел черногорцев в Далмации. Из этого наброска я хотел бы сделать картину, — показал он Фричу сцену: женщина с гордым видом и решимостью во взгляде охраняла нишу в скале, где скрывался боец. — Я называю ее «Жена изгнанника». Люблю давать картинам названия — иногда целые легенды...

— Женщины — воплощение нашей судьбы, — задержал свой взгляд Фрич на наброске. — В такие времена они переживают и свои и наши несчастья. Я снова женился. А известно, что долг верности — это одновременно и оковы.

Ярослав разливал по чашкам чай и расспрашивал про Берлин, где только что вступил на престол Вильгельм I.

— Поверите, даже немцы превозносят французского императора.

— Потому что он идет против Австрии. Поддержав Италию, он и здесь завоевал симпатии.

— В конце концов, — рассуждал Фрич, — если он окажет помощь итальянцам, он может за это чего-нибудь ожидать — немного зем-

ли, немного будущего. А французы — их привлечь на свою сторону легко. Я сюда приехал задолго до вас, убежал в Париж, когда мне было семнадцать.

— Он изменился, не так ли?

— Я еще как следует не огляделся. Но постойте, я вам кое-что привез из дома. Вы знаете, что о вас в Праге вышла поэма?

Ярослав удивленно смотрел на книгу. Имени Густава Пфлегера Моравского он не знал и о его романе в стихах «Пан Вышинский» до сих пор не слышал.

— Все читатели видят в герое вас. Его имя — Ярослав Черницкий, Вышинскому он просто исповедуется...

— А автор? — просматривал Ярослав стихи.

— Несчастный человек. Из-за болезни легких ему пришлось отказаться от учения, и успеха он пока не имел. Крестным отцом этой книги был, вероятно, «Евгений Онегин», но стихи не больно-то умелые. Меня в нем привлекает то, как он иронизирует над своей меланхолией.

Чермак взял нож и разрезал первые страницы.

— Вы ползали мальчиком с кистью по полу? Спали на картонах? — улыбался Фрич.

— Это не имеет со мной ничего общего, — качал головой Чермак.

— Ну да, — сказал ему Фрич и с нарочитым пафосом продекламировал:

«В Брюссель оттуда поспешил он тотчас
и первым стал поклонником того,
кто, средь блистательных блистая, точно
светило в сонме звезд, лелеял мастерство.
Как Эгмонт, мэтр — искусства средоточье —
сердцá вознес любовью благородной
к свободе, что тиран тошил в крови народной.
Здесь Ярослав, горя неугасимой
любовью к Родине, чьей верным был он сыном,
внимая слову мэтра, мать-отчизну
огнем восславил красок, истых, чистых».

— Действительно, — согласился Ярослав, — это мог бы быть я.

— Верным сыном Родины вы остались, хоть и вставляете в чешскую речь французские слова.

— С вами это тоже вскоре произойдет.

— Для меня это приятней пражского онемечивания.

— Влияние среды и необходимость. Все мои братья говорят по-пемецки. Во мне это романское окружение укрепило сознание принадлежности к славянскому миру. Понятно, иной раз мне приходится искать чешское слово. Я знаю также, что кое-кто может поставить мне в вину мой отъезд из Праги.

— Пусть вас это не печалит, филистерство — это омут, в котором можно утонуть.

— Рисуя, я пытаюсь говорить по-чешски, вы чувствуете? Гуситство — это протест против насилия, против всякой несправедливости.

— Меня в том можете не убеждать, — улыбнулся Фрич. — Ваш успех — успех чешской Праги. Ламбл рассказывал, что весь Париж без ума от ваших картин. Пани Немцова сразу написала об этом сыну в Мюнхен, чтобы его подбодрить. Все рады, что вы знакомите культурный мир со славянством. А мы в свою очередь должны взглянуть на себя с точки зрения европейского масштаба. Пойти чуть дальше Колара и Челаковского...

— Эрбена у меня не отнимайте, — сказал Ярослав, — его я люблю.

После обеда к ним забежал запыхавшийся Гулек и настаивал, чтобы они пошли посмотреть военный парад на Марсовом поле. Когда они начали над ним по этому поводу подтрунивать, он стал защищаться:

— Я бонапартист, не отрицаю. Предпочитаю, чтоб во главе Франции стоял император, а не король. Тем более что это император прогрессивный. Разве не так? Что он сейчас сделает? Освободит Италию от тех проклятых Габсбургов, которые пьют нашу кровь. А потом он очистит от них Польшу, вот увидите.

Они двинулись в путь, но поскольку Фрич, которого очень интересовали новые кварталы, то и дело останавливался, сравнивал их с тем, что помнил, пришли поздно. Когда добрались до Елисейских полей, им навстречу уже волной катилась толпа, провожавшая императора в обратный путь.

— Вон он едет! — показал вдруг Гулек на группу всадников, медленно едущих рысцой посреди бульвара. — Старик рядом с ним — это Жером, последний брат великого Наполеона. А тот в красном — Плон-плон, его сын. Его так называли в детстве.

— Я слышал, он республиканец, — заметил Фрич.

— Говорят, он даже ругает империю. Но когда это делают другие, воспринимает как оскорбление, — вразумлял его Чермак.

Когда группа всадников приблизилась, Гулек закричал:

— Да здравствует император!

Луи Наполеон, бледный, с равнодушным лицом, с усами, острые кончики которых были закручены кверху, поднял сонные веки, посмотрел голубыми глазами в ту сторону, откуда вслед за Гулеком донеслось множество выкриков, и ответил легким движением головы.

— Как ему скучно, — констатировал Чермак.

— Его прославленное хладнокровие, — возразил Гулек. — Точно так же он смотрел, когда бомба Орсини сбила шляпу с его головы.

— И позже, когда он подписывал ему смертный приговор,— добавил Чермак.

Он оглянулся на Фрича; у того на лице сквозила какая-то неуверенность. Ярослав понял, что он еще не составил своего мнения.

— Говорят, Луи Наполеон пишет историю Юлия Цезаря,— сказал он.

— Я тоже слышал. А Морни сочиняет пьесы. Честолюбию нет границ.

Они хотели показать Фричу Дворец промышленности, где устраивали художественные Салоны. Когда толпы рассеялись, они поймали на углу омнибус, поднялись на крышу и поехали до конечной станции, чтобы Фрич за короткое время увидел как можно больше.

— Я не отрицаю — у барона Османа есть размах,— рассуждал Чермак.— Все были против. Но теперь, когда вместо старых кривых улочек видишь эти широкие бульвары, приличные мостовые да еще аллеи... Возникает образ современного города.

— Раньше было проще,— признал Гулек.— Мастер жил наверху, подмастерье — на первом этаже... Теперь все переезжают, потому что квартирная плата в новых домах слишком высока. А новые жильцы даже не знакомы друг с другом.

— Вы тоже жалуетесь, что на этих широких улицах сквозняк? — улыбался Чермак.

— Я нет,— махнул рукой Гулек.— Париж превращается в самый красивый город в мире, и уж этой заслуги у императора никто не отнимет.

Они видели, как заполняются народом небольшие кафе и рестораны. Мужчины держали в руках «Сьекль» или «Газетт».

— Иногда наиболее остроумные высказывания бывают в «Шаривари»,— просвещал Фрича Чермак.— Самые большие тайны я всегда узнавал от людей, сидящих в кафе.

— Кафе — это антиправительственные центры,— кивнул Гулек.

У парка Монсо они вышли из омнибуса; обратно возвращались пешком. Гулек пригласил их выпить кофе и показал им небольшое озеро.

— Однажды императорская чета каталась здесь на коньках. Вы уже видели императрицу вблизи? — спросил он Чермака.

— Каким образом я мог бы оказаться с ней рядом?

— Эта женщина для художника. Кожа, как алебастр, золотые волосы, изящный рот. Я ее видел, когда она ехала с принцем на крестины в стеклянной карете, вот на таком расстоянии. Вам нужно получить приглашение на какой-нибудь придворный праздник.

— Мне туда не попасть, да я и не особенно стремлюсь к тому.

— Вы не думайте, император приглашает и роялистов и республиканцев. А Евгению спокойно можно встретить даже на улице.

Она ходит пешком, посещает больных, бедных и арестантов... и Орсины она хотела посетить...

— Так что ее муж заботится, чтоб ей было к кому проявлять милосердие... Париж не любит эту испанку.

— Знаете, чем она увлекается? Воспоминаниями Марии-Антуанетты. Говорят, Гонкуры уже пишут об этой несчастной королеве книгу.

— Императрицу не страшит ее печальная участь?

— Империя — это мир, — процитировал Гулек крылатую фразу.

— А ведет уже третью войну.

— Диктатору необходимы внешние успехи, — кивнул Фрич. — А если их не будет...

— Вы не представляете, насколько богаче здесь стала жизнь, — протестовал Гулек. — Вас, Фрич, здесь долго не было, а Чермака это не интересует. Вон там строится новый вокзал, там — почта, каждый день на какой-нибудь из улиц открывается новый магазин, а сколько одних увеселительных заведений — «Альказар», «Эльдорадо», «Батаклан»... Франция идет в гору, можете мне поверить.

— В таком случае вы должны мне посоветовать, где дешевле всего поесть, — поинтересовался Фрич.

— Полтора франка — за отбивную. Разве это много? За бутылку пива два су. Будьте справедливы! Я знаю — тот декабрь, восемь лет назад, меня от этого тоже тошнило. Но теперь этот человек доказывает, что у него были основания для захвата власти. Представляете, как жалко бы мы выглядели, если б этого не произошло? С вечными международными распрями?

Мимо них проходили солдаты, семьи с детьми, красивые модистки и швеи, влюбленные, занятые лишь собою.

— Это другой мир, тут вы правы, — согласился Фрич, — после тех лет — новая жизнь. Но, вероятно, она не для меня.

— Вы имеете право немного отдохнуть...

— У каждого в жизни есть свое предназначение. Понять его — уже счастье, но потом его нужно выполнить, не так ли?

Он повернулся к Чермаку.

— В мыслях мне все время видится какой-то журнал. Вроде «Колокола» Герцена. Нет ли у вас каких-нибудь знакомых в Швейцарии или в Англии, к кому бы я мог обратиться с небольшой просьбой?..

— Я уж тоже думал об этом, — сказал Чермак. — Что бы вы сказали о небольшом путешествии в Лондон? К кому? Именно к Герцену. Думаю, у меня есть возможность достать вам хорошую рекомендацию... Если ее напишет его секретарша и доверенное лицо, вы наверняка можете рассчитывать на его поддержку.

— Как мне вас отблагодарить? — Фрич смотрел на него сияющими глазами.

— Как? Сегодня вечером придете ко мне в ателье и будете нам с Пинкасом читать отрывки из «Рукописей». А мы во время чтения будем делать иллюстрации. Это не нагонит на вас скуку?

БИТВА ЗА ВАГНЕРА

Когда госпожа Мальвида фон Майзенбург приехала в Париж, чтобы дописать здесь «Воспоминания», и подыскивала для них издателя, она жаловалась Чермаку, что нигде не может найти необходимой тишины — ни в отеле, ни у знакомых, подозревавших, что она выполняет тайную политическую миссию. Тогда он предложил ей приют в своем ателье. Она приходила туда писать, пока он рисовал. В полдень официант в сером фартуке приносил им из ресторана обед. Иной раз Ярослав садился за фисгармонию, и звучал Шопен или Вагнер.

Мальвида, узнав историю Фрича, охотно написала для него нужную рекомендацию.

— Революция сорок восьмого всех нас окрестила заново. С той поры мы как братья и сестры.

— Думаете, Герцен ему поможет? Он продолжает борьбу? Сумел выдержать все испытания?

— Этот человек стоит уже выше всякой человеческой боли. Теперь его стоическая мудрость позволит ему пережить все на свете.

Мальвида хорошо себя чувствовала в ателье Чермака, а он ощущал с ее стороны нечто вроде материнской симпатии. Обоим приходилось скрывать свою любовную тоску, благодаря чему у них возникли очень близкие дружеские отношения.

— Феличе поплатился за сорок восьмой год тремя годами тюрьмы, — рассказала она ему однажды, когда они ходили по кладбищу, где посетили могилу Орсини. — Я любила его со всей силой страсти, на какую только способна женщина, а он отдавал мне лишь ту часть своей жизни, которую поэт может пожертвовать чувству. Я предпочитала скрывать свою любовь, чтобы не ослаблять его. Думаю, он даже не догадался, от кого получил в тюрьме рождественскую елку. Когда он уезжал в изгнание, я принесла ему на вокзал цветы. И это все. Почему говорят, что у женщины прогрессивных взглядов нет сердца?

Она охотно цитировала Новалиса, чтобы подчеркнуть, что каждый ответствен за жизнь на этой земле:

«Пускай хоть всюду скверна —
содом, вертеп, гарем, —
не изменю! Чтоб верность
не вымерла совсем».

В ответ Ярослав рассказал ей историю поэтессы, недавно умершей в мансарде близ магазина Гулека, и показал ее могилу неподалеку от надгробного камня Гейне.

— Ее называли Мадонна слез. Некоторые существа как бы предназначены для страдания, вам не кажется?

— Как звали эту женщину?

— Марселина Деборд-Вальмор. Вы не знаете ее стихи?

Иполита помнила Мальвиду как интересную женщину и не возражала против нового сближения; Мальвида каждым словом, высказанным и невысказанным, давала ей понять, что она может питать к ней полное доверие. Присутствие Мальвиды, напротив, дало им с Ярославом возможность чаще встречаться на людях, а несколько раз они втроем были в театре.

Летом, расставаясь с Мальвидой, Ярослав сделал ей чеканный браслет, этому он научился у герцеговинских ремесленников.

— Я с нетерпением жду встречи с морем, — говорила Мальвида, — океан мерещится мне даже во сне. Вечерами мне там великолепно пишется. Я, конечно, ничего не могу выдумать, пишу только то, что пережила, но, быть может, есть какой-то смысл это записать.

Лето у Ярослава прошло между деревенской резиденцией Пинкаса, Парижем и Шеврезом, где он провел две недели с Иполитой и ее дочерьми.

В начале осени все снова встретились и госпожа Мальвида опять нашла дорогу в ателье Чермака.

Это была пора, когда оркестры на площадях сразу после «Песни королевы Гортензии», становившейся гимном вместо грозной «Марсельезы», играли «Марш Гарибальди». Французские корпуса нанесли австрийцам поражение под Сольферино. Император Наполеон даровал королю Сардинии Ломбардию, Плон-плон женился на дочери Виктора Эммануила, Наполеон расширил территорию Франции за счет Савойи и полосы побережья у Ниццы. Солдаты, вернувшиеся из похода, рассказывали, как восторженно приветствовали итальянцы «либераторы»*.

Когда политическое напряжение ослабело, в ателье Чермака вместе с Мальвидой появились знакомые из Лондона: пастор Готфрид Кинкель, лишившийся места, поскольку он женился на разведенной, Шарль Блан, критик-искусствовед, брат которого Луи по сей день жил в Лондоне в изгнании, профессор Франц Боденштедт из Мюнхена. В ателье прибыло умных речей и смелых планов — по новым полотнам.

Вена не жаждала мести, она протянула Франции дружескую руку и направила в Париж нового посла, сына Меттерниха, кото-

* «Освободителей» (итал.).

рый, однако, ничем не напоминал своего печальной славы отца, прозванного «Fürst Mitternacht»*.

— Я слышала, — сказала однажды Мальвида, — что главное его достоинство — его жена Паулина. Императрица, дескать, всего лишь барышня Монтихо. А Меттернихша — настоящая королева Парижа.

— Да, говорят, эта молодая венгерская графиня страшно темпераментна, — добавила Иполита.

— Думаю, я познакомлюсь с ней у Вагнера. Вы не хотели бы пойти со мной?

— Пусть Ярослав идет один. Я люблю общество, но перед таким композитором я бы робела.

— В Праге Вагнер оставил о себе самые лучшие воспоминания. Пражской полиции он действовал на нервы. Однажды он отправился в Прагу из Дрездена пешком, а уезжая из Праги, будто бы даже плакал.

— Приготовьтесь к тому, что он переменялся, — предупредила Ярослава Мальвида. — Он был в Париже двадцать лет назад, познал тогда лишь голод и унижение, но ныне это известный музыкант, Лист и Готье писали о нем восторженно. Он может жить спокойно, ему больше не угрожает ордер на арест. Лишь во время работы, говорят, он бывает возбужден, словно ему грозит смертельная опасность...

Рихард Вагнер приехал из цюрихского изгнания в Париж, чтобы продирижировать здесь несколькими концертами. Ярослав с Иполитой слушали его произведения в Итальянском театре; прежде они слышали там Гуно и Берлиоза.

— Больше всего нам понравилась увертюра к «Тангейзеру», — сказал Ярослав госпоже Мальвиге, провожая ее в среду вечером на улицу Ньютона.

— Именно «Тангейзера» он охотно поставил бы в Париже. Пока Париж для него сделал мало: в прошлом году здесь только еще рисовали декорации для «Тристана».

Когда они вошли в дом, с первого взгляда стало ясно, что это наемная квартира, где и сам композитор — гость. Несколько мужчин стояли кучкой посреди комнаты, и, знакомясь с ними, Ярослав сразу сказал себе, что стоило нанести визит хотя бы ради этой встречи. Гюстав Доре, с нежными розовыми щеками, ничуть не походил на оригинального иллюстратора Рабле и Паскаля. О поэте Шарле Бодлере, с волосами зеленоватого оттенка, Ярослав уже слышал в различных кафе множество историй, касающихся в основном пьяных ссор с метиской, которая жила с ним. Был тут тонкий

* Князь полуночи (нем.).

философ искусства Теофиль Готье, журналист Габриель Ферри, которого побаивались, депутат Эмиль Оливье — его выступление Ярослав уже слышал: он пытался претворить в жизнь либеральную империю согласно представлениям Луи Наполеона.

Рихарду Вагнеру еще не было пятидесяти. На голове он носил берет, на шее черный бант, пиджак со стегаными рукавами и воротником; двигался медленно и почти не говорил, но к гостям был чрезвычайно предупредителен.

— Где хозяйка? — огляделся Ярослав, удивленный, что она не встречала их, как было принято.

Мальвида, обмениваясь с композитором несколькими словами и воспоминаниями о Лондоне, тихо ответила:

— Очевидно, они снова поссорились. Здесь это дело привычное. Бландина не понимает, что такой художник, одержимый творчеством, не может быть рабом обыденности. Вместо того чтобы помогать ему, она еще его дергает.

Молодой пианист, которого Вагнер представил как своего ученика, американец Клингворт, сыграл фантазию на темы «Тристана и Изольды».

Позже, за небольшими рюмками ликера, разговор вновь оживился. Среди гостей появилась госпожа Бландина. Когда Вагнер услышал имя Шопенгауэра, он впервые вмешался в разговор, и сразу же весьма темпераментно:

— В каждом из нас заключен бог, это верная мысль. Но нам следовало бы стремиться к освобождению от эгоистической жажды жизни. Только когда в нас заглухнет личное, родится общее. Это сущность христианства. И тем самым, собственно говоря, одновременно решается проблема человеческого счастья.

Ярославу эти мысли казались несколько упрощенными, но никто не протестовал, а для Вагнера отсюда было не так уж далеко и до понятия новой музыкальной драмы.

— Миф — вот идеальная поэтическая ткань, в большинстве случаев анонимная, примитивная народная поэзия. Она показывает, что в жизни вечно. Потому я оставил историю, которая не бывает столь человечна, и погрузился в легенды.

— Только так, — пробормотал Готье, — после Вебера и Бетховена может появиться что-то новое. С криком и плачем страсти в музыкальной ткани.

— Изначальная основа мифов — природа, — заметил в своей неожиданной манере Бодлер. — Да, природа — великий словарь. Тот, у кого есть воображение, ищет в нем азы и приспособливает их к себе. Остальные копируют. Нынешним молодым художникам не ясно, что они любят и что хотят выразить.

— Каждая фраза Бодлера кончается именем Делакура, обождите, сейчас услышите, — дружески улыбнулся Готье.

— О ком бы ни шла речь, о Делакруа или о Вагнере, — язвительно отрезал поэт, — миссия художественного произведения должна бы заключаться в том, чтобы пробуждать в нашей памяти чувства и мысли, которые уже во власти прошлого, о которых мы забыли. Будь то звуки или краски, речь идет об атмосфере человеческой драмы.

Ярослав недавно был в церкви св. Сульпиция и видел, как Делакруа метался по высоким лесам, работая над большими фресками.

— Я восхищен его «Борьбой Иакова с ангелом», — заметил он. — Он воссоздает там атмосферу, о которой вы говорите, особый, сверхъестественный колорит...

— Верно, — согласился Бодлер. — А вам известно, что какой-то глупец назвал это упадком? Такие умники не могут понять, что краски тоже чувствуют и думают. Вы с ним говорили?

— Несколько слов. Он был не слишком-то доступен...

— Понятно. Но не ошибитесь, под этой ледяной оболочкой таится большая любовь к добру. Таков его характер — скрывать все, даже гениальность. Кратер сопки, закрытый букетиком фиалок, — улыбнулся Бодлер собственному образу. — Его увлечения это доказывают, — добавил он. — Представьте себе только, что ему нравятся рисунки Мейссонье. Он верит в Энгра. Питает слабость даже к Декану.

Мальвида, беседовавшая в стороне с Бландиной Вагнер, подошла ближе, услышав имя художника, который недавно поранился на императорской охоте в Фонтенбло и умер. Она восхищалась его художественным открытием Востока.

— Делакруа был на его похоронах? — спросила она.

— Был. И плакал.

— Я слышала, что Декан умышленно упал с коня. Говорят, после смерти своего сына он не хотел больше жить.

Бодлер пожал плечами — он знал все о Делакруа, а не о других.

— Я хотел бы иллюстрировать Данте, — услышал Чермак слова Доре, — даже если бы это пришлось делать за свой счет.

— Искусство возникает из стремления к красоте, — ответил Готье. — И задача его — утешать поколения людей.

Вагнер молчал, и Ярославу казалось, он ушел в себя, обидевшись, что разговор отклонился от его музыки. Однако он оживился, когда раздался звонок и слуга доложил о госпоже Паулине Меттерних, приводившей Париж в восхищение как своими туалетами, так и своими остроумиями. Ярослав припомнил лишь последнюю: «Я, правда, безобразна, как обезьяна, но я обезьяна, одетая лучше всех в Париже».

Жена посланника действительно не была красива; у нее был слишком большой рот с толстыми губами, но в ее глазах светились

ум и живость. Вошла она просто, со скромной улыбкой, но, как только освоилась среди присутствующих, стало понятно, что в этой тихоне немало напористости.

Вагнер не скрывал, что напряженно ожидает решающего сообщения, и его нетерпение передалось и остальным. Вероятно, почувствовав это, жена посланника с явным намерением потянуть время села к роялю и начала наигрывать мелодии из увертюры к «Тангейзеру».

— Так вот, я узнала о вас массу сплетен,— взглянула она на композитора.

— Господи, каких? — ужаснулась Бландина.

— Во-первых, вы пишете оперы лишь для того, чтобы на практике доказать свои теоретические взгляды.

— С каких это пор художнику не разрешено иметь свои взгляды? — вскричал Готье.— А Дидро? А Гете?

— Во-вторых, «Тангейзер» не поддается ясному толкованию.

— Как так? — удивился Вагнер.— Просто это борьба двух принципов — добра и зла, неба и ада. Души и тела, если угодно.

— Я отчетливо слышал в увертюре контрасты жизни,— сказал Чермак,— чувственность, но вместе с тем нравственное начало.

— Жар страсти — и глас божий,— дал свою характеристику Ферри.

— Хорошо, господа,— кивнула Паулина,— ваш хор звучит единодушно. В таком случае опера принята.

Она закончила свою импровизацию несколькими решительными аккордами.

— Вы не шутите, мадам? — замаялся Вагнер.

— Завтра вас посетит директор Оперы. Это бесповоротное решение императора.

Вагнер снял с клавиатуры ее руки и поочередно поцеловал.

— Без императора это невозможно было решить? — спросила Мальвида.

— Что нынче во Франции можно решить без императора?

— И при этом именно у нас, французов, отвратительный характер,— сказал Ферри,— мы не любим, когда в искусстве указывают. Особенно если указывают те, на чьей голове корона.

— Уже теперь поговаривают,— вспомнил Бодлер,— что австрийцы хотят отомстить нам за проигранную войну оперой...

— В Париже достаточно людей с хорошим вкусом,— возразил Оливье,— умеющих отличить подлинное искусство от погони за эффектом.

Вагнера известие явно взбудоражило. Теперь он готов был говорить один, перебивая остальных и втолковывая всем свое понимание оперной реформы: надо соединить художественные элементы, свойственные разным видам искусства, и подчинить их ведущей

мысли. При этом он почти впал в экстаз, казалось, вглядываясь в величественные дали, этот сверхчеловек с бешеным самомнением уже не видит окружающих.

Паулина Меттерних, продолжающая сидеть у рояля, тоже слушала, и когда Вагнер поставил в своей речи точку, вновь взяла несколько аккордов.

Все вздрогнули. Это был не Вагнер, а Оффенбах. Вид у нее был серьезный. Но Ярослав заметил, как губы Ферри и Готье дрогнули в улыбке.

Вечер окончился, все расходились.

Ярослав провожал домой Мальвиду, сетовавшую на то, что Бландина осложняет жизнь Рихарда своей мелочностью.

— А что случилось с вами? — упрекнула она. — Поначалу вы показались мне просто каменным.

— Знаю. Я трудно схожусь с людьми, — признался он. — На первый взгляд я, вероятно, очень неприятен. Потом я старался не выглядеть невежливым...

— Паулина вас развеселила, верно? Мне кажется, ей претит великогерманский дух Вагнера, хотя она ему и помогает.

— Мне тоже, — признался Ярослав. — Но музыка его — великая и новая, и она должна звучать. Мы в Чехии издавна говорим: кто не умеет уважать свободу другого, сам ее не заслуживает. А к свободе искусства это относится вдвойне, не так ли?

Опера была во всем блеске, как на любой премьере, но в воздухе носилось что-то загадочно-тревожное и коварное. Впечатление от генеральных репетиций и закулисные слухи внушали опасения.

Дело в том, что, когда начались репетиции, некоторые кавалеры, считавшие, что основная привлекательность оперы — во флирте с балеринами, выяснили, что «Тангейзер» вообще не дает им подобной возможности. Во времена Мейербера третий акт по обыкновению начинался балетом и в антракте перед ним господа ходили навещать своих приятельниц в танцевальный зал. Этот путь по темному, узкому коридору и спуск по лестнице в помещение, где в зеркалах отражались танцовщицы в трико телесного цвета, разминающиеся у длинного станка, составляли непереносимое переживание, без которого в Оперу и ходить не стоило. От влияния покровителя зависело, попадет ли и когда именно рядовая танцовщица в первую четверку, а затем — получит ли она небольшие сольные партии. Но в опере Вагнера балета вообще не было. Понапрасну барон Нуй, который, будучи председателем Жокей-клуба, считался высшим ценителем искусства, лично отправился к Вагнеру. Рассказывали, что он застал Бландину в бумажных папилютках, кормящую попугаев; ему удалось извлечь из спальни и сонного ком-

позитора, но тот остался просто-напросто глух к соображениям, что для сцены в гроте Венеры требуется балет. Вообще он все делал по собственному разумению, даже не пригласил в помощники, как то было принято, господина Скриба, чтобы обработать либретто, и потому многие посвященные с самого начала отнеслись к опере враждебно. Вскоре стало ясно, что и в оркестре против композитора образовалась клика, во время генеральной репетиции после секстета миннезингеров лишь несколько солистов одобрительно застучали смычками по попитрам. Поэтому в кругу друзей Вагнера царило отнюдь не радужное настроение, тем более что упрямый Вагнер отказался также устроить вечер для рецензентов, как делали другие авторы.

Так наступило 13 марта 1861 года. Иполита радовалась премьере, и Ярослав не хотел ей портить настроение своим беспокойством. Она была красива, светилась счастьем и привлекала внимание к ложе, где вместе с ней сидела госпожа Мальвида. Сзади стоял ученик Чермака, молодой Йозеф Гуттари из Ческого-Дуба, рекомендованный Ярославу братом Яном и привезший фотографические снимки своих нескольких удачных полотен. В девятнадцать лет премьеры представлялась ему ошеломляющим вступлением в парижскую жизнь. Он послушно ожидал указаний Чермака и заикался, когда к нему обращалась Иполита. Ярослав вспоминал себя, когда Галле знакомил его с Парижем. Однако у Ярослава за плечами уже были брюссельские успехи, в то время как Гуттари приехал прямо из тихой чешской провинции.

Возбужденный зрительный зал чуть успокоился при появлении нескольких лиц, близких императорскому двору. В одну из лож сели супруги Вагнеры, рядом с ними Меттернихи. Паулина самоуверенно улыбалась.

Потом в зале стемнело и гул затих. Увертюра, казалось, покорила весь зрительный зал. С каждой минутой, по мере того как шел первый акт, все, кто опасался каких-либо протестов, обретали спокойствие. Правда, дирижер Дич не совсем справлялся с оркестром, Ярослав, обладавший музыкальным слухом, заметил также небольшие ошибки певцов, но спектакль шел вполне пристойно.

В антракте уже царили улыбки. Гуттари расспрашивал о сидящих в ложах.

— Знаете, как называется вон та ложа, рядом с нами? Адская,— показывал ему Чермак.— Господин, который сидит впереди,— барон Нуй. Но он ведет себя разумно.

В зале вновь стемнело. Зазвучали тромбоны. Раздался хор паломников.

После перемены декораций на сцене появились пастушки со свирелями.

В эту минуту в партуре кто-то сделал громкое замечание. В ответ

послышался смех. Именно в этом месте «приятели» балерин тщетно требовали музыки для балетного представления. Шум ширился, словно огонь, тлеющий в сухой хвое. Затем из глубины какой-то ложи послышался первый свист. С противоположной стороны прозвучал ответный.

Ярослав встал. Иполита схватила его за руку. Но обнаружить, где находятся нарушители тишины, было невозможно. По всей вероятности, они скупили стратегически важные места во всем зале. Свист зазвучал одновременно со всех сторон. Потом он еще усилился. В перчатках господ из Жокей-клуба были спрятаны свистки. Они заглушили музыку.

Дирижер постучал палочкой. Оркестр смолк. Певцы, словно парализованные, продолжали стоять на сцене и ждали, что будет.

Из партера донеслись возбужденные голоса ссорящихся. Было видно, как то в одном, то в другом месте поднимались руки, кто-то наносил удар, кто-то защищался. В проходе, казалось, дело дошло уже до боксерских схваток. Почитатели музыки перешли в контратаку, и благодаря их смелому отпору свист умолк.

Дирижер вскинул руки и подал знак оркестру.

Но после нескольких звуков у барьера соседней ложи поднялась невысокая плотная фигура барона Нуя. Снова начался свист.

— Идиоты! — послышался голос госпожи Меттерних, в злости ударившей веером о барьер ложи с такой силой, что тот сломался.

Госпожа Мальвида тоже поднялась и беспомощно смотрела по сторонам, словно могла взглядом остановить разгул родовитых хулиганов.

Чермак наклонился к барьеру и легко коснулся ладонью локтя мужчины, яростно свистевшего в соседней ложе.

— Простите, но вы действительно не понимаете, что ведете себя как глупец?

Барон Нуя подскочил, словно его ужалили.

— Вам чем-то не нравится мое поведение?

— Глупец — это еще слабо сказано.

— Позвольте, но после этого...

— Разумеется. Вот моя визитная карточка.

Казалось, барон испугался, что его предложение было принято. Но фаты со свистками уже не знали удержу. Госпожа Меттерних закрыла лицо ладонями, плечи ее дрожали. После того как занавес опустился и в зале зажгли свет, стала видна арена распрей, являвшая собой дикое зрелище.

Но тут уж в зрительный зал хлынули полицейские и начали очищать помещение, не делая различий между друзьями и врагами оперы.

Это был удручающий, постыдный конец премьеры.

Ярослав сопровождал Иполиту и на лестнице вынужден был

прокладывать себе дорогу сквозь взбудораженную толпу, принимаемую страхом и удерживаемую любопытством.

Госпожа Мальвида показала в сторону ложи Вагнера.

— Нам следовало бы к нему зайти. Он будет в отчаянии.

Ярослав дал ей понять, что прежде отвезет Иполиту домой.

— Хорошо, — сказала она, — мы подождем вас в Английском кафе.

Иполита была очень взволнована и тоже жалела Вагнера.

— Каково ему-то? Ждал славы, а вместо этого — ненависть. Что ты сказал тому человеку в соседней ложе?

— Ничего. Чтобы он вел себя потише.

В Английском кафе с Вагнерами и Мальвидой сидел лишь Бодлер. Чермак пришел туда с Гуттари, который его ожидал. Трудно было чем-либо утешить автора провалившейся премьеры.

— Театральные скандалы помогают войти в историю, — пыталась смягчить удар Мальвида. — Со времен «Эрнани», говорят, Париж ничего подобного не переживал, а прошло уже тридцать лет.

— Все равно спектакль был не хорош, — устремлял застывший взгляд в неведомое Вагнер, — оркестр скверный, этот тенор Ниман фальшивит, постановка просто опереточная — освистали справедливо...

— Нет, нет, причина, по всей вероятности, в том, что действовали через императора, — сказал Чермак.

— Но в этом случае его приказ был уместен, — сухо произнес Бодлер, — и я готов публично поблагодарить его. Мне подобный парадокс даже нравится: диктатор ратует за произведение революционера вопреки воле взбалмошных журналистов.

— Не всякое ухо распознает музыку будущего, — попробовала найти оправдания Мальвида. — Быть может, этот позор будет иметь и положительную сторону: Наполеон по крайней мере узнает, сколь живо во Франции общественное мнение.

Расходились в удрученном настроении.

— Таким образом, французы выиграли еще одну битву, — иронически заключил вечер Бодлер.

Чермак хотел довести Гуттари до ателье, в котором его посетил, на omnibusе, но молодой человек предложил пройти пешком.

— Не устаю удивляться тому, что ступаю по этой земле. Все еще не могу в это поверить. Такие знаменитые люди, и я рядом с ними — все благодаря вам...

— Вы сыты?

— Бульон за три су и хлеб за два.

— Я вам покажу, куда вы будете ходить ужинать. Это трактир прямо рядом с ателье. Там можно встретить Курбе.

- Я должен экономить и хочу работать.
- Несомненно. Но личное знакомство с Парижем необходимо.
- Судя по тому, что я увидел в театре, он вселяет страх.
- Иногда.

— А что означает, что вы дали тому господину визитную карточку?

— Вы заметили? Я его оскорбил. Поэтому на всякий случай...

— Дуэль? Это ужасно.

— Почему? Я стреляю довольно прилично и фехтую уверенно. Вам не кажется, что тот человек вел себя как болван?

— Это верно.

Они перешли мост и очутились на тихих улицах. Мимо них изредка проходили парочки. Пьяная старуха протянула ладонь за подающим.

— У вас уже была какая-нибудь дуэль?

— Нет, но еще немножко — и состоялась бы. Фрич мог бы вам рассказать.

— С Фричем? — удивился Гуттари.

— Нет, — засмеялся Чермак, — но он о ней знает. Вам знакомо имя Морица Гартмана?

— Ярый франкфуртист, да?

— Поразительная метаморфоза. Ходил вместе с Гавличком в школу, написал пьесу о гуситах, был вынужден бежать в Париж, но эти великогерманские фантазии не давали ему покоя. Вдруг напечатал в «Ревю жерманик» такую вызывающую и лживую статью...

— О чем?

— О сорок восьмом годе в Праге. Написал, что гуситская кровь проявила себя лишь в грабеже хлебных лавок да еврейских трактиров. А когда, мол, на Козьей площади какой-то маленький еврей пригрозил смутьянам, все разбежались. Я воспринял это как страшное оскорбление, прежде всего по отношению к павшим — мало мы видели, как их несли на кладбище? — и отправился вызвать его на дуэль.

— А он? — взглянул Гуттари в мужественное лицо своего маэстро.

— Не отпирал. Мы заставили дворника открыть его квартиру. Его не оказалось дома. Но знаете, что я увидел на стене? Свою картину «Жижка и Прокоп». Я невольно засмеялся, и вместе с тем мне было немножко стыдно. Я вынудил Гартмана бежать. Говорят, он узнал, что я разозлился, и предпочел исчезнуть.

Когда Гуттари приехал в Париж, он стал называть Ярослава мэтром, но тот решительно воспротивился:

— С одной стороны, я чувствую себя для этого довольно молодым, а с другой — мало успел сделать, меньше, чем мог. И вообще у меня нет ни педагогического таланта, ни учительского честолюбия. Я слишком замкнут. Но вижу, вы умный юноша, и, если вам мое творчество может что-то дать, — пожалуйста, смотрите, критикуйте, спрашивайте...

Гуттари был счастлив, что может быть причастным к его работе и переживать все события парижской жизни, отголоски которой доносились в ателье Ярослава. Чермак в это время отбирал для нового Салона полотна из числа написанных во время южнославянского путешествия. Гуттари с удивлением рассматривал портреты прекрасных герцеговинок; больше всего он был заворожен картиной, которую Чермак назвал «Похищение».

— Это настолько драматично, — повторял он, — такой ужас... эта женщина в жутком страхе... хочется вскочить и помочь ей...

Алчность и жестокость чувствовались в темных фигурах башибузуков, настигших убегающую женщину с ребенком подле горящего строения; убитый муж лежал на заднем плане, ребенка они безжалостно отшвырнули, с сопротивлявшейся женщины сорвали одежду и схватили ее, чтобы унести, а она тщетно пыталась высвободиться. Нагое тело похищаемой женщины, резко контрастирующее с темными фигурами людей, совершившими набег, звучало тревожащим, душераздирающим дисгармоничным аккордом.

— Как виртуозно вы это выполнили — не думаешь о технике, а воспринимаешь сцену как великое злодеяние, заставляющее содрогаться...

Помимо большой картины у Чермака была и уменьшенная акварельная копия, на которой он написал: «Hommage respectueux offert à Madame Gallait par son tout dévoué serviteur Jaroslav Čermák»*.

— Большая картина суровее, — произнес Гуттари.

— Это подарок даме, — извиняясь, указал Ярослав на акварель.

— А что ваша Жанна д'Арк? — остановил Гуттари взгляд на одной из новых картин, непривычно сверкавшей свежими зелеными и красными тонами. — Вы ее не пошлете в Салон?

— Это проба, мне хотелось омыть краски свежим воздухом. Но Жанной я не сказал бы Франции ничего нового. Что поделаешь, меня влечет славянский мир.

Еще эскизом была и будущая картина «Герцеговинка на страже». Гуттари смотрел, как уверенно набрасывал Ярослав контуры, потом помогал ему разводить скипидаром коричневую умбру для грунтовки и наблюдал, как тот работает с красками.

* В знак признательности и уважения мадам Галле — от преданного ей слуги Ярослава Чермака (франц.).

Ярослав накладывал сиену густыми мазками.

— В Брюсселе меня учили этому вот так,— продемонстрировал он мелкие удары кистью.— Это называли фротте.

— Вы больше за реалистов или за их противников? — выпрашивал Гуттари.

— Дружище, я не придерживаюсь никакой школы...

— Пан Пуркине мне сказал, что молодых парижан интересует уже не что, а как рисуют.

— Возможно. Но я думаю, что это не наш, во всяком случае, не мой путь.. Нужно нацелить себя на какие-то более глубокие, жгучие проблемы... Знаете, мы, например, должны реализовать то, что существует в нашем народе, но до сих пор не нашло формы... Я стремлюсь осуждать насилие, жестокость, несправедливость... вы-сказать веру в справедливость. В гуманность. Нашим французским друзьям легче: они с незапамятных времен французы и могут видеть пейзаж как пейзаж, женщину как женщину. Но ход истории они не улавливают. Они видят лишь то, что происходит перед нами, но не могут почувствовать того, что происходит с нами! С нами, Йозеф. Это особое чувство — и в искусстве его можно выразить лишь косвенно и неполно...

Гуттари напряженно слушал Ярослава и в глубине души соглашался с ним.

— Если у меня что-то примут в нынешний Салон,— сказал ему Чермак,— обо мне снова напишут, что я ученик Галле, а это, по сути дела, уже неправда. В этих серых бельгийских тонах было мало силы. Я рожден для красок.

Взгляд Гуттари вернулся к великолепной женщине из «Похищения».

— Вы пишете такие вещи с натуры?

— Вы имеете в виду — работаю ли я с натурщицами? Когда как... Здешние натурщицы очень легко привязываются к художнику. Может, им кажется, что раз их собственное тело волшебю оживает в произведении художника, то и сами они становятся для него чем-то вроде музыки. А я, признаюсь, не хотел бы таким образом себя связывать... Я приглашаю натурщиц. Но художник должен уметь рисовать и по памяти. Вам необходимо знать каждую выпуклость и каждую впадину на человеческом теле и представлять себе, что с ними происходит при движении.

Гуттари указал на эскизы женщин в южнославянских костюмах.

— Это парижанки?

— Что вы, милый Йозеф, где вы тут отыщете столь чистые типы? Поедемте со мной, когда я отправлюсь на юг — а я обязательно туда вскоре отправлюсь,— и вы найдете святых. Я, правда, церковные сюжеты не рисую, но стоит увидеть герцеговинку с ребенком на руках — и вот вам мадонна.

— Я с большим удовольствием отправился бы с вами в Далмацию.— сказал Гуттари.

— Я хочу добраться до самой Черногории. Профессор Ламбл недавно был там и все мне точно описал.

— Он не поедет?

— Он слишком прогрессивен, чтобы получить место в Австрии, и потому, по всей вероятности, поедет в Харьковский университет. Вот вам наглядное свидетельство нашего положения. Регроградство, охраняемое законом. Потому я и не могу обращаться за сюжетом к чешской истории. Она все время под запретом.

Кто-то постучал.

— Это Фрич,— сказал Ярослав.— Он мне писал, что вернулся из Лондона.

Гуттари открыл. На пороге стояли двое мужчин, одетых в черное.

— Господин Чермак? — прочитал один из них визитную карточку, которую держал в руке.

Гуттари растерянно указал назад, а Чермак все понял, как только увидел восковые лица секундантов.

— Мы от господина барона де Нуя.

— Гуттари, придется вам вести переговоры,— распорядился Чермак.

— С моим знанием французского?

В это время в коридоре послышались шаги и под сводами раздался голос Пинкаса:

— Победа! В Салон приняты все четыре твои картины!

Он пришел в сопровождении Фрича, который еще издали раскрывал объятия.

— Обождите,— улыбнулся Чермак,— сперва выполните миссию, которую я на вас возлагаю.— Он пожал Фричу руку и сказал: — Передаю вам все необходимые полномочия, будьте моими секундантами.

Незнакомцы представились как члены Жокей-клуба и потребовали сатисфакции за оскорбление, нанесенное их председателю. Пинкас спросил — нельзя ли уладить конфликт с помощью взаимных извинений, однако визитеры отклонили его предложение, а Чермак даже не прервал работы. Тогда спокойно договорились о дуэли в субботу утром в Булонском лесу, оружие — легкие шпаги. После чего мужчины откланялись.

— Ты и впрямь собираешься драться? — изумился Пинкас.

— Что мне остается?

— Ты что, д'Артаньян?

— Эх, будь я им хоть немного... Я вновь и вновь перечитываю Дюма. Воплотил ли кто французский дух так, как он в этой четверке?

— А господин Маке огреб две трети гонорара, это тебе известно?

— Потому что процесс перестал интересовать Дюма.

— Где, собственно, он сейчас находится?

— В Неаполе. Ходит там в красной рубашке, издает новую газету, пишет историю Бурбонов и, кроме того, воспоминания Гарибальди.

— Вот это мужчина, — восхищался Пинкас, — и все это — в пятьдесят восемь!

Чермака интересовало, как у Фрича дела с журналом.

— Приехал в поисках субсидий.

— Собеслав, в понедельник пойдешь с ним в мой банк. А Гуттари поможет вам с распространением журнала.

— Ты говоришь так, словно пишешь завещание, — рассердился Пинкас. — В субботу мы тебя запрем и никуда не пустим.

— Иная страна, иные нравы, — пожал плечами Чермак. — Что они скажут о чехах?

— Вы напоминаете мне Йозефа Иржи Колара, — сказал Фрич, — тот тоже дрался в Пеште ни с того ни с сего.

— Но я хочу доказать этому барону, что искусству необходима свобода.

Субботнее утро выдалось теплым и сырым.

Ярослав нанял фиакр на ранний утренний час. Фрич и Пинкас сетовали по этому поводу. Накануне в парижской чешской колонии состоялся вечер памяти недавно умершего Вацлава Ганки, обнаружившего «Рукописи».

В зале ресторана неподалеку от средневекового монастыря Ключи был поставлен памятный катафалк, а на большой доске сверкала цитата из стихотворения «Ярослав».

«Помилосердствуй, Всевышний, сжался над нами, стенающими!
Душу нашу хотят растоптать,
нас обстав, ровно волки — овец».

Пинкас отсылал Чермака домой отдохнуть, но Ярослава радовала встреча с земляками, волей судьбы занесенными во Францию, с рабочими, ремесленниками и торговцами; это был островок Чехии, даже если разговоры не касались воспоминаний о родине, а вертелись в основном вокруг последних событий в Мексике, интересующих Францию.

Несколько приверженцев Наполеона соглашались с портным Гулеком:

— Это великая мысль — создать там католическую империю как противовес Америке.

— Дело в деньгах, торговле, спекуляции, — возражали другие.
— Морни попался на удочку банкира Жекера. Император — тоже. Только там будет не так легко, как под Сольферино, а платить за это нам.

Ярослав не хотел пропустить речь Фрича и остался до самого конца.

— Вы хоть выспались? — спросил его утром Фрич.

— Да. Меня порадовало, что вчера туда пришли и сербы... а этот черногорец в национальном костюме! Я с ним уже договорился, что он придет ко мне в ателье.

Они прибыли на условленное место в Булонском лесу первыми.

— Слышите? — обратил внимание своих секундантов Чермак. — Зяблики тут поют прямо как на Петршине.

— Может, соперник не придет, — утешал себя Пинкас. — Свиться в театре — пожалуйста, но драться за это на дуэли?

— Меня больше огорчает трусость парижской печати, — сказал Ярослав. — Один только Бодлер написал, что скандал в театре — это позор Франции. Все остальные словно воды в рот набрали.

— Послушай, — встревожился опять Пинкас, — что, если этот барон фехтует лучше тебя?

— Будущее покажет. В таких делах я реалист.

Его карие глаза на смуглом лице были совершенно спокойны.

— Удивляюсь твоей выдержке.

— Видишь, ты всегда смеялся над моими гантелями. А я своими мускулами горжусь больше, чем картинами.

Его лицо обрело мужественную решимость. «Он настолько хладнокровен или просто владеет собой?» — глазами спрашивал Фрича Пинкас.

Вдруг в косых лучах бледного солнца показалась карета и остановилась на краю поляны. Из нее вышли два секунданта, приходившие в ателье, еще один человек, очевидно доктор, и барон.

— Видишь, их на одного больше, ты мог бы разрешить Гуттари поехать с нами.

— Нечего его зря пугать.

Французы хранили скорбную сдержанность, входившую в церемонию поединков.

— Мне это представляется комедией, — сплюнул Пинкас. — Не попытаться ли мне еще раз здраво договориться с ними?

— Это невозможно.

Секунданты подозвали Пинкаса и Фрича и развернули плащ, в котором находились две шпаги. Фрич выбрал одну и отнес ее Чермаку. Потом вернулся и дал согласие, чтобы секундант барона взял руководство на себя.

По первой команде противники сбросили сюртуки. Стало видно, какая великолепная у Чермака фигура: широкие плечи и грудь,

узкие бедра, крепкие ноги. Когда он левой рукой с засученным рукавом поднял шпагу в знак приветствия, по всему его телу заиграли мышцы.

У барона Нуя вид был похуже, однако он старался держаться с мужественным равнодушием. Но Ярослав уловил промелькнувший в его глазах страх.

Послышалась вторая команда.

Любовь к фехтованию стояла у Чермака на втором месте после парусного спорта; у него было гибкое тело, сильные руки и ноги, подобная встреча казалась ему заманчивой, и он был уверен, что его левая рука приведет соперника в замешательство. Он начал с легких уклонов, словно желая проверить искусность противника, но тут же сделал серию ложных выпадов.

Опытный Фрич с облегчением улыбался и стукнул Пинкаса по локтю, чтобы тот не боялся. С самого начала было ясно, что, если не случится ничего непредвиденного, Ярослав — хозяин поединка.

Нуй владел несколькими заученными финтами и один за другим все их испробовал. После каждой его попытки Ярослав одобрительно кивал, словно бы приветствуя разнообразие дуэли и признавая умение противника; он не притворялся небрежным, не хотел, чтобы его застали врасплох, не в его характере было также выставлять соперника в смешном виде.

Прошло всего минуты три, и движения барона замедлились; он уже не мог отражать точно направленные атаки Чермака, на лбу его выступил пот, он тяжело дышал. Его глазки тревожно следили за шпагой противника.

Тогда Ярослав решил: несколькими жесткими ударами он парализовал сопротивление барона, вынудил его перейти к защите, отбил его шпагу и сделал длинный выпад.

Нуй испуганно вскрикнул, его секунданты — тоже. Но Чермак не вложил силы в последний укол; он мягко приставил острие шпаги к груди соперника, воспользовался его изумлением, легко отдернул ее, тут же, уклонившись, закрылся и спокойно отразил удар механически контратаковавшего его барона.

Нуй умоляюще взглянул в ту сторону, где стояли его секунданты.

— Конец! — вскричал один из них.

— Bravo! — быстро произнес барон и опустил шпагу. Поднял он ее уже только в знак приветствия противника.

Ярослав с серьезной миной ответил на его приветствие.

Барон Нуй понимал, что Ярослав уберег его от ранения. И хотя его лицо вновь сделалось подчеркнуто спокойным, он предпочел страданиям за идеи жизнь. Утирая пот, барон спросил с некоторым озорством:

— Ну что, квиты?

— Даже если наши мнения не совпадают.

— Для художника вы фехтуете отменно,— польстил ему Нуи.— Вы в самом деле так же хорошо разбираетесь и в музыке?

Ярослав с улыбкой принял его фамильярный тон.

— Я хочу свободы для себя — и потому желаю ее каждому.

— А знаете, что о Вагнере сказал при дворе господин Мериме? Что эта музыка напоминает кошку, ходящую по клавишам,— смеялся Нуи.

После пережитого настроение у всех было приподнятое.

— Двору по крайней мере есть чем развлекаться,— добавил один из секундантов.— Секретарь прусского посольства сочинил, говорят, по этому поводу целую пантомиму. В качестве входного билета все дамы получили веера, чтобы было что ломать.

Еще несколько шуток, и обе группы разъехались, словно возвращаясь с удачной прогулки.

— Вы играли с ним, как кошка с мышью,— сказал Фрич,— но с вашей стороны было великодушно, что вы не ранили его.

— Может, следующий раз поостережется. Разве я был не прав, господа, говоря, что вам понравится утром в лесу?

Парижские улицы только начинали оживать. Стекольщики, заглядывая в двери домов, предлагали свои услуги. Поденщики расклеивали плакаты, призывающие к защите от холеры. А цветочницы уговаривали развеселившихся мужчин купить по букетику нарциссов.

ПРОЩАНИЕ С ПАРИЖЕМ

Открытие Салона, как обычно, превратилось в большое празднество; дамы надели новые кринолины, хотя их и высмеивали уже в различных фарсах, мужчины были во фраках, а над лаковыми башмаками у них виднелись белые носки.

— Четыре тысячи картин жюри отклонило, четыре тысячи приняло,— сообщали друг другу.

Художники входили с опаской — удачно ли повешена их картина. Дворец промышленности был подходящим помещением для машин, мяса и животных, но искусство он убивал. Чтобы хоть как-то систематизировать всю эту хаотичную мешанину форм и красок, картины, гравюры и скульптуры были расположены в алфавитном порядке. Обилие произведений искусства было столь удручающим, что некоторые картины при всем желании их авторов не могли произвести впечатления на зрителей. Картины поменьше совершенно терялись под высоким потолком, а свет, проникавший сквозь толстое стекло крыши, менял краски и убивал полутона.

Ярослав с Иполитой шли мимо батальных сцен, картин на

мифологические сюжеты, портретов дам и офицеров, и казалось, конца этому не будет. Ярослав обратил внимание Иполиты на Пюви де Шаванна и Доре, которые ему нравились, а также показал ей наиболее известных художников, пробиравшихся сквозь толпу в центральном зале: невысокого белобородого Мейссонье, бога академического искусства, о котором было известно, что, рисуя, он пользуется лупой; автора галантных сцен Жерома с короткими усиками и насмешливым взглядом, известного своими женскими портретами; Кабанеля, члена жюри, прозванного молодыми Любитель паштета. Мужчина с оливковой кожей и густой шевелюрой над упрямым лбом, шедший им навстречу, быстро посторонился.

— Делакруа!

— Он похож на Монтесуму, — решила Иполита. — Есть тут какие-нибудь его произведения?

— Нет, он все время работает над фресками для церкви святого Сульпиция. Недавно я встретил его в Лувре. Он рассказывал там про ассирийское искусство своей служанке. Любопытный человек. Жаль, что я не знаком с ним ближе.

— Ты говоришь, что тебя не интересует общество.

— Но я люблю знакомиться с людьми, у которых могу чему-то поучиться.

— Когда я уеду на курорт, времени у тебя для этого будет достаточно.

Иполита все чаще простужалась, и врачи, чтобы предотвратить воспаление легких, посылали ее зимой на юг. Сознание грозившей опасности делало ее то неприятно благодарной за мелкие радости, то брюзгливой и недовольной. Недавно она вернулась из Канна; но гнилая парижская весна вновь создала для нее угрозу, и доктор Тардые порекомендовал ей курс лечения в Швейцарии в Рагаце.

Союз Ярослава и Иполиты приобрел формы свободного брака. Они виделись ежедневно, иногда по несколько минут, иногда дольше — все зависело от семейных и светских обязанностей Иполиты. Он посещал ее крайне редко и лишь в обществе других людей; зато ежедневно ожидал, не освободится ли она и не придет ли к нему в ателье. В воскресенье это было исключено, и Ярослав отвел этот день для друзей. Таким образом, их отношения сохраняли некоторую неопределенность, но это постоянно обновляло их чувства, они неохотно расставались, радовались встречам, вынужденное одиночество рождало новую страсть. Их объятия утратили первозность, но общественное положение продолжало оставаться шатким. Пусть Иполита о том не говорила, Ярослав знал, что она проходит между собравшимися на открытие выставки людьми, напряженно ожидая — кто с ней поздоровается, кто остановится, кто уклонится от встречи. К этой среде, где воспоминания о покину-

том Галле еще не притупились, Иполита была особенно чувствительна.

— Ни черта они нами не интересуются,— уверял Ярослав.— Давно про нас забыли.

— Ты понятия не имеешь, насколько некоторые женщины счастливы, если могут продемонстрировать собственное превосходство, кичась своей узаконенной моралью.

— Потому что им не хватает смелости или не представляется возможности...

— Тем не менее я для них — полусвет.

Это слово недавно ввел Дюма в своей пьесе, поставленной в театре «Жимназ», и Иполита с мучительным самоистязанием часто к нему возвращалась. К «полусвету» принадлежали женщины, исключившие себя из своего круга скандалом, изменой. Напрасно Ярослав напоминал ей «Тридцатилетнюю» Бальзака, которая знала, что честнее отдаться по любви возлюбленному, нежели без чувства — мужу. По неписаному закону общественного мнения женщина, избалованная в неверности, больше не имела права встречаться с любовником; в противном случае она исключалась из общества порядочных людей.

Иполита мужественно противостояла своей участи; лишь иногда ею овладевала тоска по блестящей атмосфере вечеров, кружков, балов.

— Не все парижане — святоши, помешанные на морали,— убеждал ее Ярослав.

Он был рад, когда кое-кто из знакомых останавливался с ними. Однако лишь с Пинкасом и его Адриеной они говорили о картинах; в остальном же здесь была питательная среда для сплетен, анекдотов, светских новостей.

Граф де Буаденец, чей портрет Ярослав недавно написал, рассказал им о «маленьком понедельнике» у императрицы, где собралось несколько сот человек.

— Я видел там княжну Трубецкую, которую Морни привез из Петербурга. Она действительно красива. Мужчины там катали дам по залу на саях, можете себе представить. А княжна Корсакова изображала Саламбо и была почти обнажена...

— Завидуешь им? — спросил Ярослав у Иполиты, когда они простились с Буаденецем.

— Туда мне все равно не попасть. Что мне претит, так это человеческое лицемерие.

— Стремления разбогатевших буржуа: вести дом, поражать своим состоянием, играть в карты на крупные суммы... Сплошная фата-моргана. Пустота.

— У тебя есть твое искусство, и ты не понимаешь тех, для кого существует лишь эта пустота и кому хочется ее заполнить.

Ярослав знал, как проходят ее дни, ему было известно, что они похожи один на другой. После завтрака она отправлялась в город, пользуясь часами пролады: делала покупки, ходила к портнихе, доставала ложки на ближайшие спектакли, посещала доктора или приятельниц. Потом возвращалась к дочерям, занималась с ними, вышивала, ездила с ними на прогулку, возвращалась и ожидала гостей «в час нераскрытых книг и дымящегося чая».

Ее глубокая преданность, доказанная па деле, иногда — обычно раз в месяц — уступала место предвзятости, и тогда она дурно истолковывала любое слово и провоцировала ссоры. Ярослав знал, сколько она ради него претерпела и что, в сущности, ей ежедневно приходится отстаивать свое решение перед дочерьми; поэтому он терпеливо сносил все и убеждал себя, что нежелание скрывать дурное расположение духа также свидетельствует о ее доверии к нему.

Они встретили доктора Тардье; он тоже охотился за светскими курьезами.

— Вы слышали, мадам? Вчера освистали Маргерит Беланжен.

— Ничуть неудивительно. Цирковая наездница — и выступает в драме?

— Это не лишило ее расположения императора. Он увидел, как она бежит под дождем, накинуд на нее плащ — и с тех пор...

— Вы энциклопедия сплетен, доктор.

Наконец они остановились у четырех картин Ярослава. «Похищение» сразу же привлекало внимание.

— В такой атмосфере, — прошептала Иполита, чтобы не мешать людям, стоящим перед картиной, — это кажется чересчур жестоким... Я испытываю чувство стыда, веришь? Эта картина кричит.

— Разве она не кричит правду? — спросил Ярослав. — Чувство стыда следовало бы испытывать тому, кто в силах помешать подобным злодеяниям...

— Час назад я говорил с одним критиком, — сказал Тардье. — Он считает, что вашим этюдом «Славянский невольник» можно бы воспользоваться на занятиях по живописи как образцом. Что же касается «Похищения»... Вы вживались в образы этих разбойников, да?

— Великолепно, — слышался позади них низкий женский голос. Им улыбалась госпожа Катрин Беллем, одна из приятельниц, оставшихся верными Иполите. — Наконец-то волнующая картина. Хотела бы я, чтоб меня так бесцеремонно похитили...

— Оригинальное воздействие произведения, — скривила уголки губ Иполита.

— Мадам Беллем исключительно наблюдательна.

— Вы так ясно представляете себе подобную сцену, словно только что вернулись со службы у Али-паши...

Мадам Беллем поправила темные волосы, взглянула в зеркало, потом осмотрела свои бока — не помялись ли ленты.

— Можем продолжить,— сказала она остальным.— Мой муж подсчитал, что, если каждому произведению уделить минуту, мне придется прийти сюда тринадцать раз, проводя здесь по пять часов.

— Дебри искусства,— кивнул Тардье.— Хорошие вещи в них теряются, плохие выделяются. Вы уже видели этого «Гитариста»?

Он повел их к картине, изображавшей молодого музыканта, написанной в ярких тонах, без привычных переходов.

— Превосходная вывеска, а? — сказал он и прочитал подпись:— Манэ.

— Жюри в этом году было слишком снисходительно,— заметила Иполита.— Это же хулиганство!

— У него краски словно кричат,— охарактеризовал картину Чермак.— Но в нем есть какое-то особое стремление выразить себя, тебе не кажется?

— Один знакомый сказал мне,— сообщил им Тардье,— что Манэ не выдержал экзамен в морскую школу и тогда — шасть к Кутюру. А вскоре оттуда вылетел. Однако существуют люди, которые принимают все. Господин Готье,— искал он по карманам газету,— написал об этой картине: «Черт подери, этот гитарист явился не из «Комической оперы».

Ярослав хотел еще показать друзьям картины Фортена из Бретани, но Иполита стремилась на свежий воздух.

— Кавалеры, куда вы нас поведете выпить чашку шоколада? — спросила Катрин. И сама решила:— Я хотела бы взглянуть на тот отельчик, который принадлежит Терезе Лашман. На Елисейских полях, знаете? Говорят, он стоит на том самом месте, где она когда-то хотела отравиться на скамейке... Готье будто бы ее спас — похоже, он многосторонний художник.

Иполита согласилась, и по дороге они беседовали о лечении в Рагаце, где госпожа Беллем прошла курс.

— Больных там спускают на качелях в глубокую пещеру и погружают в целебный источник. Это напоминает какой-то языческий обряд, на меня все там оказывало чувственное воздействие... Вам бы следовало это нарисовать, господин Чермак.

Ярослав вежливо поддакивал, но слушал Тардье, который ему доказывал:

— Золотой век Салонов давно миновал. Вы только представьте себе, сто лет назад в Лувре было не больше ста пятидесяти картин. Вот было наслаждение!

Однако Ярослава интересовало другое.

— Как вы думаете, доктор,— спросил он,— не пойдет ли на пользу госпоже Иполите Далмация? Там круглый год сухой климат, солнце, великолепное море...

— Почему бы и нет? Я должен ей это порекомендовать? — прищурился Тардье.

Все, что с 1860 года Чермак предпринимал, рисовал, о чем договаривался, было прямо или косвенно связано с его планом отправиться наконец в новое путешествие на юг, добраться до Черногории, накопить сюжеты и впечатления, а затем вернуться к морю, подыскать там для Иполиты с дочерьми дом, жить с ней вместе и работать над картинами, которые выражали бы его убеждения и призывали общественность обратить внимание на борьбу черногорцев.

Париж, с его сплетнями и клеветой, с назойливым и жадным интересом к альковной и закулисной стороне жизни, чем дальше, тем становился Ярославу противнее. Он мечтал поселиться в мире чистых мыслей и героических поступков и с удовольствием перенес бы туда и Иполиту.

Он хотел выполнить все обязательства и завершить заказанные портреты, равно как и гравюры для книги брата Яна, имевшего большой успех в медицинском мире благодаря изобретенному им ларингоскопу, и вместе с тем усиленно изучал кириллицу и сербско-хорватскую грамматику. Запасшись приглашением от Вацлика, он стал подыскивать, кто бы мог его сопровождать. «*Mon cher et bon * Душан...*» — снова писал он профессору Ламблу, как обычно, отрывочными фразами, оканчивающимися многоточиями, словно он давал понять, что мысли остались незавершенными; он извинялся, что сейчас еще не может отказаться от взятых на себя обязательств, однако в конце написанного по-французски письма добавлял по-чешски: «...но где бы вы ни были, я найду вас, мы не нарушим нашего великого уговора и побеседуем во время путешествия, о котором так мечтали. И всем сердцем вас приветствую. Ярослав».

Чермак по-прежнему, словно старший брат, заботился о Гуттари: добился для него стипендии у семьи Роганов и познакомил его с Парижем. Вечером накануне отъезда в Прагу — это было как раз в годовщину взятия Бастилии — Ярослав взял его с собой посмотреть, как актеры прощаются со старым бульваром дю Тампля и его театриками, которые Осман тоже приказал снести. У «Фюнам-бюля» они встретились с Александром Дюма, который привез туда в карете свою новую любовь, молодую певицу Фани Гордон.

На сей раз Прага предстала перед ним более светлой, оживившейся, помолодевшей, возрожденной. Чехи вырывались из оков. Люди больше улыбались, и в глазах у них появилась надежда.

Но лицо матери выражало опасения и недовольство. А именно

* Мой дорогой и милый (франц.).

с ней в первую очередь хотел он проститься перед дальней дорогой.

— Тебе чего-то недостает? Ты не удовлетворен? — осторожно выспрашивала она.

— Почему ты так думаешь?

— Я подсчитала. Над «Гуситами, обороняющими перевал» ты работал пять лет. С другими картинами происходит то же самое. Боюсь, ты слишком занят иными обязанностями...

Ярослав понимал, что мать не могут радовать его неопределенные отношения с Иполитой.

— У меня было много забот, мамочка, — признался он, — но теперь все определилось. Считай то, что я пока сделал, подготовкой. Я еще не в том возрасте, чтобы было поздно приобретать новый опыт. Черногория зовет меня. Это будет подлинное начало.

— Я никогда никому из вас не препятствовала в ваших благородных целях, даже если путь был нелегок. Многие художники рисовали в Африке, я знаю. Но никто не отпраивлялся учиться прямо на войну.

— Не бойся. Я еду туда в поисках новых надежд, а не ради того, чтобы похоронить их. Ты всегда учила меня быть справедливым и не бояться жертв...

— Я буду за тебя молиться. А как на это смотрит госпожа Иполита?

— Она позже приедет ко мне в Далмацию. Мы впервые настоящему будем вместе. И это будет новая жизнь.

Ламбл, на которого Чермак рассчитывал, вынужден был ему отказать. Поэтому, вернувшись во Францию, Ярослав съездил в деревню к Пинкасу, чтобы выяснить, не хочет ли тот его сопровождать.

Он прожил в их простом доме неделю. Ходил по деревне среди крестьянских дворов, где испарения от виноградных выжимок смешивались с запахом хлебов, сделал несколько набросков старых построек на фоне свежей зелени, ему хорошо там спалось, и он даже не сердился, когда посреди ночи его будили петухи, предвещающая сырую погоду.

Пинкас как раз работал над портретом своей жены.

— Я хотел бы, чтоб родители в Праге в конце концов примирились с ней. Поэтому я делаю портрет в таком эмоциональном духе.

— Если б я могла, — сказала Адриена, — я призналась бы в своей любви к тебе перед всем миром.

Ярославу казалось жестоким вырвать друга из обстановки, означавшей для него безопасность, подготовку к борьбе за признание их союза с Адриеной, и в результате он даже не рискнул задать вопрос, с которым приехал.

Поэтому по возвращении в Париж он всерьез повторил предложение, сделанное когда-то в шутку Гуттари:

— Ну, что, Пепя, ударим по рукам?

Гуттари был в восторге от такой возможности и преданно помогал готовиться к путешествию. Ярослав сообщил его семье, что будет о нем заботиться.

Весна 1862 года была многообещающей. Живая изгородь из колючего кустарника вдоль Сены цвела. Таинственно звучали доносившиеся из казарм вечерние зори.

На вечере, посвященном Божене Немцовой и Франтишку ШкROUPу, Ярослав простился и с друзьями из «Чешско-моравского клуба». Там читали статью Й.-В. Фрича, одобрявшего Бисмарка за то, что он поддерживает сплочение против Австрии, а те, кто недавно вернулись из родной страны, рассказывали, как в Чехии следят за борьбой черногорцев и как старые и молодые устраивают сборы в их пользу; у кого нет ни крейцера, хоть корпию щиплют для перевязок.

Ярослав знал, что надолго покидает Париж с его постоянными министерскими кризисами и студенческими манифестациями на бульваре Сен-Жермен. После победы французских войск в Сайгоне витрины были забиты китайским оружием, которое полагалось иметь в каждом ателье. Ярослава это уже не касалось. Зато он положил в дорожный саквояж новый роман Гюго «Отверженные»; говорили, что это протест против всех безвинных страданий на свете.

Он распрощался с художниками Робер-Флэри и Фромантенем, который дал ему с собой свою книгу «Доминик».

— Это история, которую я вам однажды рассказывал. Я попытался в ней сделать то, что некогда советовал вам: привести себя к согласию с самим собой.

— Кое-что мне подсказал этот примирительный серебристо-серый цвет на ваших последних картинах...

— Есть люди, таящие в своих душах некую тоскливую нежность. Она проникает и в их мысли.

Ярослав знал, что на долгие месяцы расстанется с Иполитой, и беспокоился о ней. Фрич однажды в шутку сказал, что он образцовый «cavaliere servente»^{*}; Ярослав не возражал против подобного определения и именно так подписывал все свои произведения, которые дарил Иполите, хотя бы потому, что никогда не стремился подчеркнуть их гораздо более близкие отношения. В его душе постоянно жило чувство вины, которую он готов был неустанно искупать. Это напоминало отношение пажка к благородной даме, оставившей во имя безумной любви к нему дом и семью.

^{*} Верный рыцарь (*итал.*).

Когда в последний вечер Ярослав смотрел на ее лицо, озаренное пламенем камина, она напоминала ему бессмертные бронзовые античные скульптуры. Он был уверен, что эта любовь — источник жизни и искусства.

Самовар тихо шумел. Иполита разливала чай в японские фарфоровые чашки.

— Я найду самый красивый уголок в Дубровнике, — обещал он, — и с Нового года буду ожидать тебя там.

В ее взгляде промелькнула тень недоверия.

— Говорят, в Персии супружество длится всего семь лет. Потом муж и жена расходятся — или заново обручаются... Взял бы ты меня на следующие семь лет?

Он опустил перед ней на колени. Она подставила ему губы для поцелуя.

— Я буду писать тебе как можно чаще, — уверял он. — И попрошу Пинкаса, если тебе что-нибудь понадобится...

— За меня не беспокойся. Я только боюсь, понравится ли там, на юге, девочкам...

— Надеюсь, да.

Он старался любить Амалию и Марию, носил им цветы и подарки, желая восполнить недостающую отцовскую заботу, и хотел, чтобы они привязались к нему. Симпатии Марии он завоевал, но Амалии слишком многое было известно о причинах и способе разрыва родителей, она ставила матери в вину их развод и часто вспоминала отца, который писал только ей, последний раз из Англии, где имел успех на выставке.

— Знаешь, о чем он спрашивал в том письме Амалию? Видела ли она уже его «Далилу».

Картина была выставлена в Париже в галерее фирмы Гупиль.

— Галле не любит людей, — строго судила теперь его сама Иполита. — Потому он и остановился в своем развитии.

— Но его «Далила» — интересная работа, — возразил Ярослав. — Обычно ее изображали низкой женщиной — Рубенс, Декан... Галле словно бы понял ее, тебе не кажется? У меня такое чувство, будто он вложил в эту картину какую-то свою мысль.

— Я все-таки не Далила, — обиделась Иполита.

— Его Далила не думает о своей красоте и мучается оттого, что злоупотребила страстью, которую ей дано пробуждать... Вспомни ее взгляд! Раб сообщает, что уже ведут пленных, а она смотрит в пустоту — и страшится собственной измены, собственной совести...

— Почему ты говоришь об этом мне? — с досадой спросила Иполита.

— Я лишь предполагаю, что размышления над «Далилой» могут стать его новым началом. Слово он сделал попытку освобо-

даться наконец от своей болезненной чувствительности — и больше понять... я так думаю...

Она молчала и только пожимала плечами.

— Я верю, что он не станет чинить тебе препятствий и разрешит дочерям поехать с тобой. Мне хотелось бы, чтоб ты собиралась в радостном настроении. Чтобы у тебя ничего не болело, чтобы ты не оставила частицу себя в Париже, чтобы приехала вся целиком...

— Мало ли что может случиться за полгода...

— Мы ведь уже привыкли, что наша жизнь разыгрывается наподобие произведений Вагнера... Бурно, потом длинные паузы...

Ярослав улыбался ей и был таким кристально ясным и уверенным в себе, что она подчинилась его воле и ее словно подхватило плавным течением. К ней вернулось душевное равновесие, и, когда она склонялась над Ярославом, лицо ее обретало материнское выражение. В первые годы их страстной любви Иполита иной раз напоминала Ярославу актрису Анну Манетинскую, которую сравнивали с тигрицей и которая являлась ему в его любовных грезах. Теперь же он находил в ней сходство с Эжени, героиней последнего романа Шанфлера, с ее любовью и добротой. Ярослав был уверен, что она готова разделить с ним даже опасность, и потому старался запечатлеть в памяти ее черты, словно фиксируя их на дагерротипную пластинку.

ЧЕРНОГОРИЯ

В конце июля 1862 года министерство полиции в Вене предупредило наместника Мамулу, что «пшущий исторические картины художник Ярослав Чермак... купил здесь палатку и оружие и направился в Черногорию якобы для того, чтобы писать этюды». Министерство требовало, чтобы за ним был установлен надзор как за «закоренелым членом ультрачешской партии», и отмечало, что его зятем с недавнего времени является д-р Ежи Чарторыский, живущий в Вайнхаузе близ Вены.

Когда в начале сентября наместник сообщил, что Чермак попросил разрешения на поездку, Вена не возражала, хотя и было точно известно, что на сей раз он встретился как с поэтом Орсатом Пуцичем, так и с людьми, вернувшимися из Черногории, с французским офицером Молье и русским путешественником Василием Шаховским.

По приезде в Дубровник Ярослав мысленно отрешился не только от Парижа, но и от австрийской полиции. В нем тотчас ожило подсознательное чувство духовной связи с южными славянами, а Адриатическое море сразу стало ему близким своей небесной сине-

вой, веселой пеной, уютными песчаными отмелями среди скалистых отрогов. В жарком дыхании позднего лета поспевал инжир, краснели гранаты, дозревал виноград. Над лесом вздымались крутые карстовые горы, по гребню которых проходила граница Герцеговины. Эти горы некогда захватил наполеоновский генерал Лористон, и с той поры великолепный дворянский город быстро пришел в упадок. С 1815 года Дубровник принадлежал Австрии; но черно-желтые будки с неповоротливыми часовыми родом откуда-нибудь из Тироля своей крикливой окраской неопровержимо доказывали, что властители этой прекрасной природы — непрошенные гости.

Официально Дубровник именовался Рагуза. Ярослав поселился в гостинице «Бошетто» и отправился бродить по городу. Он набросал в тетрадь для эскизов ворота, дворец наместника и несколько узких улочек, над которыми, словно в оперетте, висели гирлянды веревок с бельем. На побережье, среди зарослей миртовых и розмариновых кустов, он то и дело наткнулся на развалины укреплений, крепостей или остатки сожженных и разрушающихся небольших замков, зарастающих тамариском и олеандрами.

Ярослав прежде всего хотел найти дом для Иполиты и ее дочерей, которые должны были приехать весной. Ему с первого взгляда понравилась долина Жупа, окруженная с трех сторон горами, а одной стороной обращенная к морю. Управляющий больницей д-р Иван Казначич самоотверженно заботился о Чермаке и помог ему найти в деревне Мандалена подходящее жилье. Это была небольшая вилла семьи Маскарнич, построенная из белого корчульского камня в духе простого дубровницкого ренессанса, с террасой и садом. Перед домом была увитая плющом пергола, низкая ограда между каменными вазами заменяла скамьи, над дорожками, вымощенными галькой, свешивались зеленые французские бобы — сладкие рожки пражских народных гуляний. Ярослав сделал несколько снимков аппаратом, который на сей раз привез, чтобы послать их Иполите.

На первом этаже, где была расположена кухня с открытым очагом и пресс для оливок, Ярослав нашел помещение для своего ателье и одновременно спальни. Комнаты во втором этаже предназначались для Иполиты и ее дочерей, в третьем — для прислуги. Он договорился с владельцем виллы об аренде с начала года и распорядился изготовить недостающую мебель. Сам он пока остался в Дубровнике и принял на службу рослого парня по имени Дюро Дюрович. Чермак написал письмо Гуттари, что тот может приехать; наказал ему остановиться в Вене у Чарторьских и с их финансовой помощью купить фланелевые рубашки, двадцать локтей полотна и краски, а также двустволку, которую следует разобрать и спрятать в ящике. Он описал ему дорогу через Триест, Задар, Шибеник и Сплит и сообщил, что будет ждать его в Рагузе.

«Передайте привет вашим родным и скажите им, что за ваше здоровье и вашу жизнь я ручаюсь».

Чермак внимательно следил за военной ситуацией, складывавшейся в Черногории. Рекомендательные письма из Парижа и письмо Вацлика открывали ему доступ к дубровницким купцам, выполнявшим здесь функции «консулов» воюющих сторон. Они исправно снабжали войска тех государств, представителями которых выступали, но при этом находились в дружеских отношениях между собой, и Чермак имел возможность сопоставить их мнения.

Суть политических противоречий была ясна. Жители Герцеговины, уже четверть века находившиеся в турецкой зависимости, требовали, чтобы наконец вошел в силу изданный султаном Абдулом Меджидом десять лет назад так называемый «Хат шериф» (некий закон о свободе), согласно которому порабощенным христианам гарантировалось уважение личного достоинства, безопасность жизни, сохранность имущества, а также во многих отношениях уравнение в правах с мусульманами. Дворянство, давно перешедшее в магометанскую веру, чувствовало, что его власть находится под угрозой, и все эти аги и беи призывали к борьбе за старые порядки. Поэтому христиане восставали, бежали, а черногорцы считали своим священным долгом предоставить им убежище.

Но Чермак встречался и с черногорцами, кое-кто из них имел в Дубровнике дома. Воевода Милан Врбович, портрет которого он рисовал, грозил:

— Пусть только сунутся! В турецких полках полно жестоких пашей и албанских башибузуков, но все они трусливы. Вы слышали имена Петара Вукотича или Мирко Петровича? Вот это военачальники и герои!

— Выдержит Черногория атаку таких превосходящих сил противника?

— Вы не читали о битве у церкви в Мартиновицах? Там было всего тринадцать наших мужчин из рода Радовичей. Они сопротивлялись с утра до ночи. Все погибли, но и турки потеряли пятьсот человек.

Каждое подобное сообщение волновало Ярослава и усиливало его желание как можно скорее очутиться на поле боя.

Наконец он дождался Гуттари, который привез также пражские и венские газеты. В «Народних листах» Вацлик писал о последних битвах, после которых Черногория приветствовала молодого Николу как освободителя страны. Тогда Чермак обратился к Вацлику с письмом, сообщая, что готов к поездке. Вацлик ответил, что приглашение остается в силе и что он вышлет ему навстречу в Котор сторожевой наряд. Его слово имело вес: благодаря сво-

ему труду в защиту независимости Черногории он сделался государственным секретарем при князе Николе, заменяя собой, по сути дела, всех министров.

— Хорошо. Двинулись — и не будем там бездельничать!

Гуттари мог оценить искусство Чермака в стрельбе, когда они отправлялись охотиться на вальдшнепов или в сумерках — на летучих мышей. Перепелки, спускавшиеся на рассвете в сад, были настолько ослабевшими, что их можно было ловить руками.

Однажды в магазине Персича они застали группу вооруженных турок, и Чермак решил, что турки могут пригодиться как типаж для задуманной композиции. Он попросил консула прислать их на виллу Маскарича; собирался сделать несколько снимков, надеясь, что фотографии придут на выручку памяти. Когда дикие арнауцы во главе с турецким майором пришли, угостил их кофе и табаком и несколько раз нажал спуск аппарата. Он разглядывал их, выспрашивал, хотел их получше узнать. Гуттари тем временем спешил изготовить отпечатки; он полагал, что доставит турецким солдатам радость, предложив им снимки на память. Но первый же из них, увидев свое изображение, обнажил ганджар*. Выяснилось, что магометанская религия запрещает делать портреты. Наконец примирение свершилось и турки ушли, но вернулись незваными гостями ночью, чтобы обокрасть домик. Они не знали, что художники там заночевали. Пришлось прибегнуть к помощи оружия. Пестрый шнур, оставшийся висеть после их бегства на оконном крючке, стал первым военным трофеем Чермака.

В конце июля Чермак и Гуттари отправились в Котор в сопровождении Дюро Дюровича. Черногорские и далматинские горы, меняющие окраску от оливково-зеленых до сурово-серых тонов, отражались в водах залива, берега которого сходились почти как на Влтаве.

Они посетили храмы, осмотрели базар, где черногорские женщины продавали дрова, принесенные ими с гор, и прошли по набережному, обсаженному тувонником. Парни собирали черные ягоды в корзинки, и земля под деревьями была красной, словно там пролилась кровь какого-то сказочного зверя. Австрийские дозоры напоминали, что здесь опасная зона; над склонами, поросшими пиниями, виднелись строгие стены небольших крепостей.

Чермак и Гуттари радостно приветствовали наряд личной охраны, высланный им навстречу Вацликом, как и было обещано. Чтобы сблизиться, Чермак пригласил черногорцев на чашку черного кофе. Солдаты положили ружья на столы и задымили чубуками

* Длинное колющее и режущее оружие (*тур.*).

из просверленного орешника. Среди них была и одна женщина, вдова погибшего воина, которую остальные называли «брат». Вдруг она показала на человека, прятавшего лицо за газетой.

— Шпик,— сказала она.

— О вас все станет известно,— повернулся командир наряда к Чермаку.

— Я об этом знаю.

Гуттари не сводил глаз с пышных одежд черногорских воинов.

— Это ради нас?

— Они всегда так одеваются.

— Есть у нас уверенность хоть в чем-то? — разъярил командир Лука Вукалович.— Что мы сохраним жизнь? Детей? Имущество? Ни за что нельзя поручиться. И потому у нас одна-единственная гордость — наше оружие и наш национальный костюм.

Они сели на лошадей.

Перед ними была ухидившая в облака скалистая гора, на склонах которой Чермак и Гуттари тщетно искали следы дороги. Но охрана взяла их лошадей под уздцы и повела. Из глубокого ущелья неровная тропинка, вьющаяся серпантином, вела наверх.

— Два года назад мы несли этим путем князя Данилу, когда этот проклятый Кадич застрелил его на судне в Которе, — сказал Вукалович.

Время от времени они обгоняли людей, возвращавшихся с рынка. Женщины несли на голове покупки, мужчины большей частью были на лошадях. Залив становился все меньше, а горизонт отодвигался все дальше. Дорога проходила по опасному краю обрыва над пропастью. Наконец всем пришлось слезть с потных лошадей и продолжить путь по скользким камням пешком. По берегам залива сверкали на солнце белые рыбацкие деревеньки.

Миновав низко висящие облака, они очутились на территории Черногории. Ярослав стал внимательнее: он твердо решил, что нельзя упускать ни единой мелочи, нужно быть наблюдательным и подмечать все — и пейзажи и людей. Дорога вела вниз среди скал, приходилось прыгать по каменным глыбам. Кое-где в рассединах показались первые небольшие поля. Все так устали, что каждый шаг требовал усилий, но их охватило какое-то особое возбуждение. Когда Чермак оглядывался на Гуттари, он замечал и в его глазах нетерпение и любопытство.

— Настоящие естественные границы,— показал он на отвесные горы вокруг.

— Ниже будет легче,— утешал их командир,— вы сможете ехать на лошадях всю дорогу.

Они усомнились в его словах, но Вукалович рассмеялся:

— Плохой наездник тот, кто на такой дороге не сможет вскипятить чай в самоваре.

Наконец перед их взорами предстала первая деревня — Негуш.

Два всадника выехали им навстречу. Первый был Вацлик, в национальном черногорском костюме, с медалями на груди. Ему было слегка за тридцать, но из-за бороды он казался старше. С ним ехал воевода по имени Крцо Петрович, герой многих сражений. Чехи радостно их приветствовали. Чермак знал легенду о мужестве Петровича: с несколькими людьми в течение восьми дней он защищал какой-то монастырь против целой армии, кидая неразорвавшиеся гранаты обратно в атакующих.

Жители стояли возле каменных домиков, а прослышав, что едут гости из Чехии, с улыбкой поднимали руки и кричали:

— Живили чехи, браче наши!* Злата Прага!

И Вацлик гордо объяснял:

— Чехи — единственные, кто послал сюда в этом году помощь — пятнадцать тысяч золотых и ящики перевязочного материала... Черногорцы хорошо знают, что только мы с пониманием отнеслись к их борьбе, и благодарны за это. Вас примут с любовью...

Преодолев усталость, они вновь двинулись в горы. С вершины заметили блеск Скадарского озера. Сильный ливень освежил их, по вымочил до последней нитки.

— У нас сейчас период усталости и отдыха после больших боев, — объяснял Ярослав Вацлик. — Турки рвались сюда как бешеные. Но Крцо и Мирко Петрович устояли перед ними.

— И турки с этим примирились?

— Их по-прежнему шестьдесят тысяч, а нас — от силы восемь. Они с удовольствием стерли бы нашу страну с карты. Омар-паша многое отдал бы за Цетине.

— Турки никогда туда не добирались?

— В прошлом столетии — трижды. Но Черногория стоит. Несмотря на всю помощь туркам бездушной Англии.

— Что заставляет англичан так поступать?

— Торговля. Вместе с офицерами всегда едут купцы.

— А Австрия?

— Она предоставила нам небольшой заем, но, скорее, просто откупилась, чтобы мы не присоединились к Италии. Сербы нам, — говорил Вацлик так, словно сам был по происхождению черногорцем, — ближе всего. Ружья, орудия — это все от них. В конце концов, мы и за них боремся. После их падения здесь тлеет последняя искра славянской свободы. Не будь этого, вряд ли им удалось бы сегодня выгнать турок из Белграда.

Столица Цетине лежала в долине, утопая в огромных лужах. Чехи были удивлены столь скромной резиденцией князя. Стены домов были сложены из камня, проложеного дерном, окна неров-

* Да здравствуют чехи, братья наши! (серб.-горв.).

ные, большинство крыш крыто пучками ржаной соломы. Однако у них не было времени на долгие раздумья; ветер хлестал дождем в их лица, и они укрылись в здании сената, куда их провел Петрович.

В помещении, отведенном им, не было кроватей, лишь стол да два стула. Но у них были с собой одеяла, и они считали вполне естественным, что разделят с черногорцами их суровую жизнь и что вряд ли тут у кого найдется время заниматься ими.

Ярослав дал Дюро наполеондор, чтоб тот попытался раздобыть какую-нибудь еду. Выглянув в окно, они увидели, как из княжеской резиденции, конака *, выступил отряд и двинулся по направлению к Ловчену. Они спросили, что происходит.

— Увезят ценные вещи в безопасное место. Завтра ожидается наступление турок.

— Кажется, мы прибыли как раз вовремя,— сказал Ярослав Гуттари.— Как далеко Омар-паша?— громко спросил он.

— На Риеке Црновичове. Примерно в двух часах ходьбы.

— Я даже не думал, что мы попадем прямо в бой,— сказал Гуттари дрогнувшим голосом.

Дюро вернулся ни с чем. Даже за золотой ничего не удалось достать, и похоже было, что они лягут спать голодными. Но не успели они заняться приготовлениями к ночлегу, как в коридоре посыпшались шаги, раздался стук и на пороге появились две женщины.

— Извините,— начала старшая из них,— князь очень рассердился, узнав, что о вас тут забыли. Он посылает вам самое лучшее, что есть в его кухне и погребе.

— Вы чешка? — удивился Чермак.

— И я и мой муж, Лукаш, он служит у князя поваром.

— Всюду чехи,— качал головой Гуттари.

Пани Лукашова приказала служанке поскорее накрыть стол к ужину, сама открыла бутылку вина, а затем занялась постелями — принесла простыни и одеяла.

— Здесь все просто, никакой роскоши — не сердитесь, всюду полно солдат...

— Мы не ожидали и такой заботы,— заверял ее Чермак.

Она хвалила князя Николу — он ведь воспитывался в Париже и легко мог изменить местным традициям. Но князь понимает, как много значит для черногорских мужчин и женщин национальный костюм, как почетно носить его, и потому сам его носит и придерживается всех старинных обычаев.

В этот вечер художники, даже не закончив ужина, уснули в полном изнеможении.

* Дворец (тур.).

— Черногорцы напоминают мне наших таборитов,— убежденно заявил Ярослав.— Или античных спартанцев. Не бояться врага, в тысячу раз превосходящего их по силе,— вот пример национального мужества...

Ярослав радовался, что может встречаться с этими людьми, видеть их выносливость и самоотверженность. Черногорцы умели терпеть голод и жажду, спать на камнях, на их темных лицах читалось презрение к опасности.

На третий день своего пребывания в Цетине чешские художники смогли познакомиться с княжеской семьей, о которой все высказывались с признательностью и уважением. Николе было двадцать четыре года, он говорил по-французски, был дружелюбен и сердечен. Его жене, прекрасной дочери воеводы Петара Вукотича, не было еще и шестнадцати. Главой рода и главнокомандующим оставался отец Николе — Мирко Петрович, герой и автор юнацких песен, который, кроме того, вершил по вечерам суд под открытым небом. Видя его сидящим на каменной скамье, Ярослав размышлял о простоте старых славян; старик курил длинную трубку, выслушивал жалобы, обдумывал их и выносил решения.

В первый же раз Чермак стал свидетелем ходатайства жены о разводе, потому, мол, что ее муж вел себя в бою недостаточно мужественно. Воевода уговаривал ее, но она уверяла, что не может жить с мужем, который не избавил государство хотя бы от одного врага. В конце концов она обещала подождать до следующего боя.

По окончании суда мужчины мерялись силой в борьбе, тянули канат, бросали камни. Ярослав продемонстрировал хорошие физические данные своей левой, и его радовало, когда черногорские воины похлопывали его по плечу и заверяли:

— Тако ми поштениа, честне слово, ты си юнак! *

Прежде чем разойтись, пели песнь о древнем князе, также носившем имя Данило. Турки захватили его в плен и хотели посадить на кол. Когда герцеговинский митрополит собрал много золотых и предложил выкуп, они, чтобы как-то унижить Данилу, подвесили его за руки на городских воротах в Подгорице. Черногорцы спустились с гор и, всю ночь смеяная друг друга, приподнимали князя, дабы облегчить его муки. Когда после этого Данило вернулся, в один из сочельников он разом избавился от всех потурченцев и очистил Черногорию от измены.

— Тогда в Черногории было хорошо,— кончалась песня,— здесь хрюкало много свиней...

— Потому что черногорцы меняли пленных ага на свиней, голову на голову,— пояснял Вацлик.

Когда из России приехала вдовствующая княгиня Даринка с

* Клянусь, честное слово, ты молодец! (серб.-хорв.).

маленькой дочкой Ольгой, Никола договорился с Чермаком, что тот нарисует портреты всех членов княжеской семьи, и предложил переселиться в его конак. Ярослав поблагодарил князя, но ему хотелось чувствовать себя более свободным. Дюро уже набрался опыта, научился раздобывать продукты и отлично готовить бараньи отбивные. Порой они отправлялись в трактир, где в очаге неугасимо пылал огонь, а иной раз их приглашали в семьи, где праздновалось «красно име», и над свечой, воткнутой в хлеб, они снова слушали военные истории.

Жилища были очень просты: земляной утопанный пол, над очагом висел котелок и лист для выпечки хлеба, чуть дальше стояли корзины для кукурузы, из которой мололи муку; кровати были грубо сколочены из бука.

— Помога ви бог*, — приветствовали их хозяева.

Гостям предлагали хлеб-соль, а старшая из дочерей приносила деревянную миску, чтобы омыть им ноги.

— Как только вы к кому-нибудь войдете, — сказал Чермаку Вацлик, — вас охраняет гостеприимство, будь вы даже самим Омарпашой.

Если дома находился кусок солонины, хозяин бросал ее на стол и разрубал ганджаром. Обычно же ели и предлагали гостям скудную еду: хлеб с сыром и молоко. Или выпивали по глотку ракии.

Едва обменявшись приветствиями, начинали разговор о войне. Каждый черногорец ощущал себя прежде всего солдатом; он признавал одну-единственную работу — изготовление пороха.

— Была тут и типография, — сказал Вацлик, — но недавно нам пришлось перелить буквы на патроны. Сейчас Никола оборудует новую.

Глаза мужчин загорались, когда они предавались воспоминаниям о героических поступках своих бойцов, и голоса сливались в песне:

«...встрепенулся он, что сизый сокол,
палача-гадюку бросил наземь,
саблю у него из рук он вырвал
и убил, и двух еще таких же...»

Через три дня у Чермака и Гуттари были готовы наброски фигур: цветастые куртки, пурпурные жилеты, обшитые золотой каймой, за кожаным поясом, стягивающим кафтан, — пистолет и ганджар, иногда там висела также сумочка для масла, добываемого из овечьих костей.

— Важна каждая подробность, — следил Чермак за набросками своего воспитанника и сам тщательно зарисовывал шапку, которую мужчины носили на подбритой голове: с черным околышем, крас-

* Бог в помощь (серб.-хорв.).

ным донышком, с двуглавым орлом впереди.— Не забудьте богатырские усы! И вихор на лбу! И обозначьте точно краски.

— Женщины, женщины тут богини, — вздыхал Гуттари. — Они созданы, чтобы их боготворили, но никогда о том не узнают.

Положение женщин их удивило. Ярослава тоже восхищали их стройные фигуры, глубокие глаза под длинными ресницами и волосы цвета вороньего крыла, их мужество и гордость. Но они жили в полном подчинении у мужа: выполняли самую тяжелую работу, в церкви стояли позади, дома выслушивали все скрестив руки и покорно склонив голову, самый молодой мужчина пользовался большими правами, чем самая старая женщина.

Когда при встрече или прощании женщины хотели поцеловать художникам руку, те сопротивлялись, но Вацлик предупредил:

— Вы не имеете права противиться этому обычаю. Они подумают, будто вы отказываетесь от их гостеприимства.

Ярослав с жадностью зарисовывал шапочки, украшенные серебряными монетами, превращавшие девушек в сказочных принцесс, белые платки с красной каймой, жакеты с богатыми поясами, шарфы, белые или полосатые чарапы*, поверх которых надевались опанки**, металлические цепи — джерджаны вокруг шеи, длинные серьги.

— Это богини,— повторял Гуттари,— в них можно влюбиться.

— Вы правы, Пепа,— соглашался Ярослав,— но будьте осторожны — у замужних две косы, вы это плохо запомнили...

Они видели также, как женщины спускались по веревке на маленькие поля в прогалинах между скал, копали там лопатами, прикрывая взрыхленную землю полусгнившими листьями, которые придавливали камнями, чтобы ветер не сдул. Сжатый хлеб они уносили на спине. Когда женщина отправлялась на рынок в Котор, она ложилась навзничь на вязанку дров, прикрепляла ее лямками, потом поднималась и отправлялась в опасный путь вниз. На базаре она получала за свою ношу два австрийских двадетника***, или, как здесь их называли, цванцика. Жены воевод ходили точно так же, лишь иногда брали мула.

Когда семья собиралась у домашнего очага, мрачней всего были воспоминания об убитых или уведенных в плен женщинах. Однако многие женщины ходили в бой вместе с воинами, чтобы отомстить за своих павших сыновей.

Для Ярослава было праздником, когда он мог выпить с героями песен и их создателями. При расставании хозяин выходил вместе с ними из дома, и на прощание они стреляли из ружья.

* Чулки (серб.-хорв.).

** Мягкая кожаная обувь (серб.-хорв.).

*** Двадцать геллеров.

После первых эскизных набросков Ярослав взялся за акварель, для которой нашел натурщицу — красивую семнадцатилетнюю Ивану.

Но он не закончил работу. Дозоры сообщили, что в турецком лагере началось долго ожидаемое передвижение. Никола со своим штабом пожелал ознакомиться с ситуацией и направился на гору Границу. Вацлик тотчас послал за чешскими художниками. Вместе с ними ехал взвод личной охраны князя.

— Ожидается атака?

— По всей вероятности. Эти постоянные поражения наверняка в Штабуле не понравились.

Маленькая процессия остановилась у простой церквушки. Вышел священник; одежда на нем была рваная, а за поясом пистолет. Он нехотя поздоровался с князем; взгляд его был дерзок.

— Духовники здесь необразованны, неотесанны, — сказал Вацлик. — Но они не предают. Конечно, не помогай местным монастырям русские, они терпели бы такую нищету, что не смогли бы долго просуществовать.

— Вы говорили, взимается подать?

— Обычно после снятия урожая, и небольшая. Но все идет на боеприпасы и продовольствие для солдат. Раньше это должен был оплачивать сам князь.

Вскоре после того как они миновали церквушку, всем пришлось сойти с лошадей и дальше продолжать путь по тропинке среди скал пешком. Чермак смотрел на энергично лагающего Николу и понимал, какой патриотической решимостью должен обладать этот молодой человек, променявший беспечное времяпрепровождение в Париже на постоянные опасности и разделивший судьбу своего княжества, живущего под постоянной угрозой нападения.

Горная тропинка проходила вдоль громоздящихся темных скал.

— Даже турки называют нашу страну Кара Даг. Старое название. Предание гласит, что, когда бог создал мир, как раз над этим местом у него прорвался мешок с камнями. Но я думаю, дальновидный господь сделал это умышленно, чтобы создать для нас неприступную крепость.

— Вы не собираетесь проложить дорогу?

— Кому она сейчас сослужит службу? В первую очередь — врагу. Когда мир станет разумнее, мы прорубим дорогу в этих скалах.

От жары пересыхали губы. Вацлик попросил у молодого солдата патроны и показал Чермаку, как их разбить; если пожевать порох с селитрой, это утоляет жажду.

Как только они достигли вершины горы, носившей название Вртелев, неожиданно перед их взором внизу, в долине, открылся огромный турецкий лагерь. Для Чермака и Гуттари это было не-

обычайное чувство — смотреть сверху на войско тех, кто вторгся сюда как враг.

Князь поручил своим спутникам подсчитать палатки.

— Все они будут атаковать? — не мог сдержаться Гуттари. — Ведь их целое море.

Вукотич пожал плечами. Он считал ниже своего достоинства отвечать на такой вопрос.

К князю обратился статный мужчина лет тридцати, наблюдательный пункт которого находился в скалистом ущелье.

— Командующий нашей артиллерией воевода Мапо Врбица, — представил его Чермаку Ваплик. — Обучился военному делу в Петербурге. Одни наши воеводы тяготеют к Франции, другие — к России. Влияния переплетаются, и это не в ущерб делу.

Князь сел, дружина расположилась вокруг, солдаты принесли тыквы с црмницким вином и нарезанный сыр. Отсюда можно было беспрепятственно наблюдать за турецким лагерем, словно это зрелище не таило в себе опасности. Запахло дымом чубуков.

— Три тысячи палаток, — доложили результаты подсчета.

Чермак не заметил в черногорцах ни малейшей тревоги. Лица мужчин, стоявших в окопах и наблюдавших за движением неприятеля, выражали решительное спокойствие.

Врбица показывал князю линию окопов, идущих вниз по склону горы, и спросил воеводу Мирко, где бы он хотел усилить оборону.

— Поставь впереди тех, кто вернулся из стамбульского плена, — улыбнулся Мирко. — Им больше всех нужно свести счеты. Но, — добавил он быстро, — запрети рубить головы пленным и убитым. Мы не башибузуки. Это не наш гадет, — употребил он турецкое слово вместо «обычай».

Карандаш Ярослава и здесь не бездействовал. Он набросал несколько фигур во время военного совета, забрел к солдатам, зарисовал в свой альбом их оружие: длинное ружье, короткий штуцер, пистолеты, ятаган. Он видел седых воинов и рядом с ними — молодых парней, заметил женщин, чистивших оружие и отправлявшихся с тыквами за водой.

Князь договаривался с командирами о вывозе раненых, доставке хлеба и пороха.

Когда он прощался, подбежали несколько солдат, обступив князя, они приветствовали его возгласами:

— Живио наш князь Никола, живио наш царь!*

Дружина медленно двинулась в обратный путь.

Ярослав долго оглядывался на пестрый лагерь в котловине. Это большая опасность, понимал он. Но черногорские бойцы по крайней

* Да здравствует наш князь Никола, да здравствует наш царь! (серб.-хорв.).

мере видят врага перед собой. У чехов он находится среди них самих, враг вошел в их жизнь, в их характер. Когда-то они смогут встретиться с ним лицом к лицу?

Едва дружина села на лошадей — князь снова ехал во главе, — раздался выстрел, испуганно повторенный эхом. Лошадь Николая, раненная в голову, вздыбилась и упала. Князь остался лежать под нею, и спутники быстро его высвободили. Новый выстрел! От скалы над головой князя откололся кусок, и взвилось облачко пыли. Но тут уж послышались энергичные распоряжения князя Мирко. Солдаты личной охраны перепрыгнули через расселину и побежали за скалистый выступ на противоположной стороне, откуда прозвучали выстрелы.

— Поезжайте спокойно дальше, — приказал Мирко остальным, и Петар Вукотич, отец княгини Милены, встал во главе дружины.

Те, кто оглянулся, увидели, как стража настигла в скалах вероломного стрелка и тащила его к воеводе.

— Как это могло случиться? — Чермак был взволнован. — Ведь князя так любят.

— Да, но Черногория до сих пор страдает от кровной мести. В особенности женщины буквально помешаны на ней и часто заставляют мужчин кровью мстить за оскорбление. А турки этим пользуются и посылают сюда подкупленных изменников.

Допрос злоумышленника подтвердил предположение Вацлика. Это был человек из рода Радовичей, чей сын сбежал и изменил, был казнен, а отец нанялся служить туркам, чтобы отомстить близкому родственнику Данилы. В пещере быстро был свершен акт правосудия.

Суровый приговор потряс Чермака.

— Смертная казнь у нас была отменена, — сказал Вацлик. — Но мы находимся в состоянии войны, и это совсем другое дело. Жизнь князя Николая слишком ценна для Черногории, чтобы рисковать ею.

Новобранцы, в красных жилетах и синих брюках, обучались с утра до вечера, и взводы уходили по направлению к Границе. Ночью оттуда донсились орудийные выстрелы.

Чермак подготавливал материал для композиции, искал типажи мужчин и женщин, размышлял о будущих сюжетах, несколько раз отправлялся рисовать дикие пейзажи, а когда выдавалось время, продолжал работу над портретами. Он хотел ими выразить уважение тем, кто по-братски принял его и о ком он хотел поведать Парижу.

Воевода Мирко охотно позволил рисовать себя обоим чехам одновременно. Он мог сидеть неподвижно, курил и рассказывал о пережитом на войне. Вдруг он быстро перевел умные глаза на вер-

шину скалы против окна, вскочил, вытащил из-за пояса пистолет и выстрелил.

— Еще один? — не спускал он глаз со скалы. — Несомненно. Опять тут рыщут несколько подкупленных лазутчиков. Убирайся, и треста дьяволов тебе вдогонку! — крикнул Мирко в окно. Потом спокойно вернулся на свое место. — Будьте осторожны, на ночь хорошенько запирайтесь, сейчас здесь не безопасно.

Потом он распорядился, чтобы вместе с художниками жил капитан личной охраны.

После Мирко наступил черед женских портретов: матери Нико-лы госпожи Стане, вдовы Даринки, княгини Милены, ее сестры Елены. Две последние особенно привлекали Ярослава — красота в них была неотделима от гордости.

— Пусть это корыстно, но я предпочитаю, чтобы Елена прихо-дила грустной, расстроенной. Самый выразительный взгляд, какой я когда-либо видел. Вы обратили внимание?

— Вы ее любите? — наивно спросил Гуттари.

Чермак улыбнулся его вопросу и задумался.

— Вероятно, да. Это понимаешь, когда рисуешь. В чем не при-знаешься сам себе, проговорится твоя рука. Я боготворю ее лицо. А что касается ее взгляда, я хотел бы, чтоб он когда-нибудь устрем-лялся с картины на зрителей Салона... Он стоит сотни дипломати-ческих нот.

За Гуттари ходили гвардейцы и все просили сделать на память хоть маленький портрет. Один предлагал ему за это коня, другой насыпал в ладонь горсть серебряных монет.

Чермак оставался его заботливым советчиком.

— Лицо вы ухватили. Но скажите сами, видна в нем черногор-ская душа? Не похожи ли эти мужчины, скорее, на словаков? Слю-вацкая песня выражает тоску, грусть... Черногория — это песня героическая. Старайтесь уловить эту сосредоточенность, эту непод-купность во взоре. Постоянно думайте об их характере.

Заглянул к ним и воевода Врбица, приехавший с донесением.

— Как дела на поле боя? — расспрашивал Чермак.

— Вы слышите нас? Стреляем с такой яростью, что прихо-дится поливать стволы орудий водой. Ночью, когда тихо, слышно, как турки зевают и капляют в окопах прямо под нами.

— Вы остановите их?

— У нас мало металла для зарядов. Но князь только что отдал приказ переплавить водопроводные трубы.

— А нет надежды на мирное разрешение?

— Говорят, Франция и Россия договариваются о какой-то поте. Но, по мнению Англии, Черногория является частью турецкой тер-ритории. Слышали вы когда-нибудь больший вздор?

— А Австрия?

— Вроде бы предложила вести вместо нас переговоры с турками, но князь это отклонил. Какие могут быть переговоры с захватчиками и убийцами?

Гуттари хотел начать его портрет, по Врбицу неожиданно отозвали. Началось наступление. Ушел и капитан Вукотич.

Отряды поспешно выстраивались перед конаком. Солдаты целовали знамя. Даже ученики школы, размещавшейся в монастыре, под руководством трех своих учителей собирались на поле боя.

Князь простился с солдатами, после чего сам направился к часовне на Ловчене.

— Идет побеседовать с мертвыми,— сказал Чермаку Вацлик.— Думаете, возможно, чтобы там вместо этой часовни и памятника Даниде стояла мусульманская мечеть? Черногорцы этого никогда не допустят.

С Границы всю ночь прибывали гонцы. Слышался беспрестанный гул орудий, и в Цегине росло напряжение.

— Теперь здесь будет жарко,— предостерегал Вацлик,— всякое может случиться. Может, вам лучше вернуться в Котор? Еще не поздно.

Ярослав с улыбкой отказался, однако он помнил о своей ответственности за Гуттари. Предложил ему спуститься вниз.

— Мне было бы совестно перед теми, кто так хорошо нас принял,— сказал молодой художник.

— Похвально,— кивнул Ярослав.— Манес знал, почему для костюма нового общества «Сокол» он выбрал гарибальдийскую рубашку и черногорскую шапку. Нам есть тут чему поучиться.

Он написал Иполите, а другое письмо заготовил на случай, если не вернется с гор.

— Хотите отправиться прямо на линию огня?

— Вы же знаете, что я прилично стреляю. Думаю, им пригодится каждый человек. Но если со мной что случится, вы поедете в Дубровник и захватите вот этот мой чемодан. В нем завещание, а также документы на мои сбережения, они помещены в банке Морпурга в Триесте. Передадите все моей сестре.

Гуттари с тревогой наблюдал за его приготовлениями.

— Я чувствую себя так, словно долго ожидал именно этой минуты,— сказал ему Чермак.

Двадцать пятого августа, едва над горами занялся киноварный рассвет, дозоры сообщили, что враг начал наступление по всему склону.

— Пушка дружка*,— произнес Ярослав черногорскую поговорку, насыпал в карманы патроны и пошел искать отряд, к которому мог бы присоединиться. Гонцы спешили в конак и обратно на поле

* Ружье — друг (серб.-хорв.).

боя. Ходили слухи, что Врбица с помощью своих мортир остановил первую волну атаки. Град свинца, подтверждали первые раненые, появившиеся на носилках и повозках. Ущелье полно трупов, турок и наших, говорили они.

— Дерутся уже врукопашную, — сказал Ярослав седовласый воевода Туро Пламенац. — Я прибыл за подкреплением, но нас остается мало.

Ярослав попросил взять его с собой, и Пламенац кивнул. Его отряд выступил к полудню. Он состоял из мужчин постарше и молодых парней. Некоторые были уже ранены, другие только что прибыли в Цетине из далеких деревень и еще не участвовали в боях. Женщины несли продовольствие и боеприпасы. Ярослав почувствовал какой-то особый покой на душе, когда смог присоединиться к остальным как равный. Он выполнял свой долг, стоял на стороне справедливости против тех, кто воевал за неправоое дело, приблизился наконец к той грани, где решимость на словах приходится подтверждать делом. Он вел себя как чех.

По договоренности с Врбицей Пламенац двинулся со своим отрядом через деревню Метрину во фланг атакующих турецких войск. Он приказал своим людям занять позицию за грядой каменных глыб в горном ущелье. Однако долгое время им приходилось довольствоваться лишь тем, что они слышали все приближающиеся выстрелы да время от времени — крики боли или ярости.

— Ждите, — успокаивал их Пламенац, — дышите глубже, пусть мышцы отдохнут — дождетесь.

Резкий ветерок шевелил его седые волосы, щеки его покраснелись, губы отечески улыбались, глаза сияли на смуглом лице. Ярослав всматривался в него и думал про себя, до какой степени любой из этих мужчин являет собой воплощение своей родины.

Мужчины были встревожены.

— Мы что, ночевать собираемся в этих скалах? — роптали они.

— Пожалуй, если турки принесут вам циновки и крепкого кофе, — шутил Пламенац.

Но прежде чем наступили сумерки, турецкие дудки послышались вдруг неожиданно близко. Это означало, что враг пытается атаковать с фланга. Пламенац не стремился к кровопролитию и приказал дать выстрел, чтобы вызвать переполох и показать, что склон охраняется. Однако янычары рвались наверх в скалы как безумные. Тогда Пламенац снова приказал ждать. Первый залп раздался, только когда враг приблизился на расстояние выстрела. Несколько атакующих упало, остальные мешкали, потом янычары с криком разбежались, пытаясь укрыться.

Немного погодя на позиции отряда Пламенаца упало несколько снарядов. Воевода перебегал с места на место, взвешивал возможности, определял, откуда турки стреляют, а потом приказал отойти

за вершину горы. Однако на позициях он оставил три бочки с порохом.

Турки, воодушевленные поддержкой артиллерии, вновь появились, безостановочно стреляя. Когда они подошли к прежней позиции обороняющихся, Пламенац приказал поджечь фитиль. Мощный взрыв смел атакующих со склона. Их смятение усилилось после залпа с вершины.

Они не могли понять, где находится линия обороны и каково число обороняющихся. Решили отступить. Тогда Пламенац послал своих людей вперед. Они перебегали от укрытия к укрытию и провоцировали отступающий полк стрельбой, чтоб у врага не возникло намерения вернуться.

Седовласый Пламенац довольно улыбался и подбадривал своих бойцов. Турецкие орудия вновь загромыхали, возможно, чтобы отомстить за поражение и помешать преследованию. Пламенац вдруг схватился за грудь и осел у подножия скалы. Он стиснул зубы, но не мог сдержать стонов. Ярослав склонился над ним. Воевода терял сознание. Мгновенно рядом оказался лекарь. Он осмотрел рану от осколка гранаты, омыл ее водкой и затянул кожаным бинтом, сунув под него пучок сухих трав. Пламенац вскоре пришел в себя. Увидев, сколько солдат смотрит на него, он устыдился собственной слабости, поднялся и хотел идти. Но пошатнулся и вновь упал на землю.

Люди из личной охраны поспешили к нему с носилками. Они уложили раненого и двинулись с ним в Цетине. Солдаты из Црмишцкого и Лежанского районов, составлявшие ядро отряда Пламенаца, напряженно следили за побелевшим лицом воеводы; оно старело на глазах. С участием и гордостью задерживали на нем взгляд все, кто встречался на пути, мужчины и женщины, направляющиеся на поле боя.

Эта картина врезалась в память Ярослава. Он до глубины души был тронут непередаваемым, охватывающим всех единством.

Вернувшись со своим отрядом домой, Чермак быстро набросал первый эскиз. Он был уверен, что нашел сюжет для первой большой картины о Черногории. Все встречные мысленно следуют за раненым героем, отдавая в его лице дань мужеству тех, кто защищает Родину. И путь умирающего вновь напоминает о клятве и священном долге всех честных и свободных людей.

После большого сражения несколько августовских дней прошло спокойно, хотя над деревнями и витал призрак кровавой резни. Дозоры приносили сведения о нерешительных перемещениях турецких отрядов. Зато в Цетине появились посланцы русского и турецкого консулов из Дубровника и их поверенные из Котора. Оказались тут и газеты, полные ложных сообщений о том, будто Черно-

гория пала и князь обязался платить дань и разрешил проход турецких войск через свою территорию.

А когда стало ясно, что сообщения эти поспешно продиктовали из Стамбула, конак охватило возмущение.

— Наши мужчины год живут без постели и без глотка горячей пищи,— негодовал воевода Мирко,— год живут в постоянной опасности среди скал — и чтобы теперь тут реял полумесяц?..

— Скорее я взорву Цетине и уйду в горы, — обещал князь.

Жертв в ходе последних боев было много. Тяжелораненые лежали во всех помещениях конака, и у изголовья многих стояла смерть. Не раз участвовал Ярослав в похоропах героев; видел, как они лежат мертвые, слышал по ночам печальное пение женщин, видел, как они целуют покойного и причитают над ним. Мужчины прощались с товарищем выстрелом из ружья, как с живым, жену ожидал тридцатимесячный траур. И все это было впустую?

— Пусть о нас договаривается кто угодно, на подобные условия мы никогда не согласимся.

Бери славянские народы пример с черногорцев, думал Чермак, как бы изменилась Европа.

В один прекрасный день Цетине был поражен глубокой тишиной — стрельба в горах прекратилась. В глазах молодых юнаков Ярослав читал нечто вроде сожаления и недоверия. Но, по сообщениям из Границы, первые турецкие полки покидали лагерь. Значит, и в самом деле перемирие!

Вскоре в Цетине появилась турецкая делегация под белым флагом и привезла дары. Князь Никола вынужден был в честь паши, прибывшего договариваться о мире, устроить торжественный обед и пригласил на него Чермака с Гуттари. Паша говорил по-французски, за поясом у него торчала ложка, по мясу он рвал руками.

После обеда играли в карты. Воевода Мирко выиграл у паши и двух его товарищей груды турецких золотых монет. Он сыпал их в шапку Гуттари.

— Возьми это в качестве гонорара, терпеть не могу турецкое золото.

Вечером припустил ливень, но, несмотря на это, с линии обороны пришли около трехсот бойцов. Они принесли знамена, захваченные во время вылазок в турецкий лагерь. Поскольку другого места уже не было, им пришлось разместиться в монастырском подвале. В холоде и сырости ютились там вместе с ними жены и дочери, помогавшие им во время боев.

Гуттари истратил выигрыш Мирко на покупку продуктов. Затем они с Ярославом и Вацликом спустились в подземелье и при свете свечей угостили окоченевших и голодных солдат. Снова пили за здоровье чешских братьев, а женщины целовали им руки и принимали поцелуи в лоб.

В течение всех последующих дней продолжалось празднество в честь мира. Каждый вечер на вертеле жарился княжеский баран и у костра пели и танцевали.

«Многие в бою погибли братья —
черногорских соколов когорты.
Радуются матери, что души
сыновей на небо вознесутся,
ибо жизнь они за честь отдали,
чтобы отомстить жестоким туркам
за убитых братьев, кровь невинных».

Черногорцы охотно становились побратимами чешских художников. Приносили вересковый хлеб, благословенный богом и святым Йованом, пили с ними из чаши, обменивались поцелуями.

Чтобы как-то внести свою лепту в празднование, Чермак и Гуттари соорудили из бумаги воздушный шар, разрисовав его головами башибузукков. После воскресной обедни шар, наполненный нагретым воздухом, поднялся в небо. Когда он удалился в направлении черного хребта, воевода Мирко сбил его выстрелом. Стража принесла его обратно, Гуттари заклеил и вновь надул его, и шар полетел куда-то над озером, провожаемый веселыми криками.

— Видите, Пена, чего только не создает художник! — веселился Ярослав. — Мне даже не важно, что наше общее детище занесло неведомо куда.

За заслуги в боях князь Никола сделал Ярослава Чермака кавалером ордена Данилы и приколот ему медаль «За независимость Черногории».

Ярослав был этим обрадован. Он с нетерпением ждал, когда сможет сообщить о том Иполите, Пуркине и Манесу.

Когда в Цетине вернулись с гор отряды черногорцев, город превратился в полевой лагерь. Всюду развевались разорванные знамена. Никола ходил среди солдат, расспрашивал, благодарил, представлял к наградам. В ответ на сообщение, что в нынешнем году не будут взимать никаких податей, в воздух взлетели папки, многие из которых были прострелены. Самые храбрые в качестве трофея получили неприятельское оружие и затем соревновались в стрельбе по каменным мишеням. Небольшими группками бойцы расходились по домам.

Приближалась осень. Женщины складывали стога из дубовых и ясеневых веток — корм для овец и коз на зиму. Выгребали из ям кукурузу и пекли из нее хлеб, закапывали в землю картошку и кочаньи капуста. Часто шел дождь, и цетинская долина медленно превращалась в озеро.

Когда однажды прояснилось, князь устроил охоту, пригласив на нее и Ярослава, который вновь доказал свое искусство в стрельбе — уложил медведя.

Вернувшись с охоты, он застал Гуттари в сильном волнении.

— Она привела мне невесту, — указал он на старую черногорку, которая стояла в углу комнаты, держа за руку красавицу Стане, сироту, служившую у княгини Даринки. — Но я о ней даже не заикался.

— Как это произошло?

Оказалось, что Пепа во время работы над портретом Стане, чтобы сосредоточить ее внимание, рассказывал о своем доме и неосмотрительно вскользь заметил, что его сестры, несомненно, тоже рады были бы с ней познакомиться. Девушка похвасталась этим своей бабушке, а та сочла подобную интимность предложением руки и сердца.

Ярослав попросил аудиенции у княгини, для которой, по ее желанию, рисовал как раз большую картину «Голгофа», и объяснил ей неприятное и комичное недоразумение. Пришлось Гуттари пространно извиняться перед прелестной Стане и ее бабушкой, чтобы те не обиделись. После окончания войны настроение у всех было веселое, приподнятое и легче было получить прощение.

В один прекрасный день выпал снег. В комнате художников не было печи, чтобы обогреться. Жизнь теперь укрылась в домах. Краски исчезали. И Ярослав решил, что пора простаться с Черногорией.

Первым уехал Дюро Дюрович. Потом Ярослав отправил Гуттари, чтобы тот подготовил виллу в Дубровнике. Гуттари шел пешком, в сопровождении двух черногорок, помогавших ему нести подарки. В деревне Негуш ему одолжили лошадь.

Ярослав успел еще закончить картину «Голгофа» со столь непривычным для него сюжетом. Он пытался, используя интенсивный свет — яркие лучи солнца, — воссоздать грандиозное, общечеловеческое событие. Затем он просмотрел все портреты, в последний раз сопоставив их с лицами тех, с кого они писались. В последний раз совершил прогулку в скалы, чтобы запечатлеть в памяти их жесткие и острые контуры. Знал, что недели, прожитые здесь, навсегда останутся неотъемлемой частью его жизни.

В последний раз сел он за ужин с княжеской семьей. Вновь пообещал, что попытается предложить парижскому Салону портреты, и рассказал о мотивах, которые он собирался использовать в своих будущих картинах.

— Тем самым вы окажете нам помощь, — откровенно сказал за кофе Никола. — Я не строю иллюзий насчет того, что Османская империя оставит нас в покое. Увидите, война не заставит себя ждать, и будет хорошо, если вы напомним о нас Европе.

— Желаю, чтобы у вас была возможность посвятить себя всему, что на время войны пришлось отложить и чего ваш народ заслуживает...

Ярослав удивлялся мудрости этого молодого человека. Когда князь спросил его о гонораре за портреты, Ярослав отказался от денег, заявив, что здесь он понимал свое искусство как помощь. Тогда княжеская чета сделала ему подарок, которого он не мог не принять: пару арабских белых коней с седлом, изготовленным специально для него.

В последний раз Ярослав засыпал в Цетине, и сквозь сон до него доносилась любовная песня:

«Ты просил водицы из кувшина —
чарку поднесла тебе хмельную.
Ты ее швырнул, вино разбрызгал
и меня схватил за белые руки,
посадил по-за спиной на сивку,
кушаком скрутил меня три раза,
а четвертый — ремешком от сабли...»

Тоже сюжет для картины, подумал он, засыпая. Дикая южно-славянская свадьба, похищение, любовь, навеянная солнцем, вином, горячий кровью...

На следующее утро, когда Чермак выезжал из Цетине, его сопровождал почетный эскорт из пятидесяти всадников. Часть пути с ним ехали также воевода Мирко и капитан Вукотич. Вацлик простился с ним в Цетине: у него было полно работы по составлению протоколов о перемирии.

— Черногория никогда не забудет о тебе, брат, — сказал Ярославу воевода Мирко, когда они остановились попрощаться. — Ты останешься нашим товарищем по оружию, это понятно. Мы будем с нетерпением ожидать твоих картин. Ты был у нас посланцем Чехии. Нас связывают друг с другом самые прекрасные узы — верность.

Ярослав бросил последний прощальный взгляд на окруженную горами Цетинскую долину.

Прозвучал торжественный ружейный салют. Он повторился у деревни Баицы и еще раз — когда они остановились на последней вершине, спуск оттуда шел уже по Которским склонам. Этот салют всякий раз звучал словно фанфары.

Последние приветствия, обещания, объятия.

Ярослав обернулся и крикнул вслед всадникам:

— Остайте ту с богом!*

Он еще раз задержал взгляд на светлых скалах, на купах айво-

* Оставайтесь с богом! (серб.-хорв.).

вых и ореховых деревьев, глубоко вдохнул напоенный шалфеем воздух.

Ярослав знал, что будет нести в себе Черногорию как оружие для дальнейшей работы. Так он это себе представлял. Там, наверху, была жизнь. Опасная, но ясная и острая, как наточенная сабля. Теперь ему предстоит погрузиться в свои мысли, выбрать сюжет, начать борьбу со всеми трудностями и тайнами творчества, чтобы конечный результат работы был достоин пережитого и не оставил равнодушными тех, кто его увидит.

Я узнал народ, истинных мужчин и женщин, покоряющих красотой и мужеством, — народ, гордо несущий свою славянскую судьбу. Я стал их побратимом. Никогда им не изменю.

Ярослав был счастлив, что смог принять участие в их борьбе. Она окончилась победой. В сообщениях из Праги тоже говорилось о новой жизни, о расцвете песен и чешского языка. В душе Ярослава все сливалось воедино — собственная жизнь и жизнь народов, и это давало ему твердую надежду на будущее.

В Которе снега не было, но там царил неприветливая зима. Ярослав спешил, чтобы успеть на корабль.

Могучие скалы Кривошие простились с ним, затем проход между скал расширился, вереницы домов заскользили назад. Прощай, собор святого Трифума. Открылся Топольский залив, а затем уже стала видна вся Которская бухта, вход в Черногорию.

С обеих сторон залив охраняли мощные крепости.

ДРЕВО СЧАСТЬЯ

Когда Ярослав незадолго до рождества вернулся в Мандалену, на деревьях в саду желтели апельсины и созревали лимоны. Розы цвели всю зиму, дожди пробудили к жизни гвоздики. Бледные лучи солнца осветили белые камни, и Ярослав представил себе его жной в пору благоухания зарослей тамариска. Он писал Иполите подробные письма о том, что он пережил в Цетине, стараясь, чтобы ей стали понятнее условия, в которых она окажется: мы будем посиживать на террасе, вверху будет работать оливковый пресс, перголу выложим галькой, вокруг подпирающих ее колонн будет виться виноград, каменные вазы заполним цветами. Он привозил мебель: для Иполиты купил секретер в стиле ампир, для девочек фисгармонию. Одновременно он приводил в порядок эскизы и этюды из Черногории, стремился закончить портреты. Его радовало и то, что он может воскресить на полотне недавние сильные переживания и что до приезда Иполиты остается все меньше времени.

Ярославу хотелось поехать за ней в Париж, чтобы облегчить ей путешествие, но Иполита не желала, чтобы кому-нибудь из знакомых

стало известно, что она едет к Чермаку. Поэтому Ярослав всецело был занят приготовлениями. Вместо Дюро Дюровича, у которого вот-вот должна была состояться свадьба, он нашел Иво Грбича. Это был веселый и красивый парень, получивший за свою подвижность прозвище Веретено. Настала пора расстаться и с Гуттари. Уезжая, Пепа плакал, потому что понимал, что прощается не только с замечательным другом, но и с важнейшим периодом своей жизни.

В один из ранних мартовских вечеров Ярослав нетерпеливо поджидал судно. Наконец-то они будут жить с Иполитой так, как они себе представляли: без надзора со стороны парижского общества и беспокоящей близости Галле, вдали от клеветы и зависти. В славянском мире дышится свободнее. На берегу моря чувства расцветают. Он казался себе сильным и способным на самые глубокие переживания.

Пароход запоздал, багажа на месте не оказалось, дочерям нездоровилось от плавания. Иполита была раздражена, ее осаждала свита, гувернантка Луиза Дальбе, толстая кухарка Лиза, на руках у которой лаял пудель Лев — подарок Марии Чарторьской.

Ярослав старался противостоять суматохе и нервозности с помощью спокойствия, юмора и решительности.

Когда экипажи подъехали к вилле, он с любопытством всматривался в лица приехавших — каково их первое впечатление. На террасе ждали две местные девушки в праздничных национальных костюмах — Кате Грбич и Кате Бутрица. Они должны были приходить ежедневно и помогать по дому. Это были самые сообразительные и самые красивые девушки в Мандалене, и Чермак договорился с ними об оплате по два золотых в день, чтобы стимулировать их рвение. Девушки никогда в жизни не мечтали о подобной службе.

Некоторый диссонанс вносило поведение Амалии, которой шел уже семнадцатый год. Она напустила на себя холодный вид, давая понять, что приехала сюда не по своей воле. Она не старалась преодолеть болезни и ни с кем не желала встречаться, ничего не желала видеть. Четырнадцатилетняя Мария быстро сблизилась с новым окружением, особенно когда Чермак распорядился, чтобы брат Иво Грбича — Миха привел показать лошадей — для обеих сестер, для Иполиты и для Луизы.

Заброшенная вилла сразу превратилась в семейный очаг, заживший разнообразной и шумной жизнью. Женщины знакомились с домом, распаковывали вещи, устраивались, вышли осмотреть сад и окрестности.

Лишь поздно вечером, когда на дом опустилась усталая тишина, Ярослав с Иполитой смогли остаться одни, оба обессиленные,

но счастливые. После полугодовой разлуки Ярослав снова видел ее лицо.

— Зима кончается. Завтра тебе нанесет визит весна.

— Меня радует эта новая жизнь. Мне она была просто необходима.

— Тебе будет здесь еще лучше, когда ты познакомишься с этим краем, побережьем, людьми. Ты забудешь о Париже. Пока из всех вас еще не выветрился парижский дух, с его запахом парфюмерии и обновленных мостовых.

— Море это с нас смоеет.— Она открыла настежь окно.— Завтра обойду весь сад. А потом стану благодарить тебя за твои заботы.

— Я все продумал, — улыбнулся Ярослав.— Сюда ежедневно ходит купец. Лиза сможет выращивать в саду любые овощи, какие захочет. А я каждое утро стану ездить в Дубровник за почтой и газетами. Еще до твоего пробуждения они будут на твоём столе.

— Тут ты ошибаешься. Я собираюсь вставать рано утром. Ты будешь работать, а я — заниматься домом.

— Может, ты снова начнешь рисовать. Я приготовил для тебя палитру.

— Чтобы мне стыдиться за свое неумение?

— Я хочу, чтобы тебе здесь было хорошо, — обнял ее Ярослав и прижал к себе.— Чтобы ты укрепила здоровье. Тебе нужно отдыхать. У меня достаточно денег. Я копил для такой жизни несколько лет.

— Расходы мы поделим по справедливости, — возразила она.— Я пригласила сюда банкира Морпурга из Триеста, куда отец будет посылать мне ренту. Или ты можешь туда поехать и договориться с ним о выплате в рассрочку. Но если б он приехал сюда, он мог бы купить какую-нибудь картину, верно?

— Мне бы не хотелось, чтоб ты обременяла себя такими заботами...

— Отец доволен, что я здесь. Верит, что мне это пойдет на пользу.

И она обняла Ярослава. С улицы в комнату доносилось пение пикад на самой высокой ноте. Из близлежащей церкви время от времени долетал аккорд органа.

— Только я прошу, чтобы ты был поделикатней с девочками. В этом возрасте они чрезвычайно чувствительны.

— Я более чем искренне этого желаю. Разве я могу упустить подобную возможность?

Он показал ей в саду силуэт апельсинового дерева с развесистой кроной.

— Я назвал его деревом счастья. Плоды ожидают тебя.

Адриатическая ночь дышала волнующим чувством молодости и полноты жизни.

На побережье ворвалась весна, небо очистилось, природа упивалась солнцем. Дни вскоре потекли однообразно, и это давало ощущение устойчивости и безопасности. Поначалу дни казались длинными. Но вскоре они выстроились друг за другом, сливаясь в одно значительное, неизменно повторяющееся светлое переживание — от утреннего пробуждения до наступления темноты.

Когда прекрасная Кате Грбич появлялась утром и приносила молоко, она находила художника уже перед мольбертом, иной раз даже после верховой прогулки, в высоких сапогах и с черногорской шапкой на голове, погруженного в работу, казавшуюся местным жителям Мандалены, разумеется, не работой, а причудой. Благодаря щедрости они считали его воеводой, живущим инкогнито. Деревенские жители тут за работу в поле с рассвета до захода солнца получали десять крейцеров, а он даже детям за букет полевых цветов давал серебряный цванцик; хотел, чтобы все были причастны его счастью, чтобы вокруг небольшой виллы Иполиты царил умиротворение, чтобы все им желали удач. Остатки еды раздавали бедным семьям в Жупе.

Вскоре о щедром художнике заговорили. Прошел даже слух, что столь искусный рисовальщик, видать, сам изготавливает банкноты — кто-то видел, как он промывает в загадочной ванночке какие-то картинки.

И потому Чермак даже не особенно удивился, когда однажды поутру ему нанесли визит два чиновника из дубровницкой окружной управы.

— Мы прослышали о вашем пребывании здесь и позволили себе прийти представиться вам. Мы тоже из Вены.

Южнославянские друзья предупредили Ярослава о возможности подобного визита. Он принял австрийских бюрократов вежливо, но с нескрываемым холодом.

— Чем могу служить?

Чиновники выразили желание осмотреть, как он обставил дом. В разговоре пытались выведать подробности его совместной жизни с французскими дамами.

— Вы, собственно говоря, пражанин, не так ли?

— Да, родом я из Праги.

— Вы работаете на кого-то?

— Я художник и работаю на любого, кто хочет посмотреть мои картины.

— Да, но поговаривают о вашей сказочной расточительности... Дама, которая живет с вами, имеет собственный доход?

— Полагаю, это достаточно известно. Банкирский дом Морпурга регулярно посылает ей отчисления со счета отца.

— Содержать такой дом недешево. И тем не менее вы весьма гостеприимны...

Ярослав пожал плечами. Чтобы доказать обратное, даже не предложил им присесть.

— Ходят слухи, будто вы изготавливаете химическим путем какие-то картинки?

— Вы имеете в виду фотографии? Если меня интересует какой-то человеческий тип, я делаю набросок. А иногда вместо эскиза — фотографический снимок. Вы усматриваете в этом нечто неподозрительное?

— Нет, безусловно нет.

Ярослав позвал Грбича и приказал принести кувшинчик вина.

— Хотите глоток?

Он знал, что в Дубровнике по утрам вино не пьют.

— Или угодно немного черешни из нашего сада?

Чиновники наконец поняли, что получили отповедь за свою шпионскую миссию. Поблагодарили и ушли. Он кивнул им с ледяным выражением лица.

Ярослав знал, что австрийские власти к нему не расположены, но здесь их нечего было опасаться так, как в Праге. Он был политически подозрительным, и это его приятно будоражило. Кто из чехов не был под подозрением? Ярослав хотел, чтоб в картинах, над которыми он начал работать, чувствовалось нечто гораздо большее, чем просто нежелание иметь дело с подобными чиновниками.

Портреты княгини Милены и Даринки и портрет Мирко Петровича он отправил на парижский Салон; но на сей раз ему хотелось быть представленным работами, еще явственнее свидетельствующими о его симпатии к судьбе Черногории. И он принялся за полотно, на котором задумал изобразить то, о чем часто рассказывали в Цетине. На переднем плане лежала девушка, одежда с нее была сорвана, рядом валялся растерзанный миртовый венок; на заднем плане — четыре быстро удаляющихся турецких всадника. Они оставили после себя разграбленное и подожженное крестьянское хозяйство, убитого мужчину, изнасилованную женщину. Драматическая сцена показывала обстановку сразу же после жестокого деяния — в ней чувствовалось сдерживаемое волнение, недоговоренность, рассчитанная на ответную реакцию в душе зрителя. Ярослав мысленно уже видел контраст красок, белое тело и темные тени, незащитность, которую подвергли насилию, а рядом — коварство и жестокость, контраст белил и черни, пурпура и умбры.

Он старался справедливо поделить время между работой и заботами о том, чтобы жизнь Иполиты и ее дочерей протекала как можно интереснее. Он снял еще квартиру в доме Милославича на сребринском пляже, куда каждый день при хорошей погоде они совершали прогулку верхом. Загорали, купались, иной раз обедали на берегу, а то отправлялись на парусной лодке на близлежащие островки. Даже Амалия мало-помалу почувствовала прелесть таких

каникул и стала дружелюбнее. Мария научилась хорватскому языку и играла с соседскими детьми в «поплавок» — игру, при которой плоскую гальку бросают в камни, расставленные наподобие кеглей. Чтобы сдружиться с Амалией, Чермак предложил сделать ее большой портрет. Он рисовал ее в длинном белом атласном платье, переливчато-блестящем, трудился с таким усердием и верой в себя, что Иполита назвала этот портрет самой лучшей его работой. На радость Амалии Чермак нарисовал на картине и Льва, которого она очень любила.

После обеда, когда дамы отдыхали, Ярослав работал. Он приглашал для этюдов к будущим картинам жителей Мандалены. Если не мог найти подходящего натурщика, надевал национальные костюмы на Грбича или его сестру, ладной фигурой и благородными чертами напоминавшую ему черногорок.

Узнав однажды от доктора Казначича, что некоторые непонятливые дубровницкие патриоты осуждают его отношение к «сброду», Ярослав искал возможности открыто выразить свое дружеское расположение к городу, в котором нашел пристанище для своей любви. Он решил нарисовать картину для храма Марии Магдалины, куда Иполита каждое воскресенье ходила с дочерьми на мессу. Храм был поврежден во время войны, и картины в алтаре не было. Ярослав сделал эскиз; фигуру Христа первоначально писал с собственного портрета, а лицо Кате Грбич должно было стать ликом кающейся грешницы. Трудность заключалась лишь в том, чтобы найти достаточно высокое помещение для такого большого полотна. Он полагал, что для этого подойдет один из залов летнего дворца рода Гетальди. В нем жили две старые дворянки, сестры; но друзья предупреждали Чермака об их чудачествах. Когда Дубровник посетила императрица Элизабет, они, говорят, оделись в праздничные платья и ждали, что императрица — поскольку род Виттельсбахов был моложе их рода — придет засвидетельствовать им почтение. Однако Чермак полагал, что встретит в них понимание, ведь это делалось для церкви. Но дамы ненавидели Наполеона, этого убийцу дубровницкой аристократии, потому они ненавидели и «французского» художника и заломили за аренду бешеную цену, что было равносильно отказу. Чермак попросил священника походатайствовать за него; но тот как раз покидал Мандалену, его уже не интересовала реставрация храма, к тому же он открыто осуждал художника за то, что тот живет под одной крышей с замужней женщиной.

Иной раз казалось, что даже сюда доносилось затхлое дыхание парижских будуаров. Однажды на прогулке в Грузи Ярослав обратился с каким-то вопросом к австрийскому офицеру. Но лицо офицера приняло издевательски надменное выражение, а его замечание — по адресу художника и женщины об руку с ним — рассмешило группу стоящих с ним австрийцев. Ярослав сдержался, чтобы

не привлекать внимание Иполиты, он знал, что она почувствовала бы себя униженной. По воле случая в следующее же воскресенье граф Пуцич на гулянье в Дубровнике представил ему невежливого офицера. Чермак повернулся к нему спиной.

Прежде чем приступить к послеобеденной работе, он предупредил Грбича, что ожидает визита, быть может, письма, быть может, визитной карточки. Он был уверен, что оскорбление окончится дуэлью. Но офицер не давал о себе знать.

Однако дубровницкие друзья неизменно выказывали Ярославу уважение и интересовались его работой. В день рождения ему устроили торжественный вечер. Доктор Иван Казначич прочитал стихотворение, в котором говорилось, как все здесь ценят его любовь к южным славянам.

«О досточтимый чешский сын,
рожденный достославной Прагой,
печатью гениальности по праву
отмеченный природою самой...».

В стихотворении говорилось о том, что художник отправился бродить по свету из любви к собственному народу, чтобы благодаря его палитре мир научился любить мать Славю, сыны которой должны вывести ее из рабства на свободу. Казначич в своих стихах советовал Чермаку нарисовать Славянство в образе измученной рабыни, удрученной горем, в то время как ее сыновья — рабы иностранцев и стыдятся матери.

«Перед картиною такой
сердца юнаков вспыхнут гневом.
Тогда-то, может, схватят ганджар,
турецкой кровью обогранный».

Стихотворение кончалось тем, что сыновья отбрасывают распри, а мать Славия в образе царицы небесной наступает на голову змия раздора.

— Жаль мне тебя, — сказала Иполита. Она обхватила руками колени и оперлась о них подбородком. Ее только что обсохшая после купания кожа была свежей.

— Почему? — погладил он ее загоревшие руки.

— Что ты встретился именно со мной. Это нелегкая любовь.

— Нельзя так измерять чувства...

Когда им хотелось немного побыть одним, они уезжали в Сребри вскоре после обеда или к вечеру; они чувствовали себя влюбленными, как в первые годы знакомства, не надо было оглядываться на окружающих, и эти минуты проходили под знаком правды.

— Представь, что ты встретил бы женщину, у которой еще нет детей. У тебя не было бы обременительных забот. Меня это огорчает, но что поделаешь — не могу же я бросить своих дочерей?

— Нельзя так измерять чувства, — повторил он. — Если мы любим кого-то, его жизнь — это наша жизнь, разве не так? Ну а ты? Мне бы следовало сказать обратное тому, что говоришь ты. Если б мы не встретились, насколько для тебя все было бы проще и удобнее? Прочное положение, блестящее общество...

Иполита притянула его к себе и легла. Он подложил ей руку под голову, а сам прижался лицом к ее волосам. Они часто лежали так, словно черпая в объятиях друг друга силы для жизни и для сопротивления ей.

— Я тут счастлив, клянусь, — сказал Ярослав тихо. — Мы живем так, словно мы женаты, — улыбнулся он, — у нас великолепное хозяйство, свои фрукты, свое море.

Она вздрогнула и приподнялась на локте. Смотрела на него в упор, словно желая понять его суть.

— Ты не лжешь мне, что счастлив? Ведь это не твой образ жизни.

— Я все время обманывал, притворялся, чего-то избегал, что-то скрывал... Теперь у меня есть ты, и мне принадлежит весь мир. Даже если б после этого я должен был умереть, я счастлив. Ты ведь знаешь, я не умею играть чувствами.

— Да, но ты больше всего счастлив, когда тебе грозит опасность, когда ты борешься за что-то.

— Я уже повзрослел. Дай мне один раз счастье — иметь!

— Думаешь, я не узнала о твоей дуэли с Нуем? Поехать к Гюго на Джерси, отправиться к черногорцам, стрелять в турок, дразнить австрийских окружных начальников — вот твоя жизнь. Может показаться, будто ты намеренно сочиняешь романтическую биографию. Хочешь быть преемником Байрона.

— Думаешь, поэтому я и хромаю?

Она заставила его умолкнуть долгим поцелуем.

— Ты все делаешь по-настоящему, я знаю. Потому-то этот дом, полный женщин, должен тебе иной раз действовать на нервы, признайся...

— Я ужасно упрямый: вбил себе в голову, что ты будешь счастлива хотя бы настолько, насколько я смогу этого добиться...

— Можешь записать в мой актив, что время от времени я отдаю себе отчет, скольким ты для меня жертвуешь.

— Когда два человека, мужчина и женщина, вместе и это их обоим радует — тогда уже не о чем думать. И счастливее всегда тот, кто дает.

Ярославу казалось, что Иполита уснула. Он не хотел двигаться. Думал о том, что многое в ее словах правда. Но и он говорил

правду. Нелегко было держать в узде жизнь, столь сложную и неустойчивую. Но его радовали испытания. Затеряться тут вдвоем с Иполитой наверняка было бы прекрасно, как в романе. Он сам выбрал этот путь, такова его судьба. Бывали моменты раздражения, пустых пререканий и недоразумений. Но это вознаграждалось минутами, когда Иполита обнимала его, отдавала ему всю душу, и в свете таких минут исчезало все мелкое и обыденное, словно его посетил ангел.

Он вздохнул.

— Ты думал, я сплю? — спросила она глухо.

— А ты не спала?

— Слушала твои мысли.

— Ты довольна?

— Я не рискнула дослушать до конца.

В один из дней в конце лета, вскоре после того, как Иполите исполнилось тридцать девять, художник Фромантен расспрашивал в Дубровнике о Чермаке. Узнав об этом, Ярослав решил поехать к нему и заранее извинился, полагая, что задержится.

— Почему бы тебе не пригласить его сюда? — удивилась Иполита.

— Ты же хотела избегать всего, что связано с Парижем.

— Я как раз впервые взгрустнула о нем.

Вступивший в их белый дом Фромантен не был любопытным путником; его сдержанность носила оттенок некоторой меланхолии, как у всякого замкнутого человека, и он сумел оценить, что ему дозволено было стать свидетелем союза, скрываемого от остальных.

— Неужели вы не видите, что Яра ждет не дождется, когда вы расскажете, имели ли успех его картины в Салоне?

— Точно не знаю. Портретов там было более сотни. Но я несколько раз слышал мнение, что вам удалось передать своеобразие черногорского характера. А также признание вашего мужества, коль скоро вы отправились туда во время войны.

— Нет, такого я действительно не ожидал, — улыбнулся Ярослав. — Расскажите нам поскорее, что это за новшество — «Салон отверженных»?

— Жюри в этом году было особенно строгим: тысячу картин приняло, три тысячи отклонило. Поднялся крик, и тогда император разрешил отвергнутым устроить собственную выставку.

— Что она собой представляла?

— Большинство картин и впрямь были плохи, и посетители туда ходили развлекаться, как в кабаре.

— Что за художники там были? — поинтересовалась Иполита.

— Самый большой шум вызвала картина некого Манэ — «Завтрак на траве». Композиция по Рафаэлю, двое одетых мужчин, две обнаженные женщины, одна из них холодно смотрит на публику. Трудно сказать, что этим хотел выразить художник.

— Это довольно безвкусно, правда? — спросила Иполита. — В картине должен быть сюжет и логика. Этого Манэ явно отклонило бы любое жюри на свете.

— Но притом он умный человек, я с ним знаком. Он против фальши павильонного освещения. Но какое освещение истинно? Не знаю, доволен ли он, что его сделали знаменосцем всей этой современной бессмыслицы...

— Значит, его картина все же имела успех?

— Да, но в основном у людей, с которыми он, по всей вероятности, не хотел бы иметь ничего общего. Он, знаете ли, человек скрытный. Недавно привез из Голландии жену — и выяснилось, что у них десятилетний сын, никто, даже его близкие, понятия о том не имел...

Фромантен запнулся при упоминании о тайной любовной связи и быстро продолжал:

— Разумеется, он был не один. Вам известны остальные имена? Писсарро, Сезанн, Моне, голландец Йонгкинд, американец Уистлер...

— С ним я как-то познакомился, — вспомнил Чермак. — Он учился в какой-то военной школе, но провалился. Сказал мне: «Если бы кремний по случайности оказался газом, я мог бы дотянуть до генерала. Вот так я и стал обузой для живописи...»

Иполита продолжала осуждать искусство, которое отходит от красоты и отказывается облагораживать человеческий характер.

— Чего, собственно, хотят эти новые художники, чего добиваются?

— Мы уже более года живем здесь, на юге, — пояснил Чермак, — а по газетным сообщениям трудно что-либо понять...

— Они верят только глазам, не думая о душе, — охарактеризовал новых художников Фромантен. — За них борется один молодой писатель, довольно страстный и небесталаный, — Эмиль Золя. Дать свободу краскам, не описывать, не рассказывать...

— Думаю, мне все же больше понравился бы официальный Салон...

— Во главе его, мадам, как обычно, Мейссонье, на сей раз с «Наполеоном III под Сольферино». По-моему, там есть и ваш чешский друг Пинкас.

— От души бы желал ему этого. «Лесоруба и смерть» у него отклонили из-за излишнего реализма. Вероятно, усмотрели в том влияние Курбе. Пинкас тоже терпеть не может павильонной природы, — сказал Ярослав.

Даже говоря о других, Ярослав размышлял о себе, чтобы утвердиться в своей точке зрения, чтобы сопоставить себя с прочими. Делая первый набросок в цвете, он испытывал наслаждение, если улавливал, откуда падает свет, и мог отдаться непосредственному впечатлению, когда важна не точность формы, а колебание воздуха между глазом и предметом. Но он не считал возможным довольствоваться этим. Было бы неуважением к искусству не довести картину до того совершенства, на которое способен художник.

Иполита приглашала гостя остаться, однако тот собирался отбыть вечерним пароходом.

Чермак отвез Фромантена в Дубровник. Миновав несколько узких улочек, они зашли выпить по рюмке ракии в портовый кабачок.

— Какое впечатление произвела на Париж смерть Делакруа? Я был очень взволнован, прочитав об этом.

— Думаю, писатели любили его больше, чем художники. Он хорошо писал, а для художника это бывает опасно. Обо мне тоже так говорят.

— Ведь это он первый заметил, что свет изменяет облик предмета...

— Верно. Этой заслуги у него никто не отнимет. Он по-новому разделил тона на палитре, открыл силу контрастов вместо смешивания красок... Но мне он все же казался холодным. Может, поэтому, что я его знал такого вежливого, корректного...

— В картинах он был полон страсти.

— Я всегда его считал немного циником. Знаете, что он заявил? Грош цена тому рисовальщику, который не сумеет запечатлеть человека, бросающегося из окна...

Перед тем как вступить на мостки парохода, Фромантен сказал:

— Ныне я понимаю вас лучше, чем прежде. Своей твердой волей вы совершили чудо. Да, я имею в виду жизнь, которую вы себе создали... Ваша энергия безгранична. Знаю, что для работы художника она необходима. Вам придется экономнее распоряжаться ею.

Когда пароход растаял в сумерках, Ярослав пустился в обратный путь. Он не спешил, хотя стемнело и на небе высypали первые звезды.

Перед его мысленным взором вставало лицо великого художника, напоминавшее лицо ацтека. Делакруа был одним из учителей Ярослава, пусть даже его имя и не значилось в каталогах наряду с Галле. Бодлер написал в некрологе, что в нем посреди декаданса жил последний трепет героизма. Бодлер любил выражения на грани парадоксов, но Ярослав пытался его понять. Он тоже

чувствовал, что со смертью Делакура закатилась крупная звезда, сиявшая величественно, хотя свет ее уже не давал тепла. В мир входит новое поколение. Коро определенно был прав со своим советом: «Идите чуть впереди себя самого — и что встретите, тому и отдайтесь!» Только это не так просто — выйти из собственного «я», опередить себя, угадать новый путь. Быть может, это удастся молодым, чьи имена звучат столь воинственно, столь немилосердно. Это французы. Они думают о свете и о цвете, придают им свежесть первоизданности, наделяют их движением и звучанием. Наверное, это правильно: ведь предметы имеют цвет не только на поверхности — стоит взглянуть на морскую волну, и каждый поймет, сколько красок прибавляет ей отражение неба и свет воздуха. Уже Жерико знал, что темного и серого не бывает. Но с ним в живопись вошло еще что-то. Жерико глубоко чувствовал ничтожество и слабость человека, потому он и не отправился путешествовать в Африку или Азию, а когда Давид указывал на его ошибки и порицал за них, он отвечал этюдами на сюжеты из больниц и сумасшедших домов, потому что горел желанием рассказать, сколь несчастно человечество. Гете говорил: классическое — это здоровое, романтическое — больное. Но в таком случае сострадание явилось бы болезнью, а ведь это неправда. На плоту «Медузы» плывут все человеческие страдания... В равной степени невозможно провести точную границу между видами искусств. Девятнадцатое столетие подготавливалось уже в восемнадцатом. Давид работал в классическом стиле, но его «Смерть Марата» — произведение романтическое. Уже тогда возникало уважение к природе, восхищение чувствами, радость от любви. И краски пробивались к жизни задолго до наших дней. Возможно, Манэ прав. Возможно, он завоеует всеобщее признание.

Но поскольку я чех, славянин, разве я могу заботиться только о том, будет ли достаточно зеленой у меня трава и наполнен ли воздух отсветами? Я хочу обратиться к сегодняшней Европе, когда целые народы вынуждены молчать, и убедить ее, что угнетенные и поработанные тоже имеют право на свободную жизнь. Я хотел бы кричать, что здесь существует небольшой народ, насчитывающий сто двадцать тысяч мужчин и женщин, которые зубами и ногтями цепляются за свои скалистые твердыни и защищают их от врага, во сто крат превосходящего его силой, — так велика их любовь к свободе, к песням, к своему языку, так непримиримы они в своем требовании права на человеческое достоинство. И что это — пример для всех.

Он приближался к дому в Мандалене, который уже спал. Лишь в его ателье все еще горела лампа. Иполита ждет.

Но прежде чем соскочить с лошади, он представил себе в крошечной тьме — чтоб убедиться в собственной правоте — фигуры

тех, кто будет изображен на его картинах: старцев, чей взгляд говорил о законе чести, мужчин, на лицах которых не было ни радости, ни печали, одна лишь готовность сражаться до конца, лица женщин, принимающих испытания как нечто само собой разумеющееся, если это ведет к свободе.

Я не вправе изменить своей участи, какие бы более проторенные пути меня ни манили. Я ношу на руке сказочное кольцо верности; могу предъявить его когда угодно. Быть может, это не кольцо, а оковы. Они тяготят и доставляют боль. Но это оковы верности. Если ты в чем-то уверен — стой на своем, даже если это трудно. Вокруг меня кружат миры искусства, идей, новых достижений. Но я обручен. Вздохну поглубже, подниму свои оковы — и снова в путь. Я служу, сказал слепой чешский король, принимая бой, заранее суливший поражение. Я служу.

Ярослав набросал несколько новых сюжетов карандашом и углем, сделал первые цветные макеты, но не надеялся, что за время пребывания в Мандалене сможет настолько сосредоточиться, чтобы закончить полотна. Лишь картина «Злоумышленники» была почти готова. Но он писал многочисленные этюды к двум картинам: первая представляла собой воспоминание о том, как несли сердара* Пламенаца из окопов в Цетине, на другой башибузуки уводили пленных славянок на невольничий рынок. Он воспроизводил одежду, шапки, оружие. Отбирал из женских фигур те, которые точнее передавали боль и решимость; натурщицей для одной из женских фигур в «Военных трофеях» служила Кате Грбич в национальном костюме, купленном специально для нее. Албанца с длинным ружьем должен был изображать ни в чем не повинный Иво Грбич. Ярослав прорабатывал отдельные места мелом и маслом, он хотел быть совершенно уверенным в композиции, чувствуя безмерную ответственность за произведение, в котором стремился воплотить свою веру в Черногорию.

По праздникам и воскресеньям Ярослав приглашал на виллу деревенских жителей и музыкантов. Под оливами в саду пели, на террасе танцевали южнославянское коло, сопровождая пляску задорными «поскочницами». На большом столе бывало приготовлено угощение. Девушкам накануне свадьбы Ярослав дарил национальные костюмы. Для мужчин устраивал состязания в стрельбе по мишени; призами служили ножи, платки, пояса.

Когда подобные развлечения стали для дам будничными, он принялся организовывать прогулки. Брал напрокат парусную лодку и возил девочек на острова. Однажды, возвращаясь с острова Ло-

* Начальник области в Черногории; военачальник (серб.-хорв.).

крум, лодка перевернулась. В лодке находились лишь Ярослав с Марией, которая восприняла это как великолепное приключение, а утонуло всего несколько рисунков. Но у Ярослава к тому времени было уже множество эскизов, число которых все увеличивалось. Иногда он уезжал с Грбичем, и тогда они ночевали в палатке. Когда они ездили с Иполитой и девочками, то находили ночлег у знакомых по рекомендации дубровницких друзей или в трактирах. Они добрались даже до Боснии и Герцеговины, все еще находившихся под турецким владычеством, и в папке Ярослава обнаружилось много рисунков: платаны в Грстене, набережная в Метковиче, герцеговинские девушки, турки на лошадях. Рисунок известного моста в Мостаре он приготовил как традиционный подарок ко дню рождения Иполиты. Пояснения ко всем рисункам он писал только по-чешски.

Когда они вернулись из Мостара, их приветствовал в Мацдалене новый, молодой священник дон Марио Бенсам, отнесшийся к чешскому художнику совершенно иначе, нежели предшественник. Он обещал учить девочек итальянскому языку и игре на фисгармонии, сам знакомился с ремеслом художника. Расспрашивал о приключениях в Черногории, и Ярослав охотно продемонстрировал ему свое искусство стрельбы: на его глазах застрелил хищную птицу, преследовавшую усталого голубя.

Осень наступила поздно и быстро перешла в сырую зиму. Камин пылал не переставая.

Ярослав принялся за картину маслом, изображавшую черногорцев, переносящих по первому снегу его картины. Затем избрал своей темой темную кухню, наполненную тенями, и проверял — вспоминая разговор с Фромантеом, — как меняются краски при отраженном свете. Но не переставал ощущать оковы верности. События в мире убеждали его, что он вместе с теми, кто борется против насилия. Газеты принесли сообщение о подписании Женевской конвенции, согласно которой Красный Крест мог облегчать страдания солдат во время войн. Говорилось о совершаемых солдатами Базена в Мексике жестокостях, которым тупые мамелюки (так называли поддакивающих обывателей) аплодировали. Поляки после подавления восстания бежали за границу, особенно во Францию, где студенты устраивали в их честь манифестации. Герцен проповедовал, что независимость Польши является первой задачей славянства. Европа совершила смертный грех, позволив Польше пасть. Франция, как считали, тем самым потеряла свой нравственный престиж. А в Лондоне в это время возникло Международное товарищество рабочих, созданное ученым и революционером Марксом, изгнанным из Берлина, Парижа и Брюсселя, оно объявило войну всем войнам вообще. Мир был неспокоен, полон негодования, он мечтал о заре справедливости.

Накануне нового, 1865 года Ярослав возобновил договор со своей прислугой еще на год и устроил ей праздник.

Иполита принимала поздравления, улыбалась, раздавала подарки, но к вечеру ее свежесть увяла.

— Почему ты заключил договор на такой длительный срок?

Ярослав понимал, что она с ним не согласна, даже если и не ополчается на него открыто.

— Здешняя жизнь пошла на пользу твоему здоровью. Материально мы обеспечены. Я мог бы наконец заняться большими работами и думать об их завершении. Где мы еще найдем такой счастливый уголок?

Она уставилась на пламя в камине, но огоньки, отражавшиеся в глазах, выдавали ее внутреннее недовольство. Лицо ее было усталым.

— Я должна думать о своих дочерях. Мария здесь огрубела, тебе не кажется? Амалии уже восемнадцать, и хоть она не жалуется, но наверняка чувствует себя здесь как в тюрьме...

— Ты не подумывала о другом решении? — Он допускал, что она права. — Отправить девочек в Париж.

— А кто будет о них заботиться? У Мили роман, разве ты не обратил внимание, что ее корреспонденция увеличилась..

— Я думал, это так, чтобы скоротать время.

— Ты ею не интересуешься, — бросила она резкий упрек. — Не понимаешь, что происходит в сердце восемнадцатилетней девушки.

От удивления он умолк.

— Я пытаюсь...

— В таком случае — пойми! — выкрикнула она нервно.

Помолчав, он попробовал начать с другой стороны.

— Ты не думала о том, что мы могли бы в корне изменить нашу жизнь? Считаешь, Галле и сегодня не дал бы согласия?..

Она посмотрела на него так, словно он говорил на каком-то непонятном языке.

— Его силы на исходе. Я не могу ухудшать его положение.

— Ты же не принимала за него решения. Каждый из нас сам выносит себе приговор.

— Не будь бессердечным.

Ярослав чувствовал себя как в пустоте.

— Он не одинок. У него есть слава, почет. Есть дочери.

Она подседа к нему и обняла за плечи.

— Ты думал, у тебя будет ребенок?

— Конечно, я хотел этого. Очень хотел.

— Я тоже об этом думала, — прошептала она. — Если б мы сделали семьей, нас было бы больше, но мы перестали бы существовать только друг для друга. А мы ведь хотели отдавать друг другу себя целиком. Разве не об этом мы прежде всего мечтали?

Он молча согласился.

— Здесь было прекрасно, — продолжала Иполита. — Но не считывал же ты, что мы останемся здесь до конца своих дней. Мы должны быть благодарны судьбе за этот год.

Хотя оба старались не наносить друг другу ран, их словно вдруг разделила свежая могила.

В последующие дни доброжелательность и деликатность уступили место нервозности. Пустяковые причины вызывали взрывы недовольства, удивлявшие обоих, но избежать их они не могли.

В вечерние часы Париж все чаще вторгался в их жизнь, чему никто уже не противился. Читались вслух газеты и письма, и это звучало словно песня о далеком счастье.

— Представь себе, Дюма, я говорю о молодом Дюма, женился наконец на своей русской любовнице, — сообщала Амалия матери. — А Вагнер, говорят, снова влюбился.

— Господин Бюшерон сообщает тебе всю любовную хронику. А о театрах ничего?

— Ну как же. Сумасшедший Дюма снова вывел на сцену какого-то врага женщин, и этот господин Рион, говорят, уже спустился с подмостков и как бы стал членом парижского общества.

— Это Бюшерон пишет? Он явно наблюдателен.

— А «Прекрасную Елену» мне хотелось бы увидеть, — мечтала Амалия.

Ярослав написал, чтоб ему выслали новые книги, и в один прекрасный день сделал сюрприз Иполите, преподнес перевод романа Толстого «Война и мир», Амалии — «Из пушки на Луну» Жюля Верна, а Марии — «Пять недель на воздушном шаре».

— У меня идея! Не хотелось бы тебе еще раз взглянуть на Прагу? — предложил он Иполите, чтобы как-то удержать ее. — Ты увидела бы совсем другую Прагу. Выходят чешские газеты, возникло много обществ, художники помогали учредить «Художественный клуб», чтобы принять участие в работе...

— А что они там делают?

Ярослав прочитал письмо Пинкаса, рассказывающего о праздновании трехсотлетия Шекспира.

— По улице шла процессия, состоящая из двухсот персонажей его пьес, Шуркине нарисовал эскизы...

— Разве тебя там ждут? — возражала она. — Ты говоришь, что твое предназначение — жить здесь...

Он процитировал ей слова Утраты из «Зимней сказки» Шекспира, которые она произносила в сцене празднества:

«На берег чужой извергнутое чадо,
под чужим возросшее светилом,
возвратилось сызнова в отчизну,
обретя там дружбу и любовь».

— Не собираешься же ты вернуться навсегда? — удивилась она.

— Это произвело на меня такое впечатление, словно меня позвали обратно. Неруда, говорят, искал меня в Париже. Я спрашиваю в письме Пинкасу, чего он хотел.

«Прости, что пишу по-французски, но некогда было искать слова, а черт знает, до чего я снова забыл свой дорогой язык...» — извинился перед ним Ярослав.

— Решай как хочешь, — пожала плечами Иполита. — Почему бы тебе и не съездить туда на какое-то время? Все равно мы не можем вернуться в Париж вместе. Мили это может повредить.

— Я сделаю что угодно, если это принесет ей пользу. Только я хотел бы, чтоб мы по-прежнему понимали друг друга. Помнишь, как мы с тобой улавливали даже невысказанные мысли...

— А теперь мы зашли так далеко, что угадываем даже неприятные мысли. И не можем вырваться из-под власти всемогущих обстоятельств...

— Ощущение счастья зависит от нашей внутренней способности к нему.

Она устало согласилась.

Когда на побережье вновь пришла весна, в дом в Мандалене тоже вернулось несколько светлых дней, свободных от неприязни, таких же ясных, как синее небо и море. Но бора вместе с ухудшением погоды приносил и размолвки. Ярослав после таких сцен уезжал и возвращался, когда, по его мнению, приступ раздражения утихал. Веселым словом он стремился перекинуть мостик через отчужденность.

— Я тебе такое приготовлю в этом году ко дню рождения, что ты удивишься, — обещал он.

— Неужели ты полагаешь, что в этом году я еще буду праздновать день рождения?

Приближалось сорокалетие Иполиты.

— Значит, ты выбрал Прагу?

— Нет, — неожиданно для нее ответил он, — я поеду к матери и сестре в Вену. Давно их не видел. Мария предлагает совместную поездку в Рим. Я все откладывал это итальянское путешествие. Вероятно, я для него созрел.

Он не скрывал горечи, но вместе с тем в его словах слышалось упрямство. Он ждал, что она начнет его отговаривать.

Однако Иполита сказала:

— Вот видишь, ты смог бы там работать...

— Да, Мария обещает оборудовать мне там ателье. Это лучше, чем мучиться в Париже. Тебе не будет недоставать меня?

— Мы оба знаем, что это необходимо.

Им нужно было друг от друга отдохнуть. После разлуки отношения их бывали гармоничны и прекрасны. Но спустя какое-то время неизменно выяснялось, что они принадлежат к разным мирам, и миры эти каждого из них притягивали.

Когда Ярослав вышел ночью в сад и остался один на один с горами и звездами над головой, он осознал, что до тех пор, пока оба они чувствовали себя как в заточении и вынуждены были употреблять все свое мужество и изворотливость, чтобы встречаться, в них пылала неукротимая страсть, вновь и вновь разжигаемая разлукой и одиночеством. Да, это и ко мне относится, признавал он. Я стискивал холодную решетку и не мог дождаться, когда вырвусь на свободу и увижу Иполиту, скажу ей хоть несколько слов, коснусь ее руки. Жизнь вместе с ней была недостижимой целью. Потом она превратилась в реальность. Человеческая страсть таит в себе противоядие, которое начинает действовать, как только мечта осуществляется. Правда, есть иные радости — счастье от присутствия любимого человека, каждодневное приветливое общение, пробуждение и отход ко сну, прелесть взаимной усталости, чувство безопасности, — цена которых в свою очередь становится ясной лишь в воспоминаниях, — красота повседневности, молчания, одиночества вдвоем... Если их чувствам суждено выжить и остаться столь же богатыми, быть может, снова необходимо на какое-то время очутиться за решеткой долга и светских правил... Большая любовь всегда бывает несчастной. Он верил, что Иполита, насытившись Парижем, тоже станет тосковать по свежему воздуху Далмации. И искать пути к возврату.

Когда майским утром Ярослав прощался с Иполитой в Дубровницком порту, он не был уверен, что это не навсегда. Столь глубоким казался ему их разлад. Но он не подал виду. Хлопотал о посадке на пароход, всем женщинам роздал на прощание подарки, Иполите принес букет цветов из сада. С ними уезжала и Кате Грбич, которую в деревне все равно уже называли «француженкой».

Церемония отплытия парохода напоминала похороны. Флаги, команды, шум волн — все казалось Ярославу безрадостным. Он чувствовал боль, но, поскольку к ней примешивались посторонние чувства, возникшие не по его вине, ему хотелось, чтоб эта боль поскорее прошла. В последний раз он поднял руку и помахал. Боль не утихала, но на помощь ей пришло освобождение.

Когда он вернулся в пустой дом, то почувствовал себя как на опустевшем поле боя. Он вспоминал, как готовил дом к приезду Иполиты. Великолепное было время. Над всем этим великолепием пронеслась буря. Нет, мысленно одернул он себя. Нельзя судить так строго. Победил он? Проиграл? В жизни не всегда сразу разберешь: то, что представляется выигрышем, завтра может обернуться проигрышем и наоборот.

Когда вечером он смотрел на плывущие над горизонтом освещенные облака и на синееющую гладь моря, ему казалось, что все это он видит впервые. Но красота всегда действует на нас сильнее, если мы теряем кого-нибудь.

На следующий день он принялся раздавать мебель и другие вещи, прожившие с ними почти два года. Священнику Бенсаму он подарил фисгармонию для его храма и портрет. Щедро вознаграждал Иво Грбича, который все еще помогал ему упаковывать полотна и рамы. Последней он закончил здесь картину с изображением черногорской комнаты, одной из тех, где он чувствовал себя так хорошо: в темной лачуге мать укладывала в люльку ребенка.

Чермак ожидал первого письма Иполиты, чтобы убедиться, что она благополучно доехала до Парижа. Письмо было написано в приподнятом тоне — парижская жизнь подействовала на нее как перебивающийся всеми цветами радуги прибой, и было видно, что она хочет уйти как можно дальше от Далмацкого побережья... «Представь себе, в «Робинзоне» поставили столики и скамейки на ветвях деревьев, и официанты лазают туда по лесенкам, — когда ты приедешь, мы обязательно найдем с тобой посмотреть... В первое же воскресенье я была с девочками, которые тосковали по лошадям, на скачках в Лоншапе. Там было так оживленно, что, вернувшись в город, люди ворвались в танцевальные залы Мабия, прогнали музыкантов и танцевали канкан... Северный вокзал уже готов. А ты читал в газетах, что этот сумасшедший журналист Рошфор вызвал на дуэль Морни? Так вот, наоборот, Морни вызвал Рошфора, потому что при знакомстве тот дерзко заявил ему: «Не в моем обыкновении знакомиться с убийцами...». Вообрази, таков уж Париж: любишь ты его или ненавидишь, он всегда ошеломляет...»

Сообщение о поединке его действительно взволновало. Это означало, что Париж высвобождается из императорской петли. Но он вменил себе в обязанность дисциплину. Иполита принадлежит обществу. А он по-прежнему принадлежит Черногории.

Он реже ездил в Дубровник, зато чаще бывал у жителей Мандалены и Сребрна. Они немного его побаивались, но понимали, что он приходит как друг, видели, что он чем-то опечален, были естественны и своеобразны. Не раз он осознал, что, стремясь служить Иполите, слишком редко посещал их. Все его чувства были с ней. Он делал наброски и рисовал южнославянских мужчин и женщин, но не имел возможности стать их настоящим другом. Теперь он упрекал себя за это и в поисках утешения вспоминал о днях, проведенных в Черногории.

Во время одной из прогулок он увидел своего белого коня, тащившего телегу, наполненную камнями.

— Фране, — окликнул он возницу, — это ваш конь?

— Мне его уступил Кишич.

— Но я продал его Кишичу лишь при условии, что он не будет таскать тяжелую поклажу. Он поранился, каждый шаг причиняет ему страшную боль.

— Мне эта лошадь нужна, — испугался возница.

— Неужели вы не видите, как она страдает? Все равно она у вас погибнет. Она больна. Вы только мучаете ее. Такое великолепное животное не заслужило подобного конца.

— На то уж она лошадь.

— Вздор. Я добавлю вам двадцать золотых к той сумме, которую вы за нее заплатили. Идет?

Черногорцы стреляют из ружей при расставании. Ярослав вывел своего белого коня на последнюю прогулку в горы. Простился с ним тоже выстрелом.

ВЕЧНЫЙ ГОРОД

Ярослав Чермак не жалел, что остановился в Вене. Он приехал как раз в конце мая 1865 года, в те дни, когда готовилось заседание «Славянского клуба» с участием видных гостей из Праги. Здесь он встретился с Палацким и Пуркине и был обрадован, что его, без малейших сомнений, причисляют к большой чешской семье. У Чарторыхских, ведущих свое происхождение от Ягеллонов, его тоже приняли радушно, как в родном доме. Мать показала заботливо приведенные в порядок его первые рисунки и опыты живописи. Разговаривая о них, он сделал ее портрет. Ежи Чарторыхский вместе с братом Константином закончил издание десятого и последнего годового комплекта журнала «*Rezensionen und Mitteilungen über Theater und Musik*» *. Отныне он собирался посвятить себя управлению полученными в наследство имениями в Галиции, но Ярослава радовало, что он стремится улучшить положение деревенских жителей. Впрочем, это послужило причиной того, что их семья была удалена от двора.

— Истинная причина во мне, — твердила Мария. — Ты даже не представляешь, как не по нутру была императору Францу Иосифу наша свадьба с Ежи.

— Что его не устраивало?

— Я не из дворянского рода. Венский двор не терпит подобных мезальянсов. И за то, что Ежи пренебрег предупреждением императора, он должен страдать.

— А того, что ты из рода Жижки, для императора недостаточно? — откликнулась мать.

В начале июня брат и сестра отправились в Италию. Великолепные пейзажи Доломитовых Альп — серые скалы над зелеными гор-

* «Рецензии и сообщения о театре и музыке» (нем.).

ными потоками — рассеяли усталость, вызванную путешествием по жаре. Несколько дней, проведенных в Венеции, были посвящены прежде всего художественным галереям и древним памятникам.

А потом уж настал черед Рима, папской резиденции, находящейся под протекторатом Луи Наполеона; французские офицеры и итальянские священники и монахи своеобразно оживляли выжженные солнцем улицы. Город был шумный, отовсюду доносились крики, по мостовой громыхали наемные двухколесные экипажи, на тротуарах — масса торговцев; было облегчением увидеть уголок парка, где отцветали яркие рододендроны.

— Мне нужно привести в порядок квартиру, — сказала Мария. — Ты, наверное, с удовольствием повидаешься с товарищами, которым писал. А если захочешь, можем потом вместе посетить картинные галереи. Мне будет приятно пойти туда с тобой.

Пражские художники узнали о приезде Чермака и сами стремились его разыскать. Он охотно посещал их ателье. Молодой Людвик Шимек изучал здесь древнехристианские скульптуры и работал над рельефами для бронзовых дверей карлинского храма по эскизам Манеса и для часовни Ланны на Ольшанах. Франтишек Секвенс, хоть и прошел обучение в Антверпене, посвятил себя исключительно церковной живописи и охотно поддавался влиянию дорафаэлевских художников. Больше всего Ярослава обрадовала встреча со скульптором Вацлавом Левым, самым старшим и самым скромным из всех. Рим для Левого после двенадцатилетнего пребывания здесь стал второй родиной.

— Его сам Пий IX похвалил, — сообщил Петр Майкснер, соученик Ярослава по академии; в сорок восьмом году он тоже рисовал знамена для национальной гвардии, а несколько лет назад навестил Ярослава в Париже.

— Папа сожалел, что я из страны еретиков, — расплылось в широкой улыбке багровое лицо Левого, на котором блестели крупинки мрамора и гипса.

— Молчи, ты в мире мадонн и святых как дома, — отмахивался от него Майкснер. — Ярославу это римское столпотворение будет мешать, он привык к свободе Адриатического моря.

— Что ты мне посоветуешь? С чего начать?

— Постарайся как можно быстрее избавиться от римского шока. Пробегись по галереям, сделай две-три копии, и успокойся.

В Ярославе появилась какая-то жесткость и даже неприязнь, которую он не скрывал от Марии, когда они впервые отправились по картинным галереям.

— Я намерен защищаться от Рима.

Марию забавляла подобная фехтовальная позиция. Из девочки, некогда преданно взиравшей на искусство брата, она превратилась

в чуткого, понимающего друга. Со снисходительной улыбкой воспринимала она капризы Ярослава, а за пять лет жизни с Чарторыским приобрела также немало теоретических познаний в изобразительном искусстве.

— Думаешь, ты ни из чего тут не сможешь извлечь урок?

— Я не хочу отказываться от найденного мною пути. Делакруа никогда не был в Риме. Верне говорил, что семь дней на Востоке дали ему больше, чем семь лет в Риме. Самые знаменитые коллекции не могут породить художественного произведения.

— Согласна. Но прочитай «Рома» наоборот — получится «Амор». А если ты во что-нибудь влюбишься?.. Это путь всех Чермаков.

— Ты права, — сказал он ее руку, — любовь для нас — жертва.

Они вместе посетили Колизей; посреди арены, где перед глазами как бы сама собой возникала картина жестоких игр и казней ради языческого наслаждения, остались руины — следы и ступени Голгофы. Форум Романум, место торжественных речей и исторических убийств, был покрыт толстым слоем земли и мусора. История пап повсюду переплеталась с историями императоров. На Кампо дей Фьори было обозначено место, где Клемент VIII приказал сжечь Джордано Бруно за то, что тот осмелился думать честно, а в гробнице Адриана, превращенной церковью в тюрьму, находилась камера, где тот же папа приказал убить Беатриче Ченчи. На постаменте бывшего памятника Марку Аврелию на Пьяцца Колона, словно незванный и застенчивый чужестранец, стоял святой Павел. Лишь Пантеон, построенный задолго до рождения Христа, сохранил свое отверстие в потолке, напоминающее око, устремленное в небо, однако все, что там было сделано из металла, папа приказал перелить в орудия.

— Ежи когда-то водил меня по Риму, как я тебя, — сказала Мария. — Каждый камень рассказывает здесь не только о времени, когда он был поставлен, но и о тех временах, которые пронесли над ним позже. На этом большом пальце, — показала она ему в храме фигуру святого Петра, — запечатлены поцелуи Моцарта и Гете.

На площади перед собором святого Петра, где над микеланджеловским куполом все еще трудились рабочие, днем и ночью толпились паломники со всего света.

Ярослав с Марией посетили также пирамиду Цестия и могилы добровольцев Гарибальди возле базилики Сан Лоренцо. Потом они выехали на Виа Аппиа, старую каменную дорогу, вдоль которой высились руины вилл и надгробных памятников. Дальше виднелись красные арки водопровода Клавдия, а за ними уже простиралась унылая равнина и на ее горизонте виднелись Альбанские горы с белыми поселениями на склонах.

— Это, должно быть, истинная картина Рима и его окрестностей.

— Ты не признаешь античности?

— Ну разумеется, признаю. Только я не думаю, чтобы ее холодный голос подсказал мне какую-нибудь животрепещущую тему.

— В Риме мне чудится, будто на современность здесь непрестанно набегают каменные волны прошлого...

— Я свободнее могу отдаться впечатлениям, — рассуждала Мария, — поскольку меня это ни к чему не обязывает. А ты боишься потратить на них силы, которые хочешь сберечь для Черногории.

Ярослав соглашался с ней, чувствуя, что остается глух к станцам Рафаэля и росписям Микеланджело в Сикстинской капелле, где в полумраке густого дыма камильниц громко молились слепые о возвращении зрения.

— Видишь, они верят, — сказала Мария, — что бог сотворит чудо, чтобы они могли увидеть роспись Микеланджело.

— Я, вероятно, отравлен ядом современной живописи и все это воспринимаю как музей. В Венеции я был восхищен Веронезе и Тинторетто. Пытался понять их художественное мышление. Я уважаю этих великих художников, глубоко уважаю их, можешь мне поверить... Но я думаю о чем-то ином, о том, что меня привлекает...

Когда виртуозная игра света в «Любви земной и небесной» Тициана во дворце Боргезе заставила его остановиться, он преодолел сматание и решил сделать копию.

— Тем самым ты отдашь должное Риму, — согласилась Мария. — А я пока велю перевезти твои вещи в ателье.

Она нашла ему просторное, светлое помещение на Виа делла Пурификационе, где он мог и жить, перевезла туда папки с этюдами, купила, по его просьбе, полотна, краски, лаки, воск.

— Ты, вероятно, ждешь, что я буду систематически работать и создам крупные произведения, — удивился он подобному богатству и тому порядку, в котором все это было разложено.

— Да, жду и довольно давно. — Княгиня Чарторыская превратилась в маленькую Марию с замороженным взглядом и дрожащими губами. Она открыла папки и позвала брата: — Прощу подробных объяснений.

Он говорил ей о людях, изображения которых показывал, о жизни в Мандалене и, не отдавая себе отчета, упомянул о присутствии там Иполиты. Но разом осекся и прервал воспоминания.

— Могу себе представить, — положила она ладонь на его руку. — Наверное, нелегко тебе дается избранный образ жизни...

— Мама на меня очень за это сердится, да?

— Ей и в голову не придет, что ее дети могут поступать иначе, чем им подсказывает долг. Она не позволит себе упрекнуть ни одного из нас в каком бы то ни было легкомыслии.

— Меня огорчало, что она, должно быть, страдает.

— Она лишь беспокоилась о том, какая ответственность на тебе лежит.

Ярослав рассказал Марии, как они расстались с Иполитой.

— Легче ли тебе стало? Ты знаешь, я спрашиваю не из любопытства, просто я принимаю близко к сердцу твою жизнь...

— Сначала мне казалось, что я на время освободился от тяжелой миссии. Теперь кажется, что мне не хватает Иполиты. Теперь я хотел бы видеть ее здесь, рядом.

— А как она? Думаешь, она испытывает то же?

Ярослав пожал плечами. Письма Иполиты все еще были полны горделивого возбуждения от того, что она вновь живет в столице, и гордостью за то, что может засыпать Ярослава новостями, словно бы желая доказать ему, что и впрямь только Париж — истинная арена мировых событий. «Вчера я встретила Дюма, он превратился в седовласого великана... Бодлер выставил свою кандидатуру в Академию и, словно проситель, наносит унижительные визиты... Умер граф Морни, на улицах во время его похорон кричали «бис!». Париж все больше ненавидит императора, публика освистала пьесу Гонкуров лишь потому, что в ней играла какая-то фаворитка Наполеона...».

— Пройдет какое-то время, и великосветское общество ей, как всегда, наскучит...

— Начни работать, — посоветовала Мария брату, — это принесет тебе удовлетворение. Что бы тебе больше всего хотелось делать?

Он показал ей набросок картины: башибузуки, ведущие девушек из Герцеговины на адрианопольский рынок, остановились на отдых.

— Кто эта красивая женщина со связанными руками?

— У нее лицо княгини Елены.

— А та, с опущенной головой?

— Обожди, как же ее звали? Кате Ключкович из Мандалены. Связанные женщины — замужние, остальные — не замужем... это видно по прическе и одежде...

— А откуда ты взял этих албанцев?

— Вот это — Грбич, это — садовник Савинкович, пришлось прибегнуть к их помощи.

— Это, безусловно, будет прекрасная картина. Ее ждет успех — как твое «Похищение», — вспомнила она картину, которая, как ей было известно, получила в Брюсселе орден короля Леопольда, а на выставке в Руане — золотую медаль. — Куда ты ее продал?

— Картина отправилась в Берлин. Но, по просьбе одного англичанина, я воспроизвел сюжет еще раз, на дереве, и эта копия будет, очевидно, в Лондоне.

— Можно мне заходить к тебе? Или исчезнуть с твоего горизонта?

— Приходи как можно чаще, — попросил он, — это будет меня обязывать, чтоб ты во мне не разочаровалась.

— Хорошо, — сказала Мария. — Не надо меня сегодня прово-

жать. Оставайся со своими герцеговинками. Наверняка тебе есть о чем с ними поговорить.

Постепенно он перестал ощущать себя в Риме гостем и сделался его жителем. Спало напряжение, которое Ярослав испытывал при встрече с памятниками славы или неправосудия. Он вдыхал современность.

Выходя по утрам на остывающие за ночь улицы, Чермак чувствовал себя римлянином, беспечным и ошеломленным. По мостовой громыхали тележки с овощами. Нищие, позвякивая жестяными жетонами с номерами, брели к храмам. Он видел, как одни женщины несут на головах корзины, а другие, полуодетые, выглядывают из окон. Позавтракав с несколькими художниками в трактирии «У геция» на улице Де две Мечелли, Ярослав возвращался в ателье. Там, на улице Корсо, затерявшейся среди дворцов в пахнущей сыростью тени, было полно священников. Одни были толстые, с тупыми лицами, другие кокетничали с женщинами, словно фаты, в толпе пробирались монахи и монашенки, и вся улица оборачивалась вслед проезжающей карете, где под пурпурным зонтом сидел кардинал.

Потом наступали часы работы, напряжения, неуверенности — и все же они приносили удовлетворение. Среди римлян разных эпох Ярослав чувствовал себя как на островке, где все принадлежит только ему — волнение, боль, решимость. Почему он должен подчинять себя в Риме чужим образцам? Пусть Рим утопает в искусстве итальянцев всех столетий! Он оставался близок героям Черногории, знал их беды, их верную «посестрину» * Боль; мог себе представить, о чем думали женщины, когда их, связанных, униженных и усталых, тащили на продажу, словно скот.

Выстрел из замка Ангела, знаменовавший полдень, почти всегда заставлял его врасплох. Колокола начинали громкий перезвон. Обычно он решал еще немного поработать, а когда снова выглядывал в окно, то видел, что официанты в кафе уже опять дремлют. Приходилось и ему, как всем остальным, отступить перед изнуряющим солнцем. Он отдыхал, но потом уже работал до самого вечера, когда вновь, как добропорядочный римлянин, покидал дом и шел подышать воздухом.

Сначала он ходил пешком; позже, когда у него появилось больше знакомых среди французских офицеров, он в легкой коляске, в которую был впряжен белый конь, оставшийся от цетинской пары, ездил так же, как и они, на Монте Пинчио. Вдыхал ароматы жареного мяса и сыров из остерий, проходил мимо влюбленных и супружеских пар по дорожкам парка, заменившего в Риме Тюильри. На террасе за чашкой кофе слушал военную музыку, смотрел на бывший город консулов и трибунов, город тысячи храмов...

* Названная сестра (серб.-хорв.).

Французов в ту пору в Риме было много, поскольку Луи Наполеон держал там для защиты папы мощный гарнизон. Ярослав встретился здесь с графом де Буаденем, а тот познакомил его со своим другом пехотным капитаном Клементом Тори, за плечами которого был поход в Африку. Ярослав полюбил его за мужество, откровенность и зоркий критический взгляд.

— Италия разделилась любопытным образом, который историкам трудно будет описать, — говорил он. — Мужчины нас презирают. Они правы. Женщин мы привлекаем. Вы, вероятно, уже почувствовали это, не так ли? Вы определенно должны нравиться итальянкам.

Четвертым к их вечерним прогулкам присоединялся иной раз капитан Шарлемань, прибывший с новым военным отрядом из Парижа. Он знал толк в радостях жизни, а искусство признавал лишь постольку, поскольку оно может гарантировать состояние. Зато он был точно осведомлен о закулисной стороне жизни художников и охотно этим хвастал.

— Понимаете, господа! Этот Манэ специализировался на скандалах в Салонах, но у него всего одна натурщица. Теперь это выяснилось.

— Что в этом году выставил Манэ?

— Да ведь я о том и говорю: обнаженная девица, которая нахально смотрит на вас. У нее, вот так, извините, лежит рука, сзади негритянка с цветами, называется картина «Олимпия», но это просто вызывает возмущение.

— Чем же, объясните, пожалуйста.

— Понятия не имею. Тем, как это нарисовано. Белое тело на белом фоне. Наверно, она только что вылезла из ванны. Императрица Евгения дала этой картине пощечину веером, и ее пришлось убрать в угол.

— Обнаженных тел на выставке, вероятно, было много?

— Сколько угодно. «Венеру» Кабанеля купил император да еще приколол ему орден Почетного легиона.

— Настоящему искусству пришел конец, — сказал граф де Буаденемец.

Для бретонского дворянина истинное искусство кончалось Рафаэлем; он мог с умилением рассказывать, как ненавидели Рафаэля все приверженцы Микеланджело, но сам Рафаэль не знал ни зависти, ни ненависти.

— Юлий II был великий папа. Как только он увидел его станцы, он приказал уничтожить произведения всех старых мастеров и заказал ему новые фрески. Большое несчастье, что Рафаэль умер таким молодым. Понимаете, насколько больше могло бы быть красоты в мире? Разве я не прав, господин Чермак?

Ярослав охотно слушал их споры и резкие суждения.

— Меня удивляет, что вы можете так восхищаться Рафаэлем — и не находите ни капли снисхождения для сегодняшних художников.

— Господин де Буаденемец прав, — согласился с ним Шарлемань. — Прежде под словами «большой художник» подразумевали какого-нибудь Рафаэля. А нынче? Кого имеют в виду, говоря «художник»? Своего портного. Шляпника. Повара.

Мало-помалу Ярослав написал портреты всех своих парижских друзей, и благодаря беседам в ателье их отношения еще больше окрепли. Шарлемань привел к Ярославу своего брата — генерала, приехавшего в Рим в отпуск. Тот, напротив, интересовался современным искусством, и оба брата часто спорили в ателье Чермака.

— Значит, ты хочешь, чтобы художники шлялись по лесам или валялись на нормандских пляжах? Зачем? Природу я вижу и сам, мне от них не это нужно. Ателье — вот истинная художественная кухня. Приличный художник должен уметь все состряпать в своем ателье.

— Но нас эта изменчивая природа привлекает, — присоединился к генералу Ярослав, — она предлагает нам нелегкие задачи...

— Пожалуйста, но я не позволю отнять у меня тайну ателье. Не чудятся ли тебе здесь по всем углам, — повернулся капитан Шарлемань к брату, — обнаженные натурщицы, груди, колени?.. Вы, художники, сумели устроиться, вам все прощают.

— Какой-нибудь Жером или Кабанель, возможно, и удовлетворили бы вас. У меня вас ожидает разочарование.

— Не верю. Стоит нам уйти, как вон из того наряда выскочит обнаженная черногорка.

Ярослав любил споры с обоими военными, его забавляли их теории, иной раз грубые, но всегда искренние.

— И вы не можете отрицать, — говорил генерал Шарлемань, — что истинная суть живописи — чувственность.

— До известной степени.

— До какой? Разве вы не любите вот ту порабощенную женщину, когда ее рисуете? Разве вам не жаль ее прекрасного тела, разве вы не восторгаетесь? Разве так же ненавидели бы вы ее убийц, не будь она столь желанна? Тут я с вами поспорю.

— Я же не отрицаю.

Когда в каком-нибудь соборе был храмовый праздник, к нему направлялись длинные процессии с фонарями на шестах. Красивые девушки с венками на голове поднимались по лестницам. У детей на спинах были прикреплены крылья. Итальянский темперамент придавал всему характер любовного помешательства. Женщины покупали деве Марии до сотни свечей и дарили синие ленты; черные предназначались святой Анне, красные, символ самой большой страсти, — Христу.

— Разве я не прав? Разве любовь к богу не носит здесь столь же неистовый характер?

Когда Мария вернулась в Вену, Ярослав остался совсем один. Иногда он посещал своего старшего друга Робер-Флэри, возглавившего теперь римскую академию. Здесь жил и его сын Тони, который был на четыре года моложе Ярослава и живо интересовался борьбой европейских народов против деспотии. Особенно полюбил он поляков, искавших убежища во Франции и Италии, — его трогала их горькая участь, и он готовился к работе над большим полотном, которому дал название «Варшава 8 апреля 1861 года». В тот день на варшавской площади было казнено несколько тысяч патриотов. Ярослав разделял симпатии Тони, однако в черногорцах его привлекало то, что они были победителями.

Голос человека, которого он уважал, — голос Яна Неруды, написавшего рецензию о трех его портретах, выставленных в Староместской ратуше, придал ему силы. Неруда вспомнил «Похищение», которое уже видел раньше в Клементинуме, и картины, известные Праге хотя бы по фотографиям, и написал, что «это главы о титанических муках славянства, переданные сильными, трогательными красками». Портреты, увиденные им два года назад в парижском Салоне, похвалил за «свежесть художественного воплощения и интересный подбор типов... Кто в Чехии останется равнодушен к портрету героя Мирко, о котором мы не так давно изо дня в день читали сообщения, ставившие его в один ряд с древними славянскими героями былых времен...». Неруда подтвердил «полную самостоятельность ученика Галле» и написал, что среди чешских художников он «самый ведущий и самый крупный».

Этот привет с далекой родины долго жил в душе Ярослава. В остальном он чувствовал себя в Риме все более одиноким. Офицеры нашли себе любовниц и часто приносили извинения, что не могут встретиться. Осень рождала волнение в крови. Женщины ходили по улицам все более вызывающе.

Вечера Ярослава были исполнены тревоги. Он вспоминал Иполиту, понимая, что ее присутствие решило бы все проблемы. Но ведь говорят, что ничто так не излечивает боль разлуки, как новые объятия.

На лестнице, спускающейся к площади Испании, художники занимали натурщиц. Ярослав нашел там тип женщины, нужный ему для очередной фигуры в «Военных трофеях». Это была итальянка с юга, черты лица ее нельзя было назвать тонкими: густые брови, жесткие губы, хищный взгляд. Анжела быстро освоилась в ателье. На следующее утро она пришла, чтобы прибраться, в полдень приготовила обед, как будто это само собой разумелось; она любила выпить и знала калабрийские песни; Ярослава волновал ее неуступчивый, почти враждебный взгляд. Этот взгляд не изменился и после

того, как она стала его любовницей, словно опыт общения с мужчинами наполнил ее душу презрением и нежеланием налагать на себя ярмо привязанностей.

Успокоенный и повеселевший, Ярослав отыскал в поэме Пфлегера-Моравского пассаж, где герой рассказывает о своей любви к женщине, встреченной им во Флоренции. Это была итальянка.

«...И вот нашел, чего искал всегда я:
частицу сердца, для души — покой.
Все, что предчувствовал, судьба благая
мне даровала щедрою рукой,
чтоб идеал красы блистал, не увядая.
Так я обрел дремавшую в глубинах
как бы свою вторую половину...».

Конечно, ни о чем подобном речи и не было.

Когда они пришли к безмолвному соглашению, что их близость всегда будет носить временный характер, напряженность исчезла и они могли встречаться как добрые знакомые, которых время от времени охватывает приступ страсти. Ярослав был внимателен, отнесился к Анжеле как к даме, дарил ей цветы, был весел, цел вместе с ней.

— Как продвигается ваша работа? — спросил его однажды вечером на Пинчио капитан Тори. — Я иной раз с удовольствием пришел бы посмотреть, да не хочется вам мешать.

Когда Ярослав удивленно взглянул на него, он засмеялся:

— Мужчина в пору страстной любви всегда обращает на себя внимание.

— Вы правы лишь отчасти, капитан. Быть может, иной раз я поддаюсь страсти. Но присоединить к ней любовь не могу.

В коляске, запряженной парой вороных, мимо них проехала красивая женщина в большой соломенной шляпе на волосах цвета воронова крыла. Ярослава заинтересовало ее замкнутое, спокойное лицо. Эта женщина была не из тех, кто делает ставку лишь на проходящую красоту. У нее был свой внутренний мир, и она могла оставаться одна. Незнакомка напоминала ему героинь его собственных картин. Напоминала его самого. Поскольку экипаж вынужден был остановиться, он смог внимательно рассмотреть ее лицо. Ее рот хранил выражение нетерпеливого любопытства, словно она постоянно чего-то ожидала: не внимания посторонних, а собственных впечатлений, новых переживаний, какой-то неожиданной вести.

— Что вы о ней скажете?

— Мне хотелось бы услышать ее голос. Гармонирует ли он с этими устами.

— Вдова капитана Рамполди. Он героически погиб со своим кораб-

лем. Удивительно, что он не спасся малодушно — хотя бы ради этого лица.

— А она?

— Я не слышал о ней ничего дурного. Досадно, а?

— Нет, я ведь на нее не претендую.

Возвращаясь домой, Ярослав вспоминал эту красивую женщину. Чувствуя себя предателем, он с нежной любовью подумал об Иполите и об их совместной жизни.

Желаем мы того или не желаем, думал Ярослав, поднимаясь вверх по ступенькам, жизнь гораздо сложнее, чем нам хотелось бы. Мы более слабые и грешные создания, чем нам самим кажется.

Войдя в ателье, он зажег лампу и поднял ее, чтобы взглянуть в лицо пленным черногоркам; они были подавлены горем, но преисполнены достоинства.

С признательностью вспоминал он черногорскую осень. Он не просто перенес на свои полотна цвета их национальных костюмов, но и глубоко привязался к тем, кто их носит. Быть может, они о нем уже не вспоминают, но в его душе они живут так же, как в ту пору, когда он с ними познакомился. Будь тут его друг Пинкас, пожалуй, взглянув на полотно, он в своей обычной дружеской и веселой манере указал бы ему на то, что его живописи следует быть более дикой, более непосредственной... Красками Ярослав умел выразить свою увлеченность, восторженность, радость чувственных переживаний. Но как высказать то, что у него на сердце? Он хотел говорить об угнетении, о страдании, о жажде свободы. Хотел создать драму. А это требовало стиля.

Зима повергла Ярослава в уныние. Свист дударей с Абруцких гор, разносившийся по улицам, волновал его.

Но неожиданно где-то в верховьях горных ручьев растаял снег, и мутный Тибр стремительно понесся меж берегов. Когда внезапно налетела буря, потоки воды разлились по улицам. Колокол на Капитолии, обычно звучащий лишь в связи со смертью и выборами пап, ознаменовал начало карнавала. Отовсюду доносилась музыка. По улицам двигались группы ряженных, сквозь них кое-где пробирались процессии монахов со свечами да калеки стучали костылями по мостовой, как на рисунках Тома, которые Чермак так любил.

Он возвращался домой, осыпанный конфетти и мукой, со следами поцелуев на лице, чувствуя себя все более одиноким.

Ему не работалось. На него нашло знакомое состояние неуверенности, когда он не знал, как быть дальше. Он отложил «Военные трофеи» и принялся за сцену в гареме, где хотел дать более живую игру красок, воспеть женскую красоту, нежность кожи, блеск очей.

Через две недели ему это прискучило и он вернулся к сценам из времен войны: возобновил работу над картиной, изображавшей свидание черногорки со стражем в горах.

Ему все более не хватало Иполиты. В Мандалене он иной раз ловил себя на мысли, что желание создать гармоничную совместную жизнь отвлекает его от работы. Теперь он сознавал, что лишается покоя, когда долго нет известий об Иполите, когда ее письма запаздывали или были написаны наспех. В последнем она сообщала, что новая картина Галле, «Чума в Турне», вновь имела успех, как в пору его славы.

Теперь, на расстоянии, Ярослав считал невысказанным оставить когда-либо Иполиту. Не верил, что и она могла желать чего-либо подобного. Но если такой союз — их судьба и если им не удастся жить вместе, значит, он должен сделать все, чтобы они были вместе как можно чаще, чтобы предавались хотя бы иллюзии брака, чтобы не упустили ни дня.

Он настойчиво перебирал в памяти новости из Праги. Пинкас писал, что уже готовится к возвращению домой и собирается построить себе своеобразное сельское жилище в Чертовой ложбине у Сазавы. Они с Нерудой водили по Градчанам молодого историка Луи Леже, первого после Барранда француза, выучившего чешский язык. Пинкас намерен был посвятить себя налаживанию чешско-французских связей и словно забыл о палитре.

Неожиданно политическая ситуация на севере осложнилась. Австрия вновь продемонстрировала слепую консервативность своей политики, делая отчаянные попытки удержать председательское место в союзе немецких государств, после чего Франц Иосиф безрассудно объявил Пруссии войну. Умный Бисмарк ничего иного и не желал; Россия чувствовала себя обязанной ему, поскольку в период польского восстания он принимал жестокие меры по отношению к бежавшим революционерам; помощь Франции с Италией была также гарантирована, поскольку Бисмарк обещал Виктору Эммануилу вернуть объединенной Италии Венецию, остававшуюся австрийской. Чехи были поставлены перед фактом, что их земля станет полем битвы немцев против немцев.

Сестра Мария в письмах настойчиво и категорически советовала Ярославу оставаться в Риме. В Вене или Праге его ожидает призыв в армию, и нет уверенности, что ему удастся избежать военной службы, потому что властям было известно о его участии в черногорской войне. Почему чехи должны вмешиваться в спор, в котором Габсбурги сводят счеты с пруссаками? И его полотно в силу какой-нибудь несчастной случайности во время войны могут быть уничтожены. Ярослав согласился с советом Марии, но, когда начали поступать сообщения о первых столкновениях, его волнение стало возрастать. Газеты приносили описания кровавых битв у Находа, у Хлумца, у Градца. Бездарность военачальников и устаревшее вооружение, по утверждению корреспондентов, являлись причиной жестоких потерь, понесенных австрийской армией, и ее поражений.

В начале июля поступило сообщение об осаде Праги. Как город ее выдержит? Как там друзья и знакомые? Что будет с циферблатом Манеса для курантов?

Но оказалось, чехи сумели воспользоваться тем, что австрийский ошейник ослаб. Немецкие солдаты посещали театр и аплодировали опере «Бранденбургцы в Чехии», увидели наконец свет ramпы и долгое время запрещавшиеся пьесы Тыла о Гусе и Жижке.

Хотя австрийцам удалось одержать победу над итальянцами под Кустоцой, но и над Венецией взвился красно-бело-зеленый флаг новой Италии. Рим ликовал. Ослабление Австрии может пойти Чехии только на пользу, размышлял Ярослав. Однако за Австрию в принудительном порядке вынуждены были воевать и чешские полки, а победы и поражения означали множество могил чешских солдат, пригнанных на поле брани насильно.

Вынужденный в течение нескольких месяцев оставаться в Риме, Ярослав ощущал потребность изменить обстановку и вдохнуть новую весну. Тита Ливия он сменил на Стендаля, удивлялся остроте его взглядов и шел по его стопам. Отыскал новое ателье на Виа Кордотти и объявил Анжеле, что они должны расстаться.

Вопреки ожиданиям это прошло не так просто. Анжела разразилась рыданиями, опустила перед ним на пол, спрятав лицо в его коленях.

— Кто узнает любовь, того бог накажет, — всхлипывала она. — От этого не убежишь, как ни старайся.

Ярослав пытался ее утешить, говоря, что разлука была неизбежна, ей следовало это понимать. Он не обращал внимания на горечь ее слез. Чувствовал, как мало могут они сказать друг другу. Несмотря на пережитые с ней минуты страсти, она осталась ему чужой.

В поисках новых живописных мотивов он выезжал в Кампанию и писал с натуры небольшие пейзажи, давая в них свободу краскам. Послав их Гупилю в Париж, вскоре получил ответ, что они тут же были проданы, пусть, мол, присылает еще.

Капитан Тори весной вновь приехал в Рим.

— Ну, что думает Париж о новой ситуации? Рад был Луи Наполеон прусской победе? — расспрашивал Чермак.

— Он здорово просчитался. Думал, если он откажет Австрии в помощи, пруссаки отдадут ему Бельгию. Но те над ним надсмеялись. Его звезда закатывается. Наполеон, конечно, не понимает, что чувствует каждый думающий француз. И что Дюма написал открыто.

— Что он написал?

— Что теперь Пруссия сделалась естественным врагом Франции.

— Хотел бы я вернуться, — сказал Ярослав. — Мне здесь становится очень тревожно.

Написал он об этом и Иполите: что прошел год, что в Прагу он поехать не может и хотел бы вернуться в Париж.

Она ответила, что Амалия в ближайшую неделю выходит замуж и наступит покой... Да, писала она, мы уже слишком долго жили в разлуке. Мы достаточно намучились и, пожалуй, могли бы вновь найти не столь каменистый путь...

Ярослав энергично начал готовиться к отъезду.

— Рим может успокоить лишь на время, — понимал его граф де Буаденец. — В Париже по крайней мере можно хоть какое-то время жить. Конечно, тоже недолго.

— Разве найдешь в мире место, где бы всегда было хорошо? Такого, наверное, не существует.

— Как это — не существует? У нас в Бретани. Это моя магнитная гора. Не ездите туда, дружище, или вам придется не раз туда возвращаться, а если это окажется невозможным, вы изведетесь.

Чермак засмеялся его восторженности.

— В Бретани я познакомился только с Роскофом, с дорогой туда и частью побережья. Но вы правы. Я не раз вспоминал утесы во время прибоев, затерянные островки, таинственные скалы, память которых насчитывает тысячелетия...

— Бретань — земля таинственная. Каждая пядь таит там какую-то загадку. Я отказался от намерения когда-либо разгадать ее, смирился с тем, что в ней навсегда останется нечто недоговоренное...

Они медленно шли по Монте Пинчио. Было еще не поздно. Позади них затихали звуки марша военного оркестра. Купола храмов блестели в красном заходящем солнце. И вдруг раздался глухой выстрел и над крышами стремительно взлетел сверкающий фейерверк, с треском рассыпаясь серебряными звездами.

Лошади стоящих поблизости экипажей беспокойно вздыбились. Послышался испуганный крик. Оба вздрогнули. Со стороны площади бешено мчалась упряжка вороных, которые, испугавшись выстрелов, понесли.

Ярослав осмотрелся и выбежал на середину улицы.

— Не сходите с ума! — крикнул ему Буаденец.

Ярослав дождался несущейся упряжки, с минуту бежал рядом с коляской, а потом повис на узде левого коня. Кони пробежали еще несколько шагов, остановились и взвились на дыбы. Ярослав держал поводья и успокаивал лошадей.

Но, подбежав к нему, Буаденец увидел, что одежда его порвана: часть пути лошади проволокли его по мостовой. Несколько ссадин кровоточило. Когда Буаденец хотел его поддержать, Ярослав упал ему на руки. Лицо его свела гримаса боли. Он тяжело дышал. Сделал попытку идти, но ноги подкашивались.

Он оглянулся на коляску, принадлежавшую госпоже Рамполди. Однако ее там не оказалось. В ту минуту, когда лошади понесли, в ней спала горничная, которая теперь, смертельно бледная, выскочила на мостовую. Со стороны парка бежал перепуганный кучер.

— Вы не одолжите мне экипаж? — спросил Буаденец. — Я должен отвезти друга в больницу.

Кучер согласился. Горничная стояла у стены дома на коленях и плакала.

Ярослав отказывался от забот Буаденеца и просил, чтобы тот отвел его в ателье. Однако бретонец настаивал, что его необходимо осмотреть врачу.

В больнице Ярославу оказали первую помощь. Обнаружили и причину резких болей — это была грыжа.

— Рекомендую немедленное лечение, — сказал графу врач. — Иначе может кончиться очень плохо. Лучше бы вашему другу остаться здесь.

Боли унижали Ярослава, перспектива длительного лечения удручала, но он подчинился.

— Я должен вернуться во Францию здоровым, — убеждал он себя.

В Риме вновь царило жаркое лето, но Ярослав вдыхал его через окно больничной палаты, позже — в больничном саду. Когда его наконец выпустили, он долго мог работать только сидя. Осознав, сколь хрупки человеческое здоровье и силы, он с новой энергией принялся за картину «Раненый черногорец». Вечерами снова учился ходить. Стремился достичь прежней бодрости и силы.

Он больше не мог выносить Рим. Все здесь было ошибкой и недоразумением. Он получил благодарственное письмо от госпожи Рамполди, приглашавшей его к себе. Ее горничная принесла ему цветы. Они увядали в ателье. Ярослав смотрел на них равнодушно. Он поблагодарил за приглашение. Но ничего больше уже здесь не хотел.

Однажды холодным сентябрьским вечером он сидел на каменном барьере фонтана Де Треви и смотрел, как тритоны извергают потоки воды в бассейн, на дне которого словно змеи вились зеленые растения. Но он не бросил в эту заводь монету.

ПАРИЖ ПОХОРОШЕЛ

— Как нельзя кстати! — вскричал Фрич, встретившись у Гулека с Чермаком. — Я тоже снова в Париже, у меня полно работы. Вы не изменились за те пять лет, что мы не виделись?

— Полагаю, я умею делать чуть больше, чем прежде.

Он уже слышал от Гулека и Пинкаса о готовящейся книге. Венский двор не скрывал, что хочет разделить империю на австрийскую и венгерскую части и полностью задушить славянские народы; и

потому Фрич, который к тому времени побывал уже в Стамбуле, Загребе и Будапеште, собрал вокруг себя группу людей, которые должны были открыть французам глаза на страну, над которой вновь нависла угроза; этому должна была способствовать содержательная, серьезно подготовленная книга «Ла Бюэм».

— Я ошибся как в Бисмарке, так и в Бакунине, — виновато признавался Фрич. — Нам следует рассчитывать лишь на самих себя.

— Да, вы не должны уступать трибуну врагам, — подбадривал Фрича Луи Леже, который привез из Чехии большое собрание народных песен. — Французы любят высмеивать то, чего не знают. Вы не можете допустить, чтобы вас оттеснили в тень политической жизни.

Не успели друзья обменяться приветствиями, как Фрич стал прилагать все усилия, чтобы привлечь Ярослава к работе над столь важным изданием, и показывал ему подготовленный материал, которым гордился.

— Эта статья о панславизме принадлежит Сабине. Профессор Александр Ходжко перевел для нас сказку о двенадцати месяцах. Путеводитель по Праге написала Софие Подлипская. Там есть заметки о гражданских склепах, о Вышеграде, о Пражском университете — можете выбрать себе сюжет, нам нужны красивые гравюры... Кое-что нам пришлет Майкснер, кое-что, конечно, Пинкас, далее, быть может, Тренквальд и Барвитиус, он недавно был в Париже... Или, если хотите, можете иллюстрировать стихотворение о своем тезке — Ярославе из Штернберка, из «Рукописей»...

Ярослав жадно листал страницы текста и пробегал глазами по строчкам.

«...Они сделали все, чтобы нас просто-напросто вычеркнуть из числа народов», — писала Подлипская о Габсбургах.

— Где это будет печататься?

— В Брюсселе. На переплет я хотел бы поместить гравюру старой чешской короны.

— Вы, разумеется, знаете французов и их антипатию ко всему иностранному... Не нужно ли какое-нибудь французское перо, которому они доверяют и благодаря которому все это стало бы для них ближе?

— Такое у нас есть. Леже о нас заботится. Он принес предисловие профессора Шерваля. Знаете его? Он метко цитирует Плутарха — о том, как строился Рим. Каждый из основателей бросил на вал, идущий вокруг города, горсть глины, и во время постройки вся глина перемешалась. Когда строилась Австрийская империя, ничего подобного не произошло. В рамках империи царит произвол и грубость.

— Только будет ли этого достаточно? Я не раз сталкивался с

тем, что французы о нас вообще почти ничего не знают, считают нас то сербами, то болгарами. Разве вы не пришли в ярость, читая Тьера?

— Еще бы! Восемнадцать миллионов немцев! Идиот! Откуда им взяться в Австрии? Их там едва семь. Зато там семнадцать миллионов славян. Только нас, чехов, пять миллионов, но об этом такие, как Тьер, и понятия не имеют. Хоть бы спросил... И это политики! Вот Гарибальди... — вспомнил Фрич о своей встрече с ним. — Он уважает чехов, знает о нас, знает, что мы дали Европе Гуса и Иеронима, а также уважение к свободе совести, знает, что мы своим восстанием спровоцировали войну, благодаря которой возникло равновесие в Европе... Он отправил чешским женщинам великолепное послание.

Фигура Гарибальди интересовала Ярослава, и Фрич рассказал ему то, чем поделился с ним Гарибальди: как у него где-то между Генуей и Миланом, когда они бежали от австрияков, умерла на руках жена, как ему самому пришлось копать могилу, чтобы враги не надругались над ней, и как он все же не уберег ее от этого...

Для Чермака оказалось кстати, что Франция встретила его призывом к работе. Он обещал не только гравюры, но и финансовую помощь. Одобрил цитату из Колара, выбранную Фричем в качестве эпиграфа:

«Тот лишь достоин свободы, кто ценит свободу другого.

Тот, кто рабов заковал, сам по душе своей раб!» *

Ему очень нравилась выдержка из Мицкевича:

«Те, кто продолжает считать, что нравственный принцип должен играть активную политическую роль, имеет основания связывать с чешским народом большие надежды. Народ, прошедший такие испытания, не погибнет...»

Однако Чермак настаивал на том, что в книге должно присутствовать какое-то знакомое имя, служащее среднему французу рекомендацией.

Фрич пожимал плечами и качал головой. Но на следующий день постучал в дверь гостиничного номера, где временно поселился Ярослав.

— Вы хотели французское перо? Так слушайте!

Он прочел записанную на листке цитату:

«Я уверена, что народ, имеющий столь драматическое прошлое, есть и всегда будет великим народом». Угадаете?

— Женщина? Значит, Жорж Санд, — угадал Чермак. Он знал, что действие ее «Графини Рудольштадт» происходит на Шумаве, слышал рассказы, как однажды доктор Чейка, друг Божены Немцовой, сопровождал ее по Праге. А ее Консуэло слушала скрипку дво-

* Перевод С. Шервинского.

рянина-гусита, и перед ней вставали призраки прошлого чешской земли.

— Да, — признал он, — теперь в книге есть все, что нужно.

Париж похорошел. Когда были сняты леса и ограды, исчезли груды камней и песка, когда выдохся запах дегтя — широкие улицы и тротуары, покрытые макадамом (раскатанным щебнем), свободно вздохнули и зазеленели аллеями.

На бульваре Сен-Мишель, где было полно студентов, шумел фонтан, и в его брызгах отражалось голубое весеннее небо. У фонтана стояла Иполита, уже без криолина — господин Уорт, законодатель мод, наконец избавил от него парижанок. Ее соблазнительно стройную фигуру облегал костюм цвета королевской лазури, волосы под фетровой шляпой с пером были принуждены оранжевой пудрой — все это придавало ей юный вид, а над головой она вертела розовый зонтик.

Ярослав поразился, с каким вкусом выбрала она место первой встречи после более чем годичной разлуки. Она хотела продемонстрировать ему свою причастность к новому Парижу и то, что она такая же веселая и ничто не стоит на их пути. Она улыбалась, и воздух вокруг нее был полон красок и сияния.

Они обо всем сообщали друг другу в письмах, все знали друг о друге, и все же, когда он взволнованно направился ей навстречу, ему казалось — в который уже раз! — что тем самым свершается его судьба. И когда он приблизился к этой совершенной женщине и утонул в ее глазах — все прошлое развеялось словно дым, ничто из пережитого в Риме даже отдаленно не касалось ни Иполиты, ни их отношений.

— Что ты о нас скажешь — о Париже и обо мне? Узнаешь нас?

— Вы не похожи: бульвары стали шире, а дамы — уже.

От Иполиты веяло свежестью, и, когда он поцеловал ей руку, она нетерпеливо сжала его ладонь.

— Приглашаю вас, господин из Рима, совершить прогулку по Сене. Там мы скорее будем одни.

Легкие пароходики, скользящие по речной глади под отремонтированными мостами, парижане называли «мухами». Ярослав с Иполитой сели рядом, затерявшись среди иностранцев. Вода отливала металлическим блеском, на укрепленных набережных выселились новые кварталы. Иполита сжимала ему руку, чтобы он не пропустил ничего нового.

— Все это построила ты?

— Император немного помогал мне. Мы вместе закончили все, что начал Наполеон I.

Ярослава радовало, что для первой встречи она выбрала шутили-

вый тон. Ведь она могла начать с того, как они расстались в Дубровнике; но на ее лице, по которому пробегали блики от волн, не было и тени прошлого.

— Париж пробудился от дурного сна. А ты — самый большой из его сюрпризов.

— Тебя ожидает немало сюрпризов.

— Что еще?

— У тебя новая квартира. Новое ателье. Приготовь побольше похвальных слов. Сегодня Кате там еще убирает. Она тоже с нетерпением тебя ждет. А в субботу я свожу тебя в Салон «Отверженных».

— Салоны еще живы? Мне становится страшно.

— И не зря. Этот Салон полон чудаков. Его называют еще Салон фантазии.

— Все, что поддерживает фантазию, я приветствую. Где будет мое ателье?

— На улице Монтень. Завтра можешь туда переехать. Где твои вещи?

— Часть у Гулека, часть в отеле, кое-что еще в пути.

Он поцеловал ее руки, не обращая внимания на окружающих, — Иполите даже пришлось противиться этому, — был счастливым, что она так прелестна, так игриво и ласково настроена. По ее поведению он мог судить, что глава жизни, которую они начинали, может оказаться самой благоприятной.

— Но ты не смотришь на Париж. Хочешь его обидеть? Будь внимательней, он тебя позовет...

— Ничего иного я не жду.

Они проезжали мимо острова святого Людовика, и Нотр-Дам явил им свой древний лик.

Открытие выставки послужило началом многомесячного упоения. Город, который Виктор Гюго хотел видеть «Иерусалимом гуманности», превратился в международный центр, упивающийся стремительностью, богатством переживаний, многоголосым гамом на всех языках мира.

Территория выставки 1867 года была задумана так, что каждой отрасли человеческого труда отводилась определенная зона, где должна была демонстрироваться сила индустриальных машин и красота всего созданного трудом человека. Улицы, соединявшие эти зоны, были отведены отдельным народам. Сенсацией выставки стали лифт, первая пишущая машинка, изделия из алюминия и чуждо железобетона. Посреди территории выставки находился увеселительный парк с мечетями и пагодами, с китайской чайной и испанской кондитерской, где можно было выпить чашечку шоколада, там

продавался шведский пунш, водка из Седана с золотыми хлопьями, пиво из Мюнхена и Чехии.

— Ун пиво, — по привычке сказал Ярослав, как это было принято в парижском «Клубе».

— Едно пражске пивечко, — повторила пухленькая продавщица в пльзеньском национальном костюме.

Поначалу Ярослав думал, что в национальные костюмы одели парижских официанток, но это были чешские девушки. Он с удовольствием ходил на выставку, иногда обедал с девушками, приглашал их на рюмку французской анисовки, от которой те морщились.

В начале июня Париж чествовал царя Александра, приехавшего вместе с сыновьями.

— Госпожа Беллем обещала мне достать билеты на гала-представление в Опере, хочешь пойти? — радовалась Иполита.

— Служить фоном для величайшего деспота Европы? Там будет полным-полно шпиков. И смотреть, как Наполеон Малый пыжится от счастья, что царь принимает его всерьез?

— Ты прав, — признала Иполита. — Но шествие пойдешь посмотреть? Официально тебя приглашаю.

На следующий день был парад, и компания самодержцев пополнилась немецким императором Вильгельмом, которого сопровождали Бисмарк и Мольтке. Государи отдавали честь, кланялись, улыбались друг другу. Но Париж знал, что Пруссия демонстрирует на выставке прежде всего громадную пушку фирмы Круппа.

После смотра войска должны были возвращаться под окнами Иполиты. Ярослав принес молодым дамам букетики, а Иполите новую акварель; они искали на стене место, чтобы ее повесить. Там висели три тарелки, которые он нарисовал в Мандалене, и кропильница, привезенная им из Рима.

— Не скучаете в Париже по дому? — приветствовал Ярослав Кате Грбич, которая при виде его зарделась от радости. — Да и как вам скучать? Наверное, все молодые щеголи на вас оглядываются.

— Кате пользуется большим успехом, — подтвердила Иполита. — Под нашими окнами часто прохаживаются кавалеры, которых она обворожила.

Кате была счастлива, что встретила с Чермаком; она вспоминала имена знакомых, рассказывала новости, которые ей сообщал брат, хвалила Париж, но надеялась когда-нибудь вернуться домой.

— Не торопитесь, Кате, — попросил ее Ярослав, — вы мне еще понадобится — я хочу вас рисовать. Придется госпоже Галле порой обходиться без вас.

Кроме Чермака Иполита пригласила по его желанию и супругов Залемфельс; граф, чиновник австрийского посольства, был из Моравии, знал чешский язык, был знаком с некоторыми картинами Чермака и хотел заказать ему портреты всей семьи. Его жена Павлина

была сестрой доктора Жавая, дальнего родственника Ярослава: она была очень мила, мудро относилась к происходящему в чешской политике. Они привели с собой прелестную веселую дочку Жофи, лицо которой Ярослав тотчас нарисовал. Иполита представила также Чермаку молодого человека по фамилии Бюшерон, мужа Амалии; он держался вежливо и корректно. Ярославу казалось, что они с Амалией прекрасно подходят друг другу, это чувствовалось и по ее довольному виду — пропало ее напряжение и чувство обиды на весь мир. Наконец пришли и супруги Беллем; Огюст с гордостью показывал подаренный ему Чермаком альбом набросков с зарисовками боя быков, который Ярослав видел, навещая Иполиту на курорте в Южной Франции.

Громкие звуки труб заставили всех подойти к окнам.

Зрители шпалерами стояли вдоль тротуаров. Шествие было весьма красочным. Впереди ехали драгуны в зеленом, за ними копейщики в белом, личная гвардия была в золотых латах, ослепительно сверкавших на солнце. Лишь после этого появились экипажи, ехавшие неторопливо, дабы толпа могла воздать почести монархам и увидеть их единение. В первом экипаже сидел Наполеон с царем, во втором — царские сыновья, за ними — немецкий император с Бисмарком. Последний особенно интересовал и возбуждал Париж. Он был тут пять лет назад, и до Парижа долетели его слова, сказанные по возвращении: «Я встретил в Париже двух интересных женщин, мужчин — ни одного». И было известно, что в мире, исполненном лицемерия, он намеренно говорит правду, чтобы противники ему не верили.

Люди, стоящие на тротуарах, подняли крик и замахали руками.

— Монархи развлекаются, — пришел к заключению Чермак.

— Австрийский посланник, должно быть, наблюдает за этим с грустью, — сказал Залемфельс.

— Дурные вести?

— В последнем сообщении говорится, что мексиканцы взяли в плен Максимилиана и собираются его судить.

— Это опасно?

— С Хуаресом шутки плохи. Меттерних просил Наполеона похатайствовать, госпожа Меттерних была у Евгении, но разве им до того? Вертятся вокруг императоров и ожидают еще султана.

— С ним возникнут проблемы, верно? Насколько мне известно, по законам ислама султан не имеет права ступить ни на какую землю, кроме турецкой...

— Да, говорят, Франция на неделю добровольно станет турецкой колонией...

— Прекрасная идея! — воскликнул господин Бюшерон.

— Конечно, после этого нам придется сразу же завести гаремы, — смеялся господин Залемфельс.

— Поговорил бы я с этим господином об иных вещах, — заметил Ярослав.

— О Черногории? — угадал Залемфельс. — Знаете, среди дипломатов она вызывает все больше сочувствия. Ваши портреты определенно внесли свой вклад. Кто видел «Похищение», не сможет его забыть.

Шествие перестало их интересовать. Они отошли от окон.

Но вдруг на улице раздалось несколько выстрелов. Все снова быстро прильнули к окнам. Увидели, как взвод копейщиков, замыкающий процессию, подвезжает к повороту бульвара, а навстречу бежит встревоженная толпа; люди с перепуганными лицами наталкивались на вздыбившихся лошадей. Было ясно, что за углом произошло какое-то столкновение.

— Наверняка — покушение, — уверял Бюшерон и гордо смотрел на свою молодую жену, словно желая ее напугать.

Через час весь Париж знал, что поляк Березовский пытался свети счеты с ненавистным самодержцем, мстя за страдания соотечественников. Но стрелял он плохо и был схвачен.

Гости, взволнованные событием, задержались у Иполиты.

— Думаю, его поступок понятен и никто не будет особенно осуждать этого поляка, — высказал предположение Чермак.

— Извините, но это не должно было случиться в Париже, раз царь приехал сюда как гость, — придерживался корректной точки зрения господин Бюшерон.

— Я не очень-то люблю поляков, — сказала Иполита. — Если Дюма в «Афере Клемансо» пишет правду, у них вероломный характер.

— Брось, — остановила ее госпожа Беллем, — ведь и в романе герой сводит счеты за собственное разочарование.

— Париж не слишком огорчится, — сказал Огюст Беллем, — для него покушения — дело привычное. Даже вечерний бал не перепесут, ручаюсь. Таков дух империи. Ва-банк!

Госпожа Залемфельс кивнула и тихо запела:

«Гонись, мой Париж, за усладой!
Лишь за усладой гонись до упаду!»

Это был припев из «Парижской жизни» Мельяка и Галеви, который на каждом спектакле с удовольствием повторяла вся публика.

Ярослав не нашел в «Олимпии» Манэ столько нового, сколько в свое время у Курбе. Позой своей красавицы Манэ словно бы и не собирался скрывать влияния Гойи и Тициана. Вероятно, причиной скандала, размышлял Ярослав, послужило то, что художник придал этой девице легкого поведения столько значительности, изобразил

ее наготу столь дерзким контуром; в ней чувствовалось презрение ко всякому светскому лицемерию.

Вскоре после этого Ярослав встретился с Шанфлери; зашел к нему, и тот повел его в кафе «Гербуа» на бульваре де Клиши, сделавшееся местом встреч молодых художников.

— Да, эта компания перекочевала сюда. Но предупреждаю: они ни о чем, кроме себя, не говорят. Меня лично это иной раз уже утомляет.

Вокруг Манэ, которому памфлеты и карикатуры принесли сомнительную славу, группировались молодые люди, чьи имена были менее известны.

— Писсарро, Сислеи, Базиль, — называл их Шанфлери. — Нельзя сказать, чтоб они создали какую-то школу. Просто их объединяет то, что у них ничего нет, они ничего не значат, но они честолюбивы и верят, что их время придет. Пойдите, я забыл о Дега. Это сын итальянца и американки, но рисует он по-французски, может, вы уже видели его зарисовки скачек...

Чермак поздоровался с Курбе, который явно сохранял свою аудиторию и считал себя покровителем молодого искусства. Но создавалось впечатление, что молодежь теперь, скорее, прислушивается к резкому голосу Манэ, полному иронии по отношению к официальному искусству, представителей которого именовали «пожарниками». Он говорил о присуждении премий и злословил как по поводу портрета императора, написанного Кабанелем, так и по поводу картин Мейссонье на военные темы.

— Удивительно, что премию получил и Милле. Не будь выставки «Отверженных», вы бы не увидели в Салоне приличного пейзажа. Для них это всегда останется чем-то второразрядным.

— Потому что господствуют старики! — громко вскричал один из юношей.

— Нельзя осуждать так огульно, — смирил забияку холодным взглядом Манэ. — А Энгр? — вспомнил он недавно умершего художника.

— Он был против романтизма, — упрямяствовал критически настроенный юноша. — Холодный как лед.

— Подо льдом он скрывал чувство. Кто этого не понимает, тот мало смыслит в живописи.

Другой юноша принес панку с рисунками и хотел услышать отзыв. Манэ направил его к Курбе.

— Что ты принес нам показать? — заговорил Курбе громче.

— Это Карл Великий во время триумфального шествия, — объяснил начинающий.

— Ты его знал?

— Нет, — удивился вопросу юноша.

— А мать у тебя есть?

— Есть.

— Так ступай домой и нарисуй лицо своей матери, глупец.

Когда Ярослав возвращался домой, он размышлял над тем, как различные эпохи и ситуации определяют направление искусства и ставят перед ним новые проблемы. Сколь бедным и забитым было пражское искусство последних лет! А тут — хотели излечиться от романтизма. Курбе советовал молодым расписать вокзал мастерскими, заводами, тем, что является чудом девятнадцатого столетия. Но не романтична ли сама красота живой природы? Я бросил якорь в лирической эпохе, размышлял он, и уже не изменю себе.

По бульвару шатались веселые компании, они звали Ярослава с собой, окружали его кольцом. Праздновалась отмена долговых тюрем. Пьяные, которым уже нечего было опасаться, покачивались в желтоватом свете новых электрических ламп.

Салон госпожи Нины де Вийяр мог похвастать записями знаменитостей, в числе которых были Вагнер, Берлиоз, Малларме; однако в последнее время там собирались люди, казавшиеся чужаками. Словно хозяйка с тщанием коллекционера специально выискивала таких.

Ярослав в ту пору снова старался сосредоточиться, чтобы закончить свои «Военные трофеи»; но он не мог отказать Иполите раз в месяц сопровождать ее в этот салон.

— Посещение Нины идет мне на пользу, — уверяла она. — Всякий раз, возвращаясь домой, я чувствую себя до удивления нормальной, а это полезно для здоровья, сам увидишь.

Любовник хозяйки, господин Шарль Кро, был заядлым изобретателем; однажды он объяснил Чермаку принципы цветной фотографии, в другой раз музыкальной стенографии, а то даже толковал о возможностях контакта Земли с иными планетами.

Гостем, по-настоящему заинтересовавшим его, был писатель Вилье де Лиль-Адан, с виду мушкетер, по манерам сдержанный чиновник; но, выяснив, что Чермак симпатизирует его родной Бретани, он растаял, перешел на доверительный тон и спокойно рассказывал ему, каким образом добывает себе в Париже средства к существованию.

— В прошлом году я обучал боксу. А в этом играю роль исцелившегося помешанного в одном заведении для нервнобоьных, чтобы соблазнить сумасшедших лечением. Это для меня проще и интереснее.

— А когда вы пишете? И где?

— Где удастся. Оглядываясь назад, должен констатировать, что у меня еще никогда в жизни не было ни стола, ни камина.

— Где же вы живете?

— Ах, нигде. Ночую в новостройках, пока туда не въехали жильцы.

Ярослава удивляло, что поэт гордится такими вещами, которые другие скрывали бы. Но де Лиль-Адан не казался ни печальным, ни удрученным, и конец вечера обычно принадлежал ему, когда, пародируя арию из оперы, он напевал мотив из «Эсмеральды»:

«Преисподняя с ней — небеса для меня...»

Заканчивался вечер гаданием на картах. Ярослав почувствовал облегчение, когда они собрались уходить.

— Не слишком ли у тебя был холодный вид? — упрекала его Иполита, когда они ехали обратно.

— Вероятно, на моем лице было написано удивление — как мы затесались в подобное общество. Когда мне не о чем говорить, я всегда произвожу неприятное впечатление.

В тот вечер Иполита осталась у него в ателье. Но для Ярослава это послужило лишь поводом, чтобы убедиться, насколько неустойчива человеческая решимость и насколько потускнело радужное настроение, которым встретила его в Париже Иполита после возвращения из Италии.

Они отчужденно лежали рядом, и Ярослав обвинял себя в старой болезни: когда я вдали, я все рисую себе сказочно прекрасным, воспринимаю Иполиту как женщину, лишенную недостатков и слабостей, но, когда мы вместе и должны быть вместе, близость рождает дурное расположение духа и ссоры, которые подтачивают страсть.

Без сомнения, это свойственно и ей, говорил он себе. Когда мы расстаемся, она печальна, полна огня, просит беречь себя, быть осторожным, при встрече я вижу, как нетерпеливо она рвалась ко мне, но стоит нам остаться вместе — ей словно нет до меня дела, словно она ставит мне в вину то, что происходит... И ее слова подтверждали это.

— Мир ужасен, — сетовала она. — Что за жизнь? Господи, как я была глупа...

Она не говорила ничего определенного, но в общем несовершенство включался и он. Она причисляла его к злонамеренному миру, тогда как он себе говорил: мир враждебен, но, если мы вместе, мы выдержим. Поначалу это причиняло ему боль; потом он научился убеждать себя, что Иполите необходимо время от времени пройти через дурное настроение, чтобы освободиться от постоянной нервной перегрузки. Иногда он откровенно говорил ей:

— Знаю, что тебе хочется меня ранить. Но я не стану защищаться. От ссор и размолвок ни наши характеры, ни моя работа не становятся лучше.

В большинстве случаев этим он ее обезоруживал.

— Ты для меня самый близкий человек, — размышляла она, —

поэтому я и выливаю на тебя дурное настроение... Ты не согласен со мной, что мир плох?

— Мне хотелось бы услышать вот что: мир скверный, но мы в нем вдвоем — вместе...

— А если бы ты меня потерял?

— Я никогда тебя не оставлю, — обещал он.

После подобных сцен Иполита бывала внимательна и ласкова, взгляд ее был по-матерински чист, она выказывала нежную преданность.

Ярослав осознавал свою зависимость от нее, стремление быть частицей ее жизни. Мне не хватает присущей художникам беспереборности, думал он, самоуверенности, которая позволила бы спокойно приносить в жертву творчеству и собственным страстям жизнь ближних.

Но Иполита всегда была для него чем-то совершенно иным, нежели все остальные. Рядом с ней ему легче дышалось, он оставался самим собой, это была его истинная жизнь.

«Молодые девушки-христианки из Герцеговины, уводимые башибузуками в Адрианополь» — дал он наконец название картине, принятой жюри вместе с двумя портретами. Салон омолодился — туда попали уже Писсарро, Моне и Ренуар. Тема Чермака, точно разработанная, вызвала интерес. Его радовало, что рецензенты рекомендуют политикам обратить на нее внимание. Понять, как благодарны ему южные славяне, он мог по многочисленным письмам, по дубровницкому альманаху, где д-р Казначич напечатал посвященное ему стихотворение, и особенно в связи с приездом в Париж князя Николы.

Никола удостоил Ярослава чести и принял его приглашение посетить ателье, чтобы взглянуть на разработку полотна «Раненый черногорец».

— Да, вы прекрасно нас поняли, сумели выразить нашу суть, — растроганно сказал князь. — Мы все время вспоминаем о вашем пребывании в Черногории. Чехия далеко от нас, но кровь в наших жилах одна.

Никола вручил ему стихотворение, написанное после посещения Салона, где он видел его картину.

— Эта картина делается у нас иконой. Когда появится ее репродукция, она будет висеть в каждом доме — чтобы мы помнили о самых тяжелых временах и не забывали их.

Иполита радовалась успеху Ярослава и часто ходила на выставку, чтобы послушать суждения посторонних о картине.

— Сегодня я слышала разговоры, что твоя черногорка — самое красивое женское лицо в Салоне, — сообщила она ему однажды. —

Люди останавливаются и подолгу смотрят. Это изнеможение и беззащитность пленных женщин действует на всех... А та, со связанными руками, смотрит прямо на зрителя. Так же как ее стража. Зритель сам может решить, на чьей он стороне...

Ярослава радовало, что Иполита вместе с ним переживает то, во имя чего была написана картина.

Из деревни приехал на выставку и Собеслав Пинкас, который в последние месяцы пребывания во Франции посвятил себя эскизам фарфоровых блюдов и отделке охотничьих ножей.

— Ты не должен был бросать живопись, — сердился Ярослав. — Ты шел верным путем.

С грустью вспоминали они Карела Пуркине, каким он приехал в Париж — он был полон тогда жадного любопытства, остроумен в суждениях, нетерпелив в творчестве. Недавно он сделал для журнала «Кветы» гравюру картины Пинкаса «Смерть и лесоруб», но в том же номере, где была напечатана гравюра, появился и некролог, посвященный Пуркине. Во время пребывания в Париже тот интересовался Бодлером — теперь и Бодлера уже не было в живых, болезнь сгубила его задолго до смерти.

— Люди покидают нас, — грустил Пинкас. — Похоже, что Франция уже ничего не может мне дать. Молодость промчалась, я думаю о будущем, мне хотелось бы найти более спокойную обстановку для своих детей. Париж меня раздражает.

— Прежде тебе это раздражение помогало. Но ты все же сумел замкнуться, уехать, сохранить независимость...

— Мы должны заботиться и о себе. Эти французские годы из меня не выветрятся.

Они обсудили политическую ситуацию. Германия была слишком сильна, Франция сближалась с Австрией. Наполеон находился в Зальцбурге, Франц Иосиф — в Париже.

— Вот Меттерних, должно быть, радуется!

— Безусловно. Но ты знаешь Париж. Это уже к вам попало? —

Ярослав показал Пинкасу красную обложку «Фонаря» Рошфора.

— Нет, я этого еще не видел.

— Император хотел завоевать симпатии, отменив цензуру, а Рошфор беззастенчиво пользуется этим. Император подал на него жалобу в суд. Гамбета защитил его. Теперь он провозит свой журнал контрабандой из Брюсселя. Прочти!

— «Приятные вести из Тюильри, — читал Пинкас. — Император чувствует себя плохо».

— Когда ты собираешься в самом деле уехать?

— Хотелось бы на рождество быть уже в Праге.

— Знаешь, сколько я там не был? Десять лет. Что, если я поеду с тобой?

— Кто мог бы обрадоваться больше, чем я?

— Только тебе придется подождать, пока я закончу два-три обещанных портрета.

Пинкас согласился.

— Рассказывайте, рассказывайте, — встретил Ярослава старый пан Пуркине. — Мы все рады, что можем приветствовать в нашей скромной Праге столь знаменитого земляка.

В комнате, где висел портрет профессора, написанный Ярославом, собралось несколько врачей из лечебницы Пуркине, был тут и поэт Галек, о путешествии которого по Черногории Ярослав уже слышал, пришел Манес. Но было здесь и пустое место — Карела, а на лицо старого профессора легло одной тенью больше.

— Прага уже не так скромна, как десять лет назад, — заметил Ярослав. — На улицах говорят по-чешски. Вы строите театр. Нация идет вперед, работает, набирается гордости — это ясно...

— Разумеется, — подтвердил Галек, — сделано немало. Но в Париже творится история мира. И история мирового искусства.

— Потому что там австрийская полиция не прижимает жизнь к земле, как у нас, — сказал профессор. — Накинула на людей петлю, затягивает ее, вынюхивает... Дух Франции от нас еще очень далек.

— Там свои проблемы. Но все это вам известно по газетам.

— О людях мы знаем мало. Что подельывает этот живой фейерверк, по имени Александр Дюма?

— В день моего отъезда состоялись похороны его последней подруги, молодой американки. Но за гробом шла только ее лошадь да несколько случайных людей. О Дюма говорят уже меньше. Его газета «Д'Артаньян» не расходуется.

— Что же он делает?

— Его сын мне говорил, что он сидит дома и грустно читает «Трех мушкетеров».

— А «голос бури», Виктор Гюго?

— Он потерял жену, сына... Для нас наступила пора похорон. И нет ей конца.

— Но это естественно, мальчик, мы становимся старше. Либо мы покинем мир, либо наш мир постепенно покинет нас.

Ярослав, по просьбе врачей, рассказал о парижских выставках и художниках, но его взгляд все чаще обращался в угол, где, словно изваяние, сидел Йозеф Манес. Пепа смотрел в одну точку, хоть, в общем, казалось, внимательно слушал.

— Париж интересуется восточными мотивами, — сказал Ярослав не без умысла. — Пепа был в Москве. Можем мы ожидать от него картин на русские темы?

Йозеф Манес быстро поднял голову.

— Новые картины? — спросил он неуверенно, обрадованно и все же с тоской в голосе.

— Ваши куранты, Пепа, — великолепное произведение. Уравновешенное, ясное... Они словно являются неотъемлемой частью этих древних камней ратуши.

Манес в знак благодарности слегка поклонился.

Ярослав уже не раз слышал от друзей, что Йозеф не способен из массы этюдов создать большое полотно. Все сочувственно качали головами — как жаль, — но винили в том самого художника. Однако Ярослав вспомнил, сколько преданности и энтузиазма вкладывали в свое творчество Карел Пуркине и Собеслав Пинкас, и понял трагедию: всю жизнь питаться крохами и ни разу не иметь возможности для размаха. Куранты доказали, что Йозеф был способен на него. Теперь, всматриваясь в его лицо, Ярослав обратил внимание, сколь благороден его высокий лоб и смел разлет бровей, — все черты лица, несмотря на явно преодолеваемую боль, были глубоко гармоничны.

В то время как шли рассказы о готовящемся празднестве «соколов» и о Мирославе Тырше, он представлял себе, сколько, вероятно, сумел бы сделать Манес, имей он в молодости возможность уехать в Париж; его собственная судьба рядом с судьбой Манеса казалась ему несправедливо удачной. Но в душе он опять почувствовал удовлетворение от правильно сделанного выбора, от того, что он не позволил своему таланту прозябать среди убожества его тогдашней, негостеприимной родины.

Когда общество разбилось по двое, Манес приблизился к Чермаку и спросил его о Риме.

— Сомневаюсь, Пепа, чтобы он мог дать вам что-нибудь.

— И все-таки хотелось бы мне на него посмотреть. Я так мало видел в своей жизни.

Ярослав вспоминал, с каким уважением смотрел он когда-то мальчишкой на Манеса. Он был растроган столь искренне признаваемой скромностью. И даже не успев подумать, произнес:

— А ведь вам следовало бы видеть больше всех нас.

— У меня было мало сил, Яра. И трудный путь.

— Поезжайте в Рим, Пепа, почему бы и нет? Я хоть извлеку из этого для себя урок, — узнаю, что, собственно, мне надо было там увидеть.

Когда они расстались и Ярослав медленно шел к отелю, он несколько раз оглянулся на высокую спорбленную фигуру Йозефа. Что заставляет меня так уважать человека, который никогда ничего значительного не создал и ничем не прославился? Вероятно, это чувство уважения к духу, для которого служение искусству всегда было первейшей обязанностью. Никто из нас не отдавался искусству с таким благоговением. Пепа был беззащитнее, чем кто-либо иной.

Он был воинственным, но лишь по отношению к себе. Себе он не прощал ничего. Никогда не злоупотреблял своим талантом, ни в корыстных, ни в честолюбивых целях. Думал я когда-нибудь об успехе? О деньгах? Наверное. Манес — нет. Я стремился сделать свою жизнь возвышеннее. Но я оставался в этом мире. Манес всегда приходил к нам из другого мира — и вновь возвращался в него. Бедный, больной, ранимый. Исключительный.

Ярослав ходил по набережной неподалеку от места, где строился театр. Во Влтаве тонул свет немногочисленных фонарей.

Нет, я уже не могу вернуться. Я слишком прочно стою на якоре в том мире. Но я не стал чужд своей родине ни по крови, ни по таланту, ни по мыслям. Единственное, в чем я мог бы себя упрекнуть, — я сделал еще мало. Приближается мое сорокалетие. Сердце, не предавай меня пока!

В КОРСАРСКОМ ГНЕЗДЕ

Впервые Чермак встретился с Бретанью в воспоминаниях, песнях и рисунках Йана Даржана. Поездка к Гюго была первым личным знакомством. Граф де Буаденец рассказывал Ярославу в Риме о независимом прошлом Бретани. «Шуаны» Бальзака углубили его представления. А потом вышла книга Жанена, полная романтических картин прошлого.

Иполита любила вспоминать о пребывании в Мандалене. Доктор Гардые рекомендовал ей море, но Далмация была далеко, на Средиземном море слишком жарко, он советовал север. Иполита имела в виду какой-нибудь из нормандских пляжей, входивших в моду, но Ярослав начал подумывать о Бретани. Даржан, работавший над росписью кафедрального собора в Кемпере, приглашал его. Мимель Буке, художник по фарфору, рекомендовал Роскоф: туда ходит поезд, там нет претворяющей свои претензии светской жизни, зато отличные условия для катания на лодке и рыбной ловли, идеальный укромный уголок для тех, кто хочет жить на природе. Доктор Гардые знал, что пребывание во влажном климате, где морская непа смешивается с ветрами, дующими на материке, идет на пользу легким; его брат как раз собирался основать в Роскофе лечебницу.

Название края — Филистер, конец земли, — Ярослава привлекало. С величайшей энергией взялся он за подготовку этой новой главы жизни. Ему необходимы были деньги, и потому он быстро закончил гаремную сцену, которую хотел предложить на весенний Салон.

— Это очень красочно, привлекательно, элегантно, — рассуждала Иполита, — но я ничего не могу с собой поделывать, мне она что-то напоминает. У тебя не было похожего полотна?

— У меня — нет. Но вообще в живописи гаремных сцен было немало, — вероятно, я оказался недостаточно изобретателен и это вышло мне боком.

Однако замечание Иполиты не выходило у него из головы, и он попросил своего друга Робер-Флэри, вернувшегося из Рима, зайти посмотреть картину.

— Это можно считать учтивым воспоминанием об искусстве Жерома, — произнес опытный педагог. — Забегите посмотреть в Люксембургский дворец — и сами убедитесь.

Иполита и Робер-Флэри оказались правы. Построение картины, пусть непреднамеренно, пусть невольно, напоминало одну из картин Жерома.

— Это полотно я никогда не стану выставлять, — решил Ярослав.

Отъезд в Роскоф несколько задержался, но весной 1869 года Ярослав все же поехал туда. Он тут же вспомнил открытый залив, изрезанную береговую линию скал, дамбу и островки, гавань, задумавшуюся над своим корсарским прошлым. На лицах мужчин лежала печать суровой ежедневной борьбы со шквалами и волнами, женщины носили изящные белые чепчики и, здороваясь с Ярославом, улыбались. Он отыскал морского инспектора Фаллака, старый морской волк был в восторге, что товарищ по авантюре, связанной с Гюго, ищет в Роскофе нечто вроде дачи. Он провел его по городку и высматривал домики, которые можно было бы снять.

В следующий раз Ярослав ехал в Роскоф уже с Иполитой. Старался познакомить ее с прошлым и настоящим этого края, словно опытный гид.

— Ар-мор, страна на море, — старое кельтское название. Вот эти скалы увидели свет гораздо раньше Альп и Пиренеев. Тут все древнее. Народ, живший здесь за два тысячелетия до прихода римлян, оставил таинственные менгиры. Кельты в знак свободы носили длинные волосы и возле уединенных каменных глыб совершали таинственные богослужения. У них были странные обычаи. Представь, мужчина имел право выгнать жену, если выяснял, что она еще девушка, что ею до сих пор никто не интересовался...

Иполита ему не верила, полагая, что он хочет ее развлечь, и, глядя в окно вагона, читала названия станций, часто написанные лишь на одиноко стоящих столбиках.

— Названы они в большинстве случаев по имени ирландских монахов, переправившихся сюда по морю. У каждого поселения — свой святой, но ни одного из них нет в календаре, в Риме о таких святых понятия не имеют. Но бретонцы ни за что не позволили бы лишиться себя этих святых.

Ярослав был счастлив, что сумел пробудить любопытство Иполиты, он ждал, какое впечатление произведет на нее Роскоф, и в первую очередь повел к кафедральному собору с интересной баш-

ной. Иполита почтительно касалась серых камней, позеленевших от лишайника, на котором, словно следы крови, проступала краснота.

— Видишь, — показывал он ей на старых мужчин и женщин, идущих в храм, — как они набожны — прямо язычники. Они всегда верны тому, что есть, и противятся тому, что приходит на смену. Только Франция зачастую превратно истолковывала эту целомудренную верность, принимая ее за враждебность... Поэтому ты столкнешься здесь с подозрительностью по отношению к Парижу. Но мне эта бедная страна и ее люди напоминают родину.

Ей слышалась в его словах надежда, возлагаемая на это гнездо старых моряков. От пристани, куда как раз вернулось несколько парусных лодок, веяло духом приключений.

Ярослав показал ей дома, которые назвал ему Фаллак. Они договорились, что каждый должен снять отдельное жилье. Выбор пал на двухэтажный домик у дороги, ведущей к часовне святой Варвары, отгороженный впереди каменным забором, а сзади садом.

— В крыше прорубим окно, и у тебя будет великолепное ателье, — сразу решила Иполита. — Ателье с видом на море.

Неподалеку от этого дома, напротив маяка, где по вечерам зажигали огонь, сдавался в аренду красивый одноэтажный домик, сложенный из неровных и нештукатуренных камней, носивший название «Ла шомьер» — «хижина», с датой — «1786». Его выбрали как жилище для Ярослава.

Они обмерили комнаты и сразу начали искать обстановку. На сей раз Ярослав положился на вкус Иполиты и смотрел на рыбацкие лодки, стоявшие на якоре в бухте. Он был счастлив, услышав, как Иполита берет бразды правления в свои руки:

— В саду мы посадим деревья. Под старость поселимся тут навсегда, и Париж нас больше не увидит.

Теперь, разумеется, надо было вернуться и подготовить все для летнего отдыха. Кончилось тем, что Иполита поехала в Париж одна, а Ярослав сразу же поселился в своем домишке. Ему нетерпелось сдружиться с гаванью, которую он облюбовал в качестве нового пристанища для своего беспокойного сердца.

Сразу по приезде Ярослав спросил об Александре Дюма: он знал, что тот занят теперь большой поваренной книгой и собирается приехать в Роскоф или какое-нибудь другое место на здешнем побережье, чтобы выяснить специфику бретонской кухни. Через несколько дней он узнал от девушки, присланной ему Фаллаком для уборки, что известный писатель поселился у ее дяди, пекаря Мироне. Но дела его, говорят, плохи, рассказывала Виржини; кухарка, которую он привез, жалуется, что в этой пустыне не из чего готовить, и грозит уехать. На другой день Ярослав отправился к Дюма, чтобы предложить ему помощь. Дюма узнал Чермака и представил ему другого гостя, седовласого мужчину с резкими чертами лица.

— Эдуар Корбьер, президент торговой палаты в Марле. Один из самых прославленных французских капитанов. И лучший автор морских романов. Вы с ним не знакомы?

— Я слышал о господине Корбьере, но я тут четыре дня и еще не имел возможности...

— Эдуар меня спас, — заявил Дюма. — Тщетно искал я пристанище в Сен-Бриё, потом — в Биник, ничего не сдается, и тогда я вскричал одно-единственное слово. Марле! Это звучит как ругательство, но так называется город. Я знал, что там живет Корбьер. Сколько лет мы не виделись? Сорок? Тогда он редактировал в Гавре газету и его судили за сатиру против короля...

— К этому времени у меня за плечами был уже год принудительных работ в английском плену...

— Потом вы исчезли...

— Я плавал между Антильскими островами и Гавром. Не мог сойти на материк, иначе бы меня арестовали за неуплату штрафа.

— Вам в самом деле, — обратился Дюма к Чермаку, — следует прочитать его «Рабовладельца». Ни один из наших авторов не знает характеры моряков так, как он. Гюго он не любит, представьте, упрекает его в романтизме, а сам — истинный романтик жизни!

— Мне очень интересно, говорю не из вежливости, завтра же достану эту книгу.

— Возможно, она распродана, я с удовольствием пришлю ее вам, — предложил седовласый Корбьер, — у меня здесь дом, летом я тут бываю с сыном...

— Так вот, сижу я в Марле, в «Отель де Прованс», — упорно продолжал свой рассказ Дюма, — смотрю одним глазом на виадук, который выше башни, другим — на дома с деревцами за оградами и жду. У них там скверное вино. Я не нашел ни одной приличной бутылки...

— Если б я подозревал... — запротестовал Корбьер.

— У вас в Бретани много хороших вещей, только не вино. Если один пьет, двоим приходится его держать, чтобы он не сбежал от бутылки. Здесь у вас не выдерживают гроздь на солнце, как на юге...

— Разве я вас обманул?

— Нет, не в том дело. Он пришел, позаботился обо мне, нашел мне этот дом в Роскофе. Я люблю бретонский лиловый вереск, золотые бобы, мастиковые деревья и эти печальные вязы. А вы уже видели роскофскую смоковницу? Нет? И вы здесь уже четыре дня? Сейчас же бегите в монастырь! Под этой смоковницей поместятся пятьсот человек: ей по меньшей мере двести пятьдесят лет — посчитайте, когда ее посадили...

— В Праге как раз начиналась Тридцатилетняя война.

Рассказы Дюма текли таким же неисчерпаемым потоком, как

некогда в Брюсселе, перемежаясь приключениями, воспоминаниями, историческими анекдотами.

Когда они расстались с Дюма, Ярослав какое-то время шел вместе с Корбьером, который показывал ему на площади старые дома XVI столетия.

— Вон там, напротив, я живу — от всей души приглашаю вас. Мой сын как раз в Италии, вероятно на Капри. Художник Амон, которому Бретань не понравилась, взял его с собой. Дело в том, что мой сын тоже рисует. Вы уже знакомы с художниками, которые сюда ездят?

— Пока я знакомился с морем, пристанью, небом...

— Они наверняка у Гаде, это их меценат. Когда мой сын вернется, его вы тоже найдете там. — Корбьер постоянно вспоминал о сыне. — Он и стихи пишет. Но гораздо лучше управляет парусами. Увы, он не смог окончить учение. Все эта болезнь, мне жаль его.

В небольшой гостинице возле пристани за столом сидело несколько бородатых мужчин в беретках, с трубками в зубах, они громко разговаривали, спорили, какие типы старых моряков лучше всего годятся в натурщики.

Вскоре Ярослав представился и подсел к ним. Они называли свои имена, некоторые ему уже были знакомы: Друзэ, Нуар, Лафенетр... Когда он упомянул, что его приглашал сюда Букэ, все закивали:

— Еще бы, он тут каждый год бывает. Странно, что в этом году не приехал...

— Приедет, — пообещал Чермак, — он назначил тут со мной встречу в августе.

Ярослав обратил внимание, что на дверце старого шкафа нарисован моряк. Подойдя поближе, он стал искать под искусным рисунком подпись. Дым из трубки моряка вился в виде буквы «S».

— Кто это рисовал? — оглянулся он.

— Этот некогдай Корбьер, — прозвучал ответ. — Гроза Роскофа.

Один из художников открыл свой альбом и показал рисунок, изображавший тощего мужчину в высоких сапогах.

— Вы скажете, это карикатура, но он и в самом деле так выглядит. Высокий, нос вот такой длинный, иногда он носит сабо... Дети обзывают его Ан-Анку... Знаете, что означают эти бретонские слова? Призрак смерти... Они его боятся.

Художники рассказывали Ярославу о выходках Корбьера. Однажды, когда шла месса, он из окна дома начал стрелять по площади из ружья и пистолета, а когда перепуганные люди выбежали из церкви, улыбнулся и мило кивнул им: «Ничего не случилось...»

— Он называет себя Тристан, судно назвал «Тристан», свою собаку — тоже...

— Почему — Тристан?

— В честь Тристана из предания. Говорит, что это был его брат.
— Он мысленно живет в прошлом?
— Но людей мучает в настоящем. Свою собаку он водит на веревке длиной тридцать метров, чтобы та путалась в ногах у прохожих.

— Похоже, он не без таланта, — разглядывал Ярослав смелый набросок на дверце шкафа.

— Бедняга, — пожалел Корбьера художник Нуар. — Мечтал, вероятно, о многом, все рухнуло, вот он и превратился в пародию на самого себя... Маска, под которой скрывается больная душа.

Ярослав был рад, что встретил тут небольшое общество художников. Ему хотелось увидеть, как они справляются со здешним морем и воздухом над ним, с небом, которое поминутно меняется. Они охотно раскрыли свои папки. Ярослав увидел, что им знакомы достижения молодого Парижа и они стараются не отставать.

— Вот так это делает Манэ, — показывал Лафенетр игру оттенков, исполненную достаточно уверенно.

— Вода притягивает молодежь, — сказал старший из художников, Нуар.

— Потому что доказывает, — сказал Лафенетр, — что локальные цвета — ложь. В воде масса цветовых нюансов, там, собственно, все представляет собой отражение...

— Но сделать ее притом легкой, холодной и свежей — вот задача. Когда залив открыт ветрам, как здесь, — обратился Нуар к Чермаку, — вода действительно ежеминутно меняет цвет. Тут нужно поворачиваться чертовски быстро, если не хочешь мошенничать...

— Здесь много такого, на что стоит посмотреть, — вмешался Друз. — Вы уже видели великолепную колокольню в Сен-Поле?

— Крейскер? Пока только из поезда. На таком расстоянии она выглядит совершенно воздушной, созданной для того, чтобы сквозь нее пролетали птицы — или ангелы...

— Вы недалеко от истины. Там есть колокольчик, весящий килограммов пять, принесенный из Ирландии святому Полю рыбой, — в него можно позвонить...

— Вы встретите тут восхитительные часовни! Роскофская маленькая костница — это просто жемчужина!

Ярослав признался, что его больше влечет море.

— Наверное, потому, что люблю ходить под парусами. Я хотел бы купить лодку.

Они позвали хозяина гостиницы Гаде, и тот обещал ему найти рыбака, который продает парусник.

Наутро следующего дня в его дверь постучал рулевой Кренью и пригласил прогуляться по морю; они изъездили вдоль и поперек залив между пристанью и островком Ба. Кренью предупредил относительно скрытых мелей и рифов, показал, куда в какое время до-

ходит прилив. Когда Ярослав увидел десятки подводных скал, ему показалась неразумной та смелость, с какой он несколько лет назад отправился отсюда в сторону Джерси. Но плыть в открытом море было проще, чем освоить весь залив, чтобы безопасно бороздить его в любом направлении.

Ярославу все казалось ясным. Правда, он привез кое-какие этюды на черногорские темы, но их завершение решил отложить до зимы в Париже. Жизнь в Роскофе он посвятит Иполите, отдыху, здоровью, спорту. И потому все, что он воспринимал, было связано с новым стремлением к свободе; в нем родилось желание запечатлеть на полотне дикое побережье и его жизнь.

Когда Иполита отложила приезд, поскольку в ее гардеробе еще не было всего необходимого, чтобы жить на побережье со столь изменчивым климатом, он решил поехать по Бретани. Провел вечер в обществе загадочных менгигов, вросших в землю, словно символы таинственного богослужения, посетил несколько старых деревень с величественными кафедральными соборами и каменными голгофами, больше всего он был очарован портом в городе Сен-Мало; его поразили гигантские крепостные стены, построенные Вобаном, дома разбогатевших пиратов, а вечер он провел на островке Гран-Бе, где поэт Шатобриан купил для своей могилы кусок скалы. Там, под простым крестом, он и был похоронен двадцать лет назад; каждый день волны прилива дважды отделяли его от материка, оставляя в полном уединении.

Когда Ярослав вернулся в Роскоф, он узнал, что кухарка Дюма выполнила свою угрозу и уехала.

Ярослав вышел на свой первый ночной лов. Ему доставляло радость бороздить тихий залив, освещаемый далеким огнем маяка на острове Ба. Он повстречался с господином Робино.

— Я тут ловлю для мушкетеров! — закричал тот. — Дюма замечательный человек. Вообразите, мне, деревенскому цирюльнику, он платит столько же, сколько парижскому парикмахеру.

— Может, он приплюсовывает к плате и рыбу?

— Что вы, за нее я не взял бы ни су, это помощь литературе.

Когда в полдень следующего дня Ярослав посетил Дюма, то застал его за столом, заваленным листками с заметками. Подивился обстоятельности, с какой великий писатель занялся новой работой. Дюма уже полностью был в курсе дела: точно знал продолжительность жизни устрицы и все способы приготовления артишоков.

— Я пишу эту книгу для цивилизованных людей, а не для дикарей, — объяснил он. — Даже у богов Олимпа был не слишком-то развит вкус. Да и как они могли его развить, если питались одной амброзией, а пили нектар? Сарданапал в этом деле зачинатель: он назначил премию в тысячу золотых тому, кто придумает новое блюдо. Римляне пошли еще дальше: это мы от них переняли — выбрать

себе живую рыбу, которую нам должны приготовить. Они даже с удовольствием смотрели, как, скажем, чебак во время приготовления меняет цвет. В Неаполе я жил возле дворца, в котором Лукулл угощал Цицерона. А знаете его наказ поварам, когда он желал особенно полакомиться? Он звучал так: сегодня Лукулл обедает у Лукулла.

Ярослав шел круто к берегу, потом потравил шкоты и повернул против ветра.

— Ты словно с детства рос на море, — удивлялась Иполита.

— Тогда я, вероятно, не получал бы такого удовольствия. Ты же видела, как я начинал в Остенде.

Дождавшись в августе приезда Иполиты, Ярослав уже к первому дню ее рождения, отмечаемому в Бретани, преподнес ей свидетельство своего нового увлечения — рисунок маслом: девочка в фартуке и белом платке, завязанном крест-накрест на груди.

Иполита энергично принялась налаживать жизнь, и Ярослав старался ее поддерживать; он знал, что пребывание в новой обстановке, столь близкой к природе, может не только влить в них новые жизненные силы, но и очистить чувства. Поскольку Бюшероны остались в Париже — Амалия ждала ребенка, — все было проще.

Когда ателье было обставлено, Иполита пригласила на вечеринку друзей Ярослава. Звездой ее должен был стать Александр Дюма, однако тот извинился, потому что собирался уезжать, ибо в Роскофе, как он утверждал, мало женщин. Но тут были капитан Виктор Фаллак, нотариус Салаэн, морской комиссар Моро, который хорошо пел, несколько художников. Все они были не слишком светскими людьми, но старались, хотя и довольно неуклюже, вести себя галантно.

— Мадам, я не выпью, прежде чем вы не коснетесь губами этой рюмки! — восклицал Фаллак, утверждая, что это испанский обычай.

Пришлось Иполите пригубить все рюмки. Она была весела, смеялась, радовалась, что и Мария, превратившаяся в стройную, привлекательную девушку, и мадемуазель Дальбе, которая была с ними еще в Мандалене, могут развлечься. Вечеринка проходила в основном в рассказах о забавных морских историях, иногда, из-за присутствия дам, не заканчиваемых, но казалось, гости были довольны и в следующее воскресенье пригласили дам на регату.

По окончании соревнований Ярослав отвез Иполиту с Марией на остров Ба и устроил там роскошный пикник. Он был влюблен в серебристо-белые дорожки с мягким песком и в пустынные пляжи острова, открытые океану. С обеих сторон дороги тянулись склоны, заросшие серо-голубым чертополохом, который Иполита нарвала, чтобы поставить в вазы.

— Тут красиво, но грустно, — рассуждала Мария. — Даже птицы не поют.

— Но люди тут счастливее, чем на материке. Они живут единой семьей и были республиканцами задолго до революции. На острове человек всегда больше общается с морем, чем на побережье. Если вам иной раз покажется, что я долго не возвращаюсь, значит, меня удерживает остров Ба.

Когда они плыли назад, небо на западе походило на порозовевший василек, а над парусом стремительно проносились птицы с красными клювами.

— Это тарек, морская ласточка, — показывал Ярослав Марии. — Эти птицы любят тепло и вот предсказывают вам на каникулы хорошую погоду.

Они добрались в последний момент перед отливом, когда еще возможно было пристать близко к берегу. Ярослав поставил свой «Бриз» на якорь, опустил паруса и с помощью Марии запихнул их в мешки.

— Не надо их сложить поаккуратнее?

— Так воздух легче получает к ним доступ.

Вскоре Роскоф являл собой печальную картину города, утопающего в грязи. На побережье стояли повозки, и люди вилами накладывали в них водоросли, принесенные приливом. По молу бродило несколько рыбаков.

— Виржини мне сказала, что тут где-то зарыты большие клады корсаров. — Мария была очарована новой обстановкой.

— В ваших глазах уже синее море, — сказал ей Ярослав, — оно наверняка откроет вам, где искать эти клады.

Он показал ей место высадки на берег малолетней Марии Стюарт, когда та бежала от англичан в Париж, где впоследствии стала французской королевой.

— В том доме с аркадами и красивой башенкой, в конце сада, она переночевала. В память о ней тут была заложена часовня, но от нее остались только эти замурованные двери. Сейчас собирают деньги, чтобы привести стену в порядок.

— Вы знаете что-нибудь еще, связанное с историей? — загорелась Мария.

— Двести лет спустя тут сошел с корабля, в лохмотьях и босиком, «блудный принц» Карл-Эдуард, тоже Стюарт. Его привез сюда один корсар из Сен-Мало. С ним прибыл «красивый полковник» — это была мисс Женни Камерон.

— Это похоже на прекрасную сказку, — вздохнула Мария.

— Все прошлое Роскофа богато приключениями: битвы, пожары, кораблекрушения... Надеюсь, мы будем жить спокойнее.

Когда вечером они остались вдвоем с Иполитой в его ателье, она сказала:

— Я давно не видела тебя таким сияющим, как в те минуты, когда ты вез нас по волнам прибоя на остров.

— Это неизъяснимое чувство — перед тобой море, а в руках — канат и руль. Яхта вздыбливается и покоряется. Ты чувствовала это? Может, и нет, ведь яхта и женщина в чем-то схожи, потому, вероятно, мужчина и ощущает это более чутко. В Остенде я думал: для плавания необходимы лишь мужество и сила. Но яхта требует и нежности, понимания...

— Значит, ты здесь в мое отсутствие вступил в брак со своей яхтой?..

— Нет, нет, яхта не жена, не мать...

— Что же тогда?

— Яхта сильна и независима. Она готова жить бок о бок с мужчиной, но не более, да и то если он сумеет ее понять. Это образ полноты жизни, совместной работы, приносящей победу...

Иполита смотрела на него, и глаза ее блестели, как в ту пору, когда он начинал ее завоевывать. Она почувствовала, что в этих словах, пусть произвольно, он высказал нечто касающееся их двоих. Он ей нравился, и она готова была подчиниться. Ее поделуй был нежен и пылок.

ПОРАЖЕНИЕ ФРАНЦИИ

С начала 1870 года пульс Парижа был учащенным. Над Францией явно сгустились тучи, но те, кому следовало бы заботиться о безопасности страны, словно о том не ведали — они по-детски подливали масло в огонь растущего недовольства.

Рошфор сменил «Фонарь» на еще более воинственную «Марсельезу». В январе журнал вышел в траурной рамке. Принц Пьер Бонапарт, двоюродный брат императора, писавший статьи в корсиканском журнале, вызвал Рошфора за его критическую реплику на дуэль; коллега Рошфора Паскаль Груссе направил к Бонапарту двух молодых друзей, чтобы остеречь его. В результате возникшей ссоры вспыльчивый принц застрелил молодого Виктора Нуара. Его, правда, арестовали, отправили в королевскую тюрьму, но вскоре освободили. Узнав об этом, люди вышли на демонстрацию. Над Парижем веял старый ветер баррикад. «Да здравствует республика!» — прозвучал знакомый крик. Рошфор написал: «Было слабостью поверить, что Бонапарты могут быть чем-то иным, кроме убийц...»

В похоронах популярного Нуара принимало участие несколько тысяч человек. У могилы произнес речь молодой ученый Гюстав Флуран, желавший немедля идти на Париж и свергнуть императора; но он был задержан, к нему присоединилось всего шестьдесят смельчаков. На суде принц в свою защиту утверждал, что Нуар

первым его ударил. Доктор Тардье хотя и не присутствовал при инциденте, но в качестве эксперта подтвердил, что, судя по оставшимся следам, это вполне правдоподобно. На следующей лекции студенты освистали его.

В январе Ярослав проводил на кладбище и старого революционера Александра Герцена, умершего во время пребывания в Париже.

Атмосфера была раскалена и напряжена. Множилось число дуэлей. За ироническую критику Манэ дал щечину Дюранти, о котором ходили слухи, будто он сын Мериме; Ярослав знал его по тем временам, когда он издавал журнал «Реализм», отстаивая теорию Шанфлера. Они дрались на саблях, и Манэ ранил Дюранти; но потом они все же помирились, и Золя, присутствовавший в качестве свидетеля, с юмором рассказывал в кафе, как после поединка соперники обменялись ботинками.

С просветленной душой вернулся Чермак в тот вечер в ателье. Порадовало его также сообщение, что картину, написанную им на курорте Рагац, купил у Гупиля его торговый представитель в Амстердаме — Тео Ван Гог. Однако дома его ждало письмо от сестры, сообщавшей, что мать серьезно заболела. Он тут же собрал самые необходимые вещи и пошел сказать Иполите, что уезжает в Вену.

— Когда ты собираешься ехать?

— Завтра вечером. Может, это не так серьезно. Думаю, что скоро вернусь.

Но на следующий день сестра телеграммой известила его о смерти матери.

В первую минуту он не мог понять телеграммы, считая это какой-то ошибкой. Лишь постепенно он начинал осознавать случившееся.

Убитый, с мучительной пустотой в душе, сел он к фисгармонии. Опустил руки на клавиши. Это была не музыкальная пьеса, а просто тихие, густые, глухие звуки. Реквием самой болезненной утрате, которая только может постигнуть.

Их совместная жизнь с матерью прервалась, когда он в Остенде решил связать будущее с Иполитой. С той поры прошло почти двадцать лет. Но в начале взлета Ярослава мать, больше верившая в него, чем он сам, и лучше понимавшая возможности сына, находилась рядом, направляла его. Он не сомневался, что и позже она неизменно думала о нем, всей душой радовалась его успехам, тревожилась его тревогами. Надо полагать, мать была недовольна его союзом с Иполитой, идущим вразрез с общепринятыми общественными нормами, ее мучило поведение Ярослава по отношению к Галле, но она наверняка убеждала себя в чистоте его помыслов, чтобы и впредь оставаться его ангелом-хранителем. Она судила его гораздо снисходительнее, чем остальных сыновей. В последнее время они

меньше писали друг другу, но Ярослав знал, что если мать не получала известий от него, то писала его друзьям. Хотя она самоотверженно посвятила жизнь всем своим детям, он чувствовал, что когда мать вглядывалась во все сгущающуюся тьму своими больными слепнувшими глазами, то чаще всего ей представлялись его картины, те, что она еще успела увидеть. Соглашалась ли она? Упрекала?

Он повторял себе эти вопросы, стоя в комнате матери над ее последними заметками, написанными ею, когда она уже ослепла, над корзинкой с вязаньем, над резедой в цветочных горшках. Чермакам была не свойственна преувеличенная нежность в родственных отношениях; но, глядя на своих братьев, Ярослав с жалостью почувствовал, что с уходом матери они не просто осиротели, но и оторваны друг от друга. Он получил больше всех. Обвинял себя в неблагодарности. «Отплатил ли я когда-нибудь за ту безмерную заботу, которой мать с детства окружала меня?»

Мария, словно бы чувствуя его сомнения, сказала, когда после похорон они остались одни:

— Последнее время она постоянно говорила о тебе. Ты был ее утехой.

— Нет, нет, ее утехой была ты. Без тебя у нее, собственно, не было бы дома. В последний раз она с любовью рассказывала мне о твоих детях, Ванде и Витольде...

— Она мечтала о твоём успехе, веря, что для художника это оправдание его жизни.

— Жаль, успех приходит не тогда, когда нужно.

— Она желала одного — чтобы ты был убежден в правильности своего пути.

— С ее точки зрения, я, вероятно, сделал мало...

— Что такое для художника сорок лет? То, что лучшие произведения родителям так и не суждено увидеть, — удел почти всех художников.

— Она наверняка хотела, чтобы мы с Иполитой поженились, и ты этого хочешь, Мария. Я был бы счастлив... Но так нам мстит Галле.

Мария погладила его и улыбнулась:

— Если человеческих сил не хватает, лучше не мучиться.

— Так и мама сказала бы, — поблагодарил он ее.

Ярослав взглянул на себя в зеркало, словно вживаясь в иной образ. Притронулся к вискам. До сих пор он не замечал, что его волосы так поседели.

В мае во время всеобщего голосования Париж четко сказал императору «нет». Когда он проезжал по бульварам, редко уже слы-

шалось «да здравствует!». Он выглядел подавленным, лицо было осунувшееся, говорили, что его мучают приступы желчнокаменной болезни.

Однако Франция забаллотировала Париж и осталась при своем «да». Казалось, некоторые конституционные реформы укрепили положение Наполеона III. Но столкновение с Пруссией было неотвратимо. Лишь война могла доказать, что наполеоновская Франция остается первой силой Европы, и увеличить доверие к императору; сам он, без сомнения, полагал, что война сплотит народ под его эгидой. Люди вспоминали фразу императрицы Евгении, которую она произнесла, указывая на своего сына: «Война необходима, раз этот ребенок в один прекрасный день должен оказаться у власти».

Французский гражданин очутился на мучительном распутье. Он был доволен, что император зашел в тупик; но война означала кровопролитие, и желать катастрофы императору означало в то же время рыть могилы тысячам молодых французов. И потому люди действительно поневоле становились приверженцами Наполеона, когда, охваченные патриотическими чувствами, приходили в ярость от прусского высокомерия.

Среди офицеров царил оптимизм. Полковник Шарлемань, брат которого утонул на фелюге где-то в Индийском океане, говорил, что Пруссия, обессиленная войной с Австрией, не сможет оказать сопротивления французским армиям. Когда Ярослав возражал ему, что в Пруссии введен всеобщий воинский призыв, тогда как во Франции армия набирается по старинке, да еще с вялым равнодушием, тот с улыбкой отмахивался:

— У нас всегда начинается так. Но дайте только нам выступить. Спокойно поезжайте рисовать в Бретань и возвращайтесь праздновать с нами победу.

Роскоф представлял собой иной мир, поскольку бретонцы смотрели на готовящееся столкновение как на конфликт двух иностранных держав.

На Ярослава эта земля на берегу океана воздействовала прежде всего благодаря своему бережно хранимому прошлому. В каменных памятниках ему виделась скорее покорность человеческих сердец, нежели набожность. Он нашел здесь то, чего ему недоставало в Чехии: атмосферу здоровой жизни, протекающей в борьбе с опасностью, чистосердечные взаимоотношения между людьми, человеческое достоинство, которое ни в чем не пыло на уступки.

Он хотел, чтобы холсты, натянутые им в ателье, были посвящены исключительно Бретани.

— Но для этого тебе иногда нужно покидать судно и брать в руки кисть, — упрекала его Иполита.

— Сначала я должен падышаться соленым ветром. Выяснилось,

что у здешних рыбаков плохая карта побережья. Я дал слово Моро, что дополню ее.

В другой раз он принес новость, что записался в команду спасательной службы.

— Всем известно, что я поселился здесь не как турист и умею управляться с веслами.

— Что это значит? Что ты станешь спасать потерпевших кораблекрушение?

Иполита улыбнулась и согласилась. Между ними царило удивительное взаимопонимание, словно оба создавали, что помимо всплеск страсти существует еще любовь, предназначение которой — не завоевывать, а отдавать, когда человек не ждет чувства от другого, а радуется собственному. Поскольку в этом году они пока что жили тут одни, их вечера были исполнены тихого покоя.

— Сегодня мы мало разговаривали, тебе не кажется? — беспокоился он иной раз.

— Разве молчание двух людей, понимающих друг друга, не прекрасней любой беседы?

Однажды ночью из часовни святой Варвары донесся тревожный звук колокола. Ярослав встал и помчался на пост; там находился и капитан Фаллак.

— С этим мы сами справимся, пойдем, — позвал он Ярослава.

В ту ночь Ярослав наконец познакомился с молодым Тристаном Корбьером. Они нашли его со старым рулевым Беллеком и разбитой лодкой на островке, носившем название Зеленый — из-за водорослей, свисавших со скал. Тристан выглядел точно так, как на карикатуре Лафенетра: тощий, некрасивый, с разбойничьей внешностью. Увидев приближающуюся спасательную лодку, он насмешливо крикнул:

— Глядите — ангелы, спасающие маленьких детей над бездной! Вы прибыли не по адресу, господа, здесь вам не удастся совершить доброе деяние.

— У вас в лодке дыра, — с упреком сказал Фаллак Беллеку. — Такой опытный рыбак.

— Он нарочно ее перевернул, направил на риф...

— Зачем?

— Затем, что эта старая морская крыса насмеялась надо мной, говоря, что я еще не попадал в кораблекрушения, — ответил Корбьер.

— Жаль такой прекрасной лодки.

— Ступайте своей дорогой, господа, мы сами о себе позаботимся.

С этого дня Чермак все чаще встречался с чудаковатым поэтом. Передко, когда он на рассвете выходил в море — у входа на пристань еще горели огни, — их дороги пересекались. Возвращаясь, он

видел лодку Корбьера, покачивающуюся на волнах, а в ней — знакомую фигуру, склонившуюся над листком бумаги. А иногда по воде плыли скомканные листки забракованных стихов.

— Он немного тронутый, — сказал Беллек Чермаку, когда тот пригласил его на стаканчик сидра, — тронутый, но любит нашу старую Бретань. Неаполь, говорит, никуда не годен, только возле нашего моря ему легко дышится. У него и дома, в комнате, лодка, и он спит в ней, знаете? Собственно, ему следовало бы беречь себя, а он плавает, пьет, утомляется — хочет урвать от жизни как можно больше... Именно потому, что любит нас.

Пятнадцатого июля была объявлена война. Париж, охваченный воинственной лихорадкой, кричал: «На Берлин!» В этом слышалась жажда возмездия, жажда величия, энтузиазм, даже со стороны тех, кто никогда и не думал о войне. Все верили, что пруссаки получат урок за свою заносчивость. Английские газеты соглашались с Парижем. Французские политики спокойно уезжали на отдых. Изредка слышалось предупреждение: «Пруссия — не страна, имеющая армию. Это армия, имеющая страну».

Иполита послала телеграмму, чтобы Мария немедленно приехала к ней. Появилась тут и Амалия с мужем и маленькой Симоной. Ярослав перебрался в свой домишко. Всюду говорили о том, что происходит на границах. Среди бретонцев в Роскофе были люди самых разных убеждений: некоторые мечтали о королевстве, большинство считало себя республиканцами, Фаллак был социалистом.

— Это поединок двух монархов, движимых личными целями, — оценивал он военный конфликт. — Династическая война.

— Верно, — соглашался Ярослав, — но как жестоко за это заплатят обе страны!

— А сколько уж времени Франция платит за то, что ее эксплуатирует эта банда авантюристов? Повсюду царит коррупция, воровство, никто ни о чем, кроме обогащения, не думает...

Время бежало как будто быстрее обычного. Чермак, зачастую предоставленный теперь самому себе, хотел этот год посвятить отбражению жизни побережья — погрузчикам водорослей, рыбакам, женщинам в праздничной одежде. Когда шел дождь, он приносил домой рыб и крабов и искал на палитре их краски. Однако больше всего волновало его переменчивое, многоцветное непостоянство водной глади и танец парусников на ветру. Как отличаются эти сюжеты от исторических картин, где нужно точно выдержать цвет и как можно тщательнее проработать каждую складку материи, чтобы придать картине подлинность исторического события! Он чувствовал, насколько острее должно быть его зрение, насколько легче становится кисть и как свободно должны выливаться краски, чтобы

движение не казалось безжизненным, чтобы сохранить прозрачность воздуха.

— Ты в этом году рисуешь как-то по-новому,— не ускользнуло это от внимания Иполиты.— Ты не совершаешь ошибки? На тебя повлияли эти молодые?

— Скорее, я тут всегда молодею. Я пытаюсь лишь разгадать правду неба и моря. Я не думаю о Салоне. Просто сам получаю от этого радость и удовлетворение.

Тринадцатого августа он, как обычно, подарил Иполите ко дню рождения картину — на сей раз он назвал ее «Роскофский морской пейзаж». Сильный ветер гнал по серым и серовато-голубым волнам парусник к острову Ба; все, в том числе и далекий силуэт города, выглядело на картине воздушным, как это бывает, когда плывешь на лодке и бросишь беглый взгляд вокруг. Свет мягко струился по волнам.

— Я словно вижу все это перед собой, — после минутной заминки признала Иполита,— словно я на другом паруснике — и вдруг подняла глаза...

— Меня эта картина тоже радует больше, чем я ожидал, начиная ее. Когда рисуешь исторический эпизод, там все твердо и устойчиво, потому что все происходило на самом деле, люди носили определенную, принятую в ту пору одежду, пользовались определенными предметами, выглядели так или иначе, все это известно... Но на море впечатления быстротечны: нахлынут — и улетучатся, промелькнут — и быстро исчезнут... вот это задача для художника...

К концу лета спокойная работа была нарушена новыми тревогами. Начались перебои с доставкой газет, и тем упорнее люди стремились узнать новости. Всякий вновь прибывший чувствовал себя словно на допросе. Выяснилось, что намерение Наполеона вторгнуться в Германию потерпело неудачу по всей линии. Полки Мольтке продвигались вперед, а французы с трудом оборонялись. Парламент выразил враждебность народа к императору и отклонил выдвинутые Наполеоном требования новых военных ассигнований. Дала себя знать внутренняя раздвоенность Франции. Одна ее часть была готова скорее смириться с поражением своей страны, чем согласиться с триумфом императора. Лавры Сольферино быстро увядали. Солдаты кричали: «Позор императору!» Тот передал верховное командование генералу Базену, а сам решил на оборону в Седане.

— Он будет драться до последнего солдата,— полагал Фаллак.— Диктатору хорошо известно, что он должен вернуться победителем, иначе ему конец.

Но по сообщениям бельгийских газет, которые присылали Ярославу, и по сообщениям, привозимым ранеными французскими офицерами, ожидания Фаллака не оправдались. Узнав, что Вильгельм

собирается бомбардировать Седан, Наполеон решил совершить хоть один добрый поступок и сохранить жизнь солдатам и горожанам. Он приказал сжечь знамена своих полков, чтобы те не достались врагу, и выкинул белый флаг.

Фаллак приносил Ярославу листовки Рабочего союза с ответом немецких рабочих на призыв французских: они тоже хотят мира, работы и свободы. Однако война показала, что одной доброй воли недостаточно.

Первого сентября Наполеон встретился с Бисмарком. Императору пришлось наложить на лицо грим, чтобы скрыть бледность от унижения и болей в желчном пузыре. Он сдался немцам вместе со своей восьмидесятитысячной армией.

Люди в Париже и других местах мстили символам власти. Большие «Н» сбрасывали в реки. По прошествии двадцати лет империя рухнула, словно карточный домик. В Париже повторялись сцены 1848 года. Имена кандидатов выкрикивались из окон ратуши, и народ обсуждал их. Тот, кто до сих пор томился в тюрьмах, пользовался преимуществом.

На шоссе и в поездах было полно беженцев, спешивших из Парижа на побережье или в Англию. С помощью какого-то американца удалось бежать и императрице с принцем. Пруссаки тем временем приближались к столице. Чермак просил друзей писать ему, Иполита тоже ждала сообщений от родных и знакомых, но вскоре город был окружен таким плотным кольцом, что все почтовые связи прервались.

В это время после двадцатилетнего изгнания в Париж вернулся Виктор Гюго. Пушка, купленная на гонорар за его книгу «Возмездие», была названа в честь нее. Париж рабочих и ремесленников, Париж молодых людей, большей частью организованных в батальоны национальной гвардии, хотел защищаться. Из своих скудных заработков франк к франку собирали парижане деньги на новые пушки.

Художники Дега и Ренуар служили в армии, старший лейтенант Манэ — в национальной гвардии под командой полковника Мейсонье. Краски на палитрах засыхали.

В октябре у Меца генерал Базен сдался со ста сорока тысячами солдат, проклинаемый народом как изменник. Положение в осажденном Париже быстро ухудшалось.

С опозданием пришло в Роскоф сообщение, что Дюма-отец тихо скончался в доме у сына. Говорят, в последние минуты старик отчаянно просил у сына заверений, что кое-что из его произведений останется в будущем.

Французские газеты тотчас перестроились на либералистский лад. Выяснилось, что даже во времена империи чуть ли не каждый был скрытым республиканцем. Но Франция оставалась одинокой.

Австрия была ослаблена. Италия хотела наконец завладеть папским Римом, до последней минуты поддерживаемым Наполеоном. На первых республиканских выборах депутатами оказались люди, бывшие испытанными поборниками свободы: Виктор Гюго, Луи Блан, вернувшийся из Лондона, даже Гарибальди, воевавший на стороне французов против пруссаков. Но вследствие путаницы в умах вместе с ними было избрано и множество реакционеров, боявшихся собственного народа больше, чем противника.

Близилась трагедия, но никто еще не предчувствовал, какую форму она примет.

Тщетно Гюго взывал к пруссакам, чтоб они пощадили Париж, принадлежащий всей Европе и олицетворяющий ее душу. Пруссаки стремились развить успех и войти в ворота столицы. Наконец город, укрепленный девятью десятками бастионов и шестнадцатью крепостями, в каждой из которых было по пятьдесят пушек, город, защищенный прочными стенами, сдался. Однако немцы заняли лишь часть некоторых кварталов и парки; выяснив, что национальная гвардия отказалась сдать оружие, они даже не рискнули совершить триумфальный марш.

Газеты в канун падения Парижа писали, что осталась последняя надежда на полки бретонских моряков под командованием графа Эмиля де Кератри, известного тем, что недавно он отправился на воздушном шаре в Испанию, чтобы заручиться там поддержкой. Получить ее не удалось, но Кератри вернулся и вновь стал во главе нескольких тысяч бретонцев, готовых драться за Париж, который для них в эти минуты наивысшей опасности стал сердцем и их собственной родиной. Журналисты восторженно писали о людях, на кепи которых была эмблема — белый горноста́й, некогда избранный королевой Анной вместе с надписью: «*Potius mori quam foedari*» («Лучше умереть, чем запятнать себя позором»). Бретонцы готовы были претерпеть любые лишения, спали на земле, под дождем. Покаявшись в верности, они умели хранить ее даже ценой собственной жизни.

В Роскофе возникла мысль, что надо бы отправиться на помощь тем парням. Чермак оказался среди первых, кто изъявил желание. Но не успели они сформировать отряд, как в конце января пришло ошеломляющее сообщение. Кератри тщетно просил оружие. Республиканское правительство явно не доверяло солдатам из мятежного края и послало бретонские полки на пруссаков с голыми руками, без ружей.

— Видали, и это французы! — бесился Фаллак, захлебываясь от ярости. — Хотели от них избавиться. Вот как поступает Франция. Бретонцы готовы были умереть, но в бою, а не на бойне! Такое в истории не впервые, друзья. И это навсегда останется в нашем сердце...

Иполита, воспользовавшись тем, что дорога вдоль океана была свободной, уехала с семьей на южное побережье Атлантики. Ярослав остался в Роскофе один. Но сюда приехали несколько раненых офицеров, которые внесли оживление в жизнь городка. Ярослав в основном встречался с ними в портовом кабачке у старого Ле Гуалека, дочь которого Жанетта разносила пиво, вино и сидр. По субботам и воскресеньям там бывали танцы. Заглядывал сюда и молодой Корбьер, но с ним не так-то просто было сблизиться. Он по-прежнему любил дразнить горожан: однажды после мессы появился на балконе своего дома в сутане, привезенной из Италии, и с митрой на голове, насмешливо благословляя людей, возвращавшихся из храма.

Выпал мягкий, рыхлый снег и вскоре растаял.

Как-то в канун весны Ярослав познакомился у Гаде с молодой парой: это был граф Рудольф де Баттин со своей белокурой, вызывающе красивой женой. Граф, раненный на войне, прослышал о целебном действии роскофского воздуха, он погружал руку в прилив и окуривал ее дымом от водорослей. Вечерами сидел у Гаде и охотно проигрывал в карты — причем не любил низких ставок.

Корбьер с первого мгновения близко сошелся с ними. Он приглашал молодых супругов к себе домой и катал их на яхте, получившей вместо прежнего названия «Тристан» новое — «Марчела».

— Это в честь графини, — сказал Беллек. — Влюбился по уши.

— Не думаете ли вы, что она и впрямь жена Баттина? — выдал Чермаку тайну хозяин трактира. — Если хотите знать правду, это итальянская комедиантка из какого-то театра на окраине. Ее зовут Жозефина Кукиани. Но мне следует написать старому господину, чтобы он приехал присмотреть за сыном. Вчера тот выпил в ее честь бутылку водки и свалился замертво. Я боялся, ему конец.

Безумная любовь молодого поэта и его сумасбродства — единственное, что нарушало покой, вызывая зыбь на тихой глади портовой жизни.

Но весной из Парижа поступили новые, ужасные сообщения, вызвавшие не только напряженное ожидание дальнейших событий, но и разногласия. Газеты писали одно, письма и свидетельства очевидцев говорили другое. В конце марта Тьер хотел украсть пушки, которые народ купил на свои деньги. Это ему не удалось. Массовое недовольство вылилось в провозглашение Коммуны, правительства парижского муниципалитета.

Картина событий в Париже воссоздавалась по обрывочным известиям и дополнялась случайными свидетельствами.

Из трехсот тысяч национальных гвардейцев на призыв Тьера явилось всего несколько сот. Когда генерал Леконт приказал солдатам стрелять на Монмартре в народ, его схватили и казнили. Коммуна издала первые законы и распоряжения: был установлен мини-

мальный предел заработка, ликвидированы ломбарды, увеличены сроки уплаты задолженности за жилье, созданы производственные товарищества, в обязанность которых входило заботиться о том, чтобы у людей была работа. Опасения по поводу насилий не подтвердились. Издали Париж казался городом, радующимся свободе, украшенным красными знаменами. Люди поют, фотографируются, не помышляют об уничтожении домов и дворцов. Лишь гильотина была торжественно сожжена, и Домье нарисовал статую Вольтера, аплодирующего этому событию. Курбе, основавший Федерацию художников и ставший председателем художественного совета, распорядился разрушить Вандомскую колонну, символ насильственных войн. Газеты напечатали фотографию поваленной колонны, а возле разбитой статуи императора увековечивали себя коммунары в кеги национальной гвардии и господа в цилиндрах. В «Шаривари» Ярослав видел карикатуры Домье и рисунки других художников — Клерена, Пети, — встречались там имена итальянских и польских авторов, и ему иной раз казалось ошибкой то, что он находится вдали от событий, волнующих Париж.

Однако вскоре стало совершенно ясно, что правительство, бежавшее в Версаль, намерено более энергично бороться с Советом Коммуны, нежели с пруссаками, с которыми оно заключило позорное перемирие. Тьер обещал Бисмарку уплатить контрибуцию в размере пяти миллиардов франков, но только после усмирения Парижа. Чтобы это произошло как можно быстрее, Бисмарк, по просьбе Тьера, освободил из плена несколько десятков тысяч французских солдат, не подвергшихся пагубному влиянию Коммуны, да еще пообещал пропустить сквозь кольцо осады части, атакующие Париж. Бывшие враги объединились, усмотрев в Коммуне общую опасность.

В конце мая Тьер приказал своим генералам перейти в наступление. Батальоны Коммуны сражались мужественно, но у них не было ни твердой организации, ни единого командования, им не хватало пушек, которые по вине руководства Коммуны бездействовали, не хватало денег, а они лежали нетронутыми в государственном банке. Солдаты, отпущенные из плена, хотели смыть с себя позор поражений и доказать, что они все-таки способны воевать; захватив благодаря предательству несколько бастионов, они продвигались в город. Офицеры внушили им, что они борются с величайшей пагубой человеческого общества, с преступниками, выродками, изменниками родины. В немецких и бельгийских газетах описывались убийства на улицах, в домах, в кафе. Преступление, которое Париж не простил Наполеону, во сто крат умножило республиканское правительство. Корреспонденты сообщали, что в уличных боях было убито тридцать тысяч парижан, что по меньшей мере столько же будет осуждено и выслано в Новую Каледонию.

— Видите, — стучал Фаллак по газете, сидя за столиком в не-

большой гостинице, где он встретился с Ярославом.— Кто был прав? Победенная армия охотно объединяется с врагом, лишь бы подавить народ. Казнят, истребляют людей, словно зверье... А пруссаки с удовольствием наблюдают, как Франция сама себе пускает кровь.

— Что-то говорит по этому поводу бедняга Гюго? — вспоминал Ярослав совместное джерсейское приключение.

— Республиканское правительство считает его старым шутком, фокусником, фразером. В его окна швыряют камни. Пусть, мол, он убирается к Барнему со своими шарлатанскими цимбалами.

— Время, полное несправедливости и ошибок. В нем трудно разобраться.

Фаллак показывал ему и копии писем, полученных из Лондона. Карл Маркс предостерегал в них Коммуну от опасности запутаться в мелочах, хотя и находил слова, полные признательности парижским рабочим за их борьбу.

Но в июле Париж уже притих. Победил Тьер, в действие вступили старые законы, военные трибуналы пачками осуждали тех, кто подозревался в каких-либо связях с Коммуной, деньги победили мечту, сила правящих — жажду справедливости. Тысячи людей были сосланы на острова, превращенные в места заключения и каторжных работ. Фабриканты готовы были примириться с меньшим числом рабочих, лишь бы правительство гарантировало порядок. Пожар в ратуше уничтожил много ценных картин. Курбе был заключен в тюрьму Сент-Пелажи, и Ярослав с изумлением и неприязнью читал грубые выпады против него Александра Дюма-сына, написанные, должно быть, по требованию Тьера.

В конце 1871 года Франция оказалась обескровлена, это была страна, потерявшая престиж, совершенно дезорганизованная, лишенная веры в себя, опечаленная утратой Эльзаса, потрясенная кошмарами массовых убийств, не имевших себе подобных в истории.

Острили лишь на тему декрета папы о непогрешимости. Дело в том, что он предрекал Франции победу.

Множество почтовых отправлений в течение беспокойных летних месяцев пропало. Так прервались и переговоры Чермака с Пинкасом о его приезде в Роскоф. А Пинкас тем временем окончательно обосновался в Праге.

Ярослав часто размышлял об изменившейся ситуации в Европе. Он осуждал малообразованных французских журналистов и предвидел, что теперь высокомерию пруссаков не будет границ. Представлял себе Прагу в огне нового политического пожара. Послал на выставку Общества св. Луки акварель — воспоминание об Анжеле из Рима, — и Неруда написал о ней в «Народных листах», что она «преlestна и совершенна». Но Ярослав не спешил домой. Его Прага медленно вымирала: Левый, скульптуры которого тщетно дожидались мецената, который бы о них позаботился, умер, окончилась

полная страданий жизнь Йозефа Манеса, творчество его, значение которого принижалось и было непонято, осиротело. Ярослав знал, что и для него в Праге нет надежды на какую-нибудь работу и в новых условиях ему придется заниматься лишь мелкими картинами на продажу да портретами.

Но мир, словно задавшись целью внушить ему, что нельзя терять мужество, доказывал, что о нем не забыли. Академии Гента, Амстердама и Роттердама после успеха его полотен на выставках избрали его своим почетным членом. Это доставило Ярославу временную радость, но им овладел страх, словно он потерял веру в осуществление дальнейших планов. Он чувствовал, как тают его жизненные силы. У него даже не хватало энергии благодарить за оказанную честь. И письмо «Художественного клуба», сделавшего его своим почетным членом, осталось без ответа.

Ярослав ненадолго вернулся из Бретани в Париж, чтобы взглянуть, велик ли ущерб, нанесенный его ателье прусской бомбой. Все окна были выбиты, снаружи проникал дождь, всюду лежала грязь. Но его ожидали и более горькие утраты. Он узнал, что одаренный Базиль пал в одном из бессмысленных боев. Дети на улицах все еще продавали сувениры — осколки прусских снарядов.

С радостью вернулся он к Иполите, вновь поселившейся в Роскофе.

«Со времени последнего письма наша жизнь, к счастью, все та же, — писал он Пинкасу. — Однообразно приятная монотонность созерцательной жизни продолжается...».

Время от времени на набережной, где пылали костры из сухого дрока, он встречал молодого Корбьера. С той поры, как граф Баттин с Марчелой уехали, Тристан ходил по городу словно в воду опущенный. Однажды Ярослав увидел, как он рывками передвигается по улице: поги его были связаны, на плечах — белое покрывало, на голове — красная шапка. Что он хотел этим продемонстрировать? Связанную свободу? Собственное порабощение? Этого никто не знал. Подростки кричали вслед:

— Призрак смерти, куда идешь?

Он не отвечал, мрачный, некрасивый, с насмешкой и злостью в глазах.

В конце октября Ярослав остался в Роскофе один. Он заканчивал морскую карту для рыбаков и переносил на полотно эскизы прибрежных скал — писал картину «Жизнь на побережье», которую собирался отправить на парижскую выставку.

«Два месяца в Роскофе укрепили и омолодили меня, с новыми силами берусь за работу. Думаю, зима будет суровой — утки, гуси и лебеди пролетели над Роскофом в конце октября, а сегодня уже выпал снег...».

ПЕЧАЛЬНЫЕ ВЕСНЫ

— Как прекрасна была для нас республика в период Империи, — иронически улыбался капитан Тори, встретившись с Ярославом. — Тогда нам казалось, стоит взмахнуть волшебной палочкой — и все изменится... А сегодня? Еще немного — и мы заговорим: золотая пора Империи...

Тори был одним из ста свидетелей, прошедших перед трибуналом в Трианоне, когда судили генерала Базена. Нация стыдилась унижительного поражения, и ей нужны были виновные. Газеты охватила жажда справедливого возмездия, и они обвиняли кого попало.

— Если никого не отыщем, — продолжал Тори, — сойдемся на том, что истинный виновник — Оффенбах. Потому что он убаюкал своей музыкой Францию до такой степени, что она забыла о чести.

— Я знаю Париж, — ответил Ярослав. — Он любит покой, но об истреблении Коммуны не забудет. Каждое воскресенье у стены кладбища Пер-Лашез можно встретить сотни молодых людей.

— Верно, — кивнул Тори, — но развлечения также снова завоюют себе право на жизнь.

Вышел новый роман Жюль Верна, поговаривали о безумных стихах неких Рембо и Верлена, читали Доде. Курбе, от которого за разрушение Вандомской колонны потребовали возместить убытки в сумме трехсот пятидесяти тысяч франков, скрывался в Швейцарии.

Художник Гастон Лафенетр, знакомый Ярославу по летнему отдыху в Роскофе, однажды сообщил, что к нему приехал Корбьер.

— Что он делает в Париже?

— Ищет ателье и собирается рисовать.

— А его любовь?

— Она ходит за Баттином словно тень и поет ему бретонские песни. Но думаю, Корбьер разочаровался. В Роскофе Марчела была единственной. Сколько подобных Марчел он встречает тут ежедневно?

— Он чем-нибудь занимается? Над чем он работает?

— Не знаю. Весь день спит, а ночью встает. По крайней мере мне он говорил так. Но он любит мистифицировать.

Когда однажды в послеполуденный час Ярослав с Иполитой гуляли в Люксембургском саду, он увидел Корбьера, пускавшего в бассейне раскрашенные бумажные кораблики.

— Ты разрешишь? Я хотел бы с ним поздороваться.

Ярослав подошел к нему.

— Это вы? — На сей раз лицо Тристана искренне сияло. — Я рад, когда вижу кого-нибудь из наших краев. Смотрите, вот она, парижская замена морю, — указал он на спокойную гладь бассейна. — Как вы? Рисовали?

Он с любопытством вытащил альбом, торчавший у Ярослава из кармана. На первых страницах нашел несколько набросков голых деревьев и ветвей.

— Это всего лишь мелкие зарисовки, — сказал Ярослав.

— Вы делаете ошибку, — доверительно заметил Тристан. — Рисуете то, что видите. Правильнее было бы рисовать то, чего мы никогда не видели и не увидим. Когда изображается лишь свое нутро, никто не может сравнивать и критиковать вас... Вы не согласны?

— Но почему бояться критики? — улыбнулся Ярослав. — Впрочем, нынче небольшие картинки довольно хорошо раскупаются. Когда у вас что-нибудь будет, мы с вами зайдем к Гупилю. Сам я, конечно, намерен рисовать не только свое нутро, но и окружающий мир. И что-нибудь сказать о нем.

Тристан усмехнулся, пожал плечами и начал мастерить новую лодочку.

— У него все в порядке с головой? — спросила Иполита, когда Ярослав вернулся.

— Может, и не совсем. Но иногда это бывает в результате чрезмерной чувствительности, когда уже нет сил превозмогнуть боль.

Вся весна представляла собой череду печальных дней. Иполита опять простудилась и получила воспаление легких, затем плеврит. Она слабела, мучилась, врачи были озабочены. Ярослав ежедневно навещал ее и весь остаток дня тревожился; к вечеру снова заходил справиться, как она себя чувствует. Хотя Иполита сама отпирывала его работать — знала, что он собирается закончить своего «Раненого черногорца» для первого республиканского Салона, — он не мог сосредоточиться на работе. Только когда врачи разрешили ей уехать на юг, в Ниццу, когда он мог быть уверен, что ее состояние улучшается, он энергично набросился на работу. Нужно было спешить и потому, что он мог оставаться в ателье на улице Монтень всего несколько недель — муниципалитет скупил здесь дома в интересах общественного строительства.

Жюри приняло как «Раненого черногорца» (под названием «Эпизод из черногорской войны»), так и роскофский натюрморт «Охота и рыболовство», выбранный Ярославом для контраста. А в общем, за участие в выставке шла обычная борьба. Курбе тоже рискнул прислать свои произведения для Салона, но Мейссонье, стоявший во главе жюри, заявил, что для него Курбе умер. Из художников один Пюви де Шаванн в знак протеста вышел из жюри, но кончилось тем, что и его полотна были отвергнуты. Ярослав вновь восхищался пейзажами Коро. Они были написаны в холодной серой гамме, но в них был трепетный свет, словно подсказанный музыкой. «Красота в искусстве — это правда, выкупанная во впечатлении», —

повторял он лирическую формулу Коро. Это был скромный художник; известно было, что Делакруа он назвал орлом, тогда как о себе говорил, что он всего лишь ласточка, поющая короткие песни в серых тучах. Он позволил себе руководствоваться чувством и упорно шел за ним, потому он и не сделался эхом больших художников, а обрел собственный голос.

Ярослав оценил также картины Эдуарда Детая, носившие общее название «Победители». Это была ирония художника по адресу победителей последней войны. Самым известным сделался сюжет «Немецкие евреи скупают у немецких солдат военную добычу» — обвинение в грабеже. Вследствие прусского дипломатического демарша картину пришлось снять, но Гупиль издал ее фотографию, и таким образом она стала известна всему Парижу.

«Масса выдающихся картин, — сообщает Ярослав Пинкасу, — стоишь просто пораженный силой французского творчества».

Его картина, сопровождаемая в каталоге текстом Луи Леже, висела в углу у двери, и на нее падала тень. Но посетители толпились перед ней и долго ее рассматривали. Ее реалистичность и благородство производили большое впечатление. Покупали и фотографии картины, выпущенные Гупилем. Рецензент «Ревю де Дё Монд» написал о нем: «Маэстро Чермак почти француз, он принадлежит нашей школе, и мы предпочли бы оставить его себе, нежели вернуть Чехии, где он родился. В «Эпизоде из черногорской войны» он превзошел самого себя. Картина маэстро Чермака одна из трех-четырех наилучших в Салоне...». Шарль Клеман в «Журналь де Деба» тоже написал длинную рецензию, кончавшуюся словами: «Эти герои, изображенные на картине, являют собой истинный кладъ оригинальности, новизны и удивительной силы, которая возносит нас над привычной рутинной».

Ярослав был счастлив, что произведение, над которым он работал с перерывами почти десять лет, принято так хорошо. Это было признанием не только его мастерства, но и темы, идеи, его дружбы с Черногорией. Картину купил хорватский патриот, дяковский епископ Йосип Штросмайер, основавший в Загребе академию наук и искусств. Как был бы обрадован Ярослав, если б эта картина попала в Прагу! Венгерские художники, жившие в Париже — Зичи, Мункачи, — имели массу заказов от вельмож из Будапешта. Но кто купит в Праге картину чешского художника? Он хотел, чтобы в Чехию хотя бы попали репродукции его картин «После Белой горы» и «Ломницкий». Пинкас, как обычно, старался выполнить его желание, забывал о собственном творчестве и рвался служить друзьям: он договорился о показе картины в Праге и получил согласие «Художественного клуба», заказавшего у Гупиля гравюру картины, чтобы использовать ее как свою ежегодную премию. Ярослав обещал сам нарезать гальванопластиковую плиту. Работа по-

лучилась удачной, но потом один из рабочих уронил на нее камень и кусок плиты откололся. Нужно было начинать заново. Иполита чувствовала себя в Ницце одинокой, и Ярославу пришлось поехать к ней. Он передал работу граверу Жирарде. Это означало, что придется отказаться от выставок в Лондоне и Амстердаме, но Ярослав понимал: гравер не должен выбиваться из сил, как лошадь, впряженная в фиакр.

Иполита ходила все еще облепленная пластырями, что должно было помочь ее излечению, но дышалось ей легче и к ней возвращалось желание жить. Гуляя по пальмовым аллеям и усыпанному галькой пляжу, они провели несколько приятных дней.

В то время как английские врачи пытались раздробить камни в желчном пузыре умирающего Наполеона, во Франции появился новый президент — генерал Мак-Магон. Однако здесь, на юге Франции, все умы гораздо больше занимало бедствие, обрушившееся на виноградники, которые погибали один за другим. Никто не знал имен министров, но повторяли имя некоего Планшона, который выдумал, что виноградники-де уничтожает какое-то мелкое насекомое; проклинали филлоксеру и держали пари, найдут или не найдут средство для ее уничтожения.

По возвращении в Париж Ярослава ожидало сообщение из Лейпцига о смерти его брата Йозефа. Он поехал на эти грустные проводы и за время пребывания в Лейпциге старался привести в порядок дела вдовы и двух ее сыновей. На обратном пути он остановился в Вене у Марии, которая не могла приехать на похороны: она ходила на костылях, ее мучил тяжелый ревматизм. Встречи становились все печальнее.

Пинкас попытался воспользоваться тем, что Ярослав находится неподалеку, и зазвать его в Прагу. Он передавал ему пожелания многих людей встретиться с ним; еще раньше д-р Ригер писал Ярославу, что в художественных кругах обсуждается возможность поручить ему руководство академией. Было тут и приглашение от родственников, сопровождаемое гордым известием: сын двоюродной сестры Клары, урожденной Раковой, к отцу которой Ярослав часто ездил в молодости, только что издал роман в стихах «Адамиты» и его имя — Сватоплук Чех — становилось известным.

В конце концов Ярослав не устоял, написал Пинкасу, чтобы тот заказал ему номер в гостинице «У эрцгерцога Штепана», однако ему было не до встреч.

«Прекрасно, что друзья хотят встретиться, но я предпочел бы туда не ходить, я еще ношу траур по брату. Уладь это вежливо, скажи, что я болен...».

Ему было не по себе, он простудился в дороге, его удручало

подозрение, что и он начинает борьбу с предательской болезнью, унаследованной сыновьями рода Чермаков.

У него уже не было в Праге родного дома, и он все больше чувствовал себя там гостем. Он казался себе старше своих лет. Задумчиво смотрел на места, еще недавно рождавшие в нем хоть искру воспоминаний в пепле прошлого, и ждал, не заговорят ли они с ним.

Вспоминал стихи Пфлегера-Моравского, отправившего своего героя на родину в Чехию:

«С землей простился наконец чужою.
Отчизны свят порог, и вот — она!..
Он к сердцу близких клонится главою,
уже увенчан славою сполна...»

Ярослав обвинял себя в холодности и отчужденности. Ему казалось, что Прага ждет его вопросов, выжидающе молчит и смотрит на него, прищурив глаза. Несколько раз ему показалось, что он слышит приветственные слова. Но сам он почти не способен был на расспросы. Город понял это и молчал.

«Клуб» как раз издал картину Ярослава «После Белой горы», и о нем время от времени говорили. Порой кто-то хотел его чествовать в восторженных тонах. Но и это его пугало. В такие минуты он обвинял себя в раздвоенности. Заставлял собраться, но при этом уходил в себя; он сознавал свою невольную холодность, но таким путем хотел оберечься от ран и излишней чувствительности.

Ему не удалось избежать встречи с князем Лобковицем, ведавшим вопросами академии. Ярослав выслушал предложение, но деликатно отклонил его. Он не верил в условия, которые обещал князь. Не был уверен и в том, сможет ли научить чему-нибудь. Продолжать историческую живопись? Присоединиться к молодой Франции? А как разрешить отношения с Иполитой? Захочет ли она поехать в Прагу? Вряд ли. Он и самого себя не мог уже представить в Праге. Нет, это было невозможно.

Из Парижа в Роскоф он ехал вместе с Тристаном Корбьером. Ярослав читал кое-какие его стихи в «Ла ви паризьен», но видел там и его карикатуры на коммунаров и ставил их ему в вину, хотя и понимал, что Корбьер явно зарабатывал этим на жизнь. Прежде чем поезд остановился на роскофском вокзале, Тристан с непривычной для него застенчивостью протянул ему книжку своих стихов, которая, как было известно Ярославу, смогла выйти лишь благодаря финансовой помощи старого господина Корбьера.

О книге «Желтая любовь» не говорили и не писали, а если это и случалось, то с пренебрежением. Книга долго лежала неоткрытой

и на ночном столике Ярослав. Но взяв однажды ее в руки, он был поражен необычайной любовью молодого поэта к Бретани и к морю, в котором тот словно бы хотел утопить все свои страдания. Ярослав прочел в его признаниях и целомудренно высказанное уважение к отцу и его морскому прошлому. Нашел он в книге и много непонятного или грубого, не отвечавшего его взглядам на благородный характер искусства, много жестоких насмешек, которыми Тристан как бы умышленно ранил себя, да еще выставлял свои раны напоказ. Во многих стихах проглядывал образ белокурой актрисы, и можно было себе представить, какие муки безответной любви переживал Тристан в ее присутствии. В стихах он просил, как милостыни, любви, которую не нужно было бы покупать в трактирах за тридцать су; мечтал о жизни с любимой хоть под ударами кнута, а в одном из стихотворений, неслыханно откровенном, желал, словно собака, носить ошейник с именем хозяйки, лишь бы она за то одарила его хоть каплей страсти.

Потом Ярослав иногда видел, как рискованно идет Тристан на своей яхте против ветра или отдыхает в Церковной бухте острова Ба и пишет; оба поднимали руку в знак приветствия, но поэт стремился к одиночеству, и Чермак считался с этим. Сам он иной раз охотно встречался с несколькими друзьями на каком-нибудь из островков, куда они высаживались, едва тот показывался из моря; там они пели, фехтовали, ловили рыбу и покидали островок, лишь когда вечерний прибой грозил его затопить.

Болезнь Иполиты проходила, и оба верили в животворную силу розкофского воздуха. Она была благодарна за его хлопоты, к ней возвращалось умиротворенное настроение. На сей раз в августе к дню рождения Иполиты получила напоминание о Далмации — выполненный белилами и углем вариант «Герцеговинки с конем», картины, которую она любила.

— Ты вернешься к темам Далмации? Или тебя снова увлечет Роскоф? Париж тобой интересуется.

Недавно они узнали, что один торговец продал «Хорватскую крестьянку» Чермака, за которую сам заплатил две тысячи франков, за девять тысяч.

— Я спрашиваю себя, чего хотела бы Прага. Эта поездка осталась во мне, как нечто незаконченное, несвершенное... Я хотел бы напомнить о себе Праге так, чтоб она почувствовала: я — ее сын.

— Это означает — вернуться к чешской истории?

— Я нашел такой эпизод... Я уже давно о нем знаю, спрашивал Палацкого, действительно ли так было... Источниками это, правда, не подтверждается, но сохранилось как легенда.

— Что за эпизод?

— Когда Прокоп Голый осаждал Наумбург, город был спасен от разрушения благодаря просьбам детей — процессия вышла из

ворот города с цветами... Этот сюжет говорит о сострадании, человечности, свойственной гуситским воинам...

Ярослав нарисовал эскиз и принялся над ним работать. Во время случайного посещения Парижа его увидел барон Ладенбург и предложил за него 25 тысяч франков. Но Ярослав решил нарисовать полотно заново, и тогда Юлия Ладенбург попросила его изобразить на нем и некоторых детей из их семьи. Он обещал исполнить ее просьбу. Запечатлел облик двух девочек Жаваль и троих детей Залемфельсов. Ванду Чарторыскую он нарисовал еще в Вене. Лицо Пинкаса он приберегал для одного из рыцарей.

Однако в Роскофе работа продвигалась медленно, хотя Ярослав и остался там вплоть до октября, как в полюбившемся ему изгнании. Он уже отказался от своего домишки и жил в большом доме, арендованном Иполитой, в ателье в мансарде. Иполита уехала к Бюшеронам, и он наслаждался роскофской осенью в одиночестве. В воздухе носился знакомый аромат сожженных водорослей, но маяк все еще оповещал о хорошей погоде, а вечера отливали всеми оттенками абсента. На смоковнице, которую они с Иполитой посадили в саду, точно лиловые слезы, висели плоды. Проходя мимо храма, он слышал доносящуюся из дома Корбьера протяжную мелодию на старинном французском инструменте — виоле; это играл Тристан.

Лишь после отлета вальдшнепов и цапель, увидев последнего скрывающегося вдали баклана, Ярослав с сожалением отложил любимую матросскую одежду и распрощался с Роскофом.

В Париже его ожидало запоздалое сообщение, что умер брат Ян, известный ларинголог, изобретатель гортанного зеркала. Ему было сорок пять лет.

Яна Ярослав любил больше всех. Теперь уж моя очередь, подумалось ему.

Весной 1874 года молодые художники устроили выставку на бульваре Капуцинок, в ателье известного под именем Надар художника и фотографа Феликса Турнашона, особенно прославившегося после битвы под Сольферино, которую он фотографировал с воздушного шара.

— Сходите туда посмотреть, эти парни просто смешны, — говорили люди друг другу. — Знаете, что сказал о них член Академии Жан Жером? Что они оскверняют французское искусство.

Журнал «Шаривари» получил благодатную тему для сатирических нападок.

Ярослав знал многих из этих молодых: Писсарро, который тоже ездил в Бретань, Сислея, не раз его привлекали танцовщицы Дега, запечатленные словно объективом любопытного фотографа в самые

неожиданные моменты; Ренуар выставлял несколько портретов и пейзажей, написанных в теплых тонах, точно выкупанных в солнце; Манэ использовал виды Монмартра, его картины, как всегда, были насыщены маслом, а густые мазки демонстрировали дерзкие соотношения цветов; Сезанн «Современной Олимпией» выразил поклонение Манэ как вождю молодых; был там еще Моне, ученик Глейра, по названию картины которого, «Импрессион — Восход солнца», критик Леруа в насмешливых выражениях дал всему направлению наименование, которое и привилось — импрессионизм.

На выставке и в маленьких кафе вокруг нее шли разговоры о том, что эти молодые, по сути дела, связаны друг с другом. В Париже живопись всегда предпочитали музыке, и это была арена, на которой сражались не только художники, но и те, кто оценивал их искусство. Все старое уходило. Смерть Милле вызвала еще какие-то дебаты о реализме. Но когда умер бельгиец Вапперс, уже никто не знал, кто это такой. «Где его «Просящий милостыню Камонс», где «Петр Великий»?» — вспоминал Ярослав. Париж умел быть беспощадным. Он быстро хоронил, чтобы тем скорее воспылать новой любовью.

Иполита не могла преодолеть антипатию ко всему, что ей казалось неестественным и насильственным. Она отдавала предпочтение японским декоративным работам, интерес к которым возрос после возвращения мэра Коммуны Теодора Дюре из Японии, где он нашел прибежище.

— Глядя на японские вещи, я понимаю, насколько искусство может быть целесообразно и просто. Но чего хочет эта надаровская братия?

— Они рисуют воздух. Воздух, лишаящий предметы материальности и превращающий их в цветочные пятна. Главное действующее лицо в картине для них — свет.

— А вот доктор Комменж считает, что у них явно хронический дефект зрения. Это однообразно. И даже если мы позволим убедить себя, что дальше?

— Цвет и внешний вид предмета от движения воздуха и различного освещения может меняться до бесконечности. Манэ, говорят, написал за лето где-то у моря пятнадцать полотен.

— Они упиваются светом и отбрасывают всякую мысль. Разве это, в конце концов, не цинично? Неужели плохо, когда художник создает произведение, воздействующее на ум и на сердце?

Ярослав был уверен, что в эти минуты она вспоминала Галле и что таким образом хотела и ему самому указать путь. Он почти непрерывно думал об этом. Понимал, что с олифой, лаками и патиной покопчено. Чувствовал, что молодые вызывающи и назойливы, что они нарочно повышают голос, чтобы их услышали, но понимал и разницу, существующую между людьми талантливыми и теми,

кто только провоцирует. Форма, созданная лишь цветом, понятно, требует новой техники. Но так ли это ново? Констебл давно сказал, что в природе даже два дня не похожи друг на друга. А Тернер? Ведь в ту пору, когда Ярослав только еще появился на свет, он рисовал так, словно сроду не видел картин, искал только краски и у него уже были дрожащие желтые, пурпурные, синие пятна и упоение светом.

А художники Чехии? Норберт Грунд? Навратил? Картины из его наследия, которые Ярослав в последний раз видел в Праге, свидетельствовали о том, что проблемы цвета волновали его уже тогда, когда о Манэ еще не было ни слуху ни духу. Если б Навратил жил в Париже... может, он сделался бы королем всего этого изобилия красок и света. Бедная Прага!

Хорошо, но не поздно ли извлечь из этого урок для собственной работы? Эта мысль сделала его путеводной звездой. Раздавались голоса, укреплявшие его в этом мнении. В Лондоне «Раненый черногорец» имел большой успех. В Праге репродукция картины была воспринята с чувством благодарности и о ней с уважением писала Рената Тыршова. Когда у Гупиля остановился молодой русский художник Репин, он заявил, что картина создана «выдающимся художником». Как было не радоваться этому? Фрич не переставал хвалить его за помощь южным славянам. А насколько сложнее была его работа по сравнению с легко набросанными полотнами импрессионистов!

Робер-Флэри попросту отрицал Манэ. Но Ярослав не судил с такой легкостью. Он видел «Мост в Конфлане» Сислея. Видел «Пляж во время отлива» Дега... Это действительно было лишь впечатление, но как этот художник сумел передать игру красок на поверхности водной глади... Его женщины были сотворены не из воздушных фантазий, а из мяса, даже если и казалось, что художник запечатлел их без всякого волнения, которое обычно в целях пикантности приносилось в картины, создававшиеся для Салонов. Для Дега они были частью мира, он не боялся высказать даже слегка обидную правду о женском теле, но под простотой линий сохранялась тайна жизни и чувства. Манэ почти программно доказывал в своих картинах, что даже снег не бывает белым и что человеческое лицо также состоит из тысяч мельчайших отражений. Смех, который некогда вызывало его имя, уже стихал. Фотографы, такие, как Надар, изобличали старых художников во лжи и давали им понять, что нельзя подражать фотографии, а если хочешь, чтоб тебя поняли, следует найти иной путь.

Реализм тоже стремился правдиво отразить мир, спорил сам с собой Ярослав, он показывал и отношение человека к природе. На полях Милле всегда были видны следы человеческого труда. Пейзажи Энгра передавали душевное состояние. Верно, художник скры-

вал свою собственную точку зрения. Особенно в исторической живописи, всегда считавшейся вершиной искусства, важно было, что хотело видеть общество. Но нынешние молодые даже портрет писали, словно оказывали честь тем, что модель слегка походит на изображение. Ярослав часто приходил к выводу, что их смелость везде следует за правдой. Эти спокойные лучи света, пронизывающие деревья, у Писсарро правдивы, он действительно увидел их на бульварах. До сих пор никто не обращал внимания на серую и розовую дымку монмартрских улочек, пока туда не пришел голландец Йонгкинд. Возможностей для открытий еще хватало.

— Тут всего лишь работа кисти, — твердила Иполита, видя, как Ярослав борется с сомнениями. — И это всем известно. Вот почему Кабанелю платят тысячи, а Манэ — сантимы.

— От восприятия природы и слияния с ней приходишь к мыслям.

— Но у тебя иная миссия, ты не имеешь права отступать. Ты сделал мое сердце славянским, чтоб я чувствовала, как ты.

— Справедливо. Но не хотелось бы упускать возможность чему-то поучиться...

Время от времени он пробовал воспроизвести на полотне впечатление: убедился, что ему это удастся, что он сохранил непосредственность взгляда. Один раз он запечатлел скромную улочку с зелеными садами, другой раз сад, наполненный солнечными бликами.

— Полагаешь, таким образом ты мог бы начать новый этап? — удивленно спрашивала Иполита.

— Нет, просто проверяю себя — глаза, руку, мысль.

Когда Ярослав углубился в южнославянские сюжеты для Салона, он снова понял, насколько необходима точность выполнения. Ему в руки попала статья русского профессора Прахова, искавшего среди волн романской и германской живописи путь славянского искусства; в числе надежных приверженцев славянского пути он называл Матейку, Брюллова, Репина, Верещагина — и Чермака. Да, пужно оставаться самим собой, только так можно сохранить сосредоточенную силу. В «Люмире» он подчеркнул в переводе из Тургенева место, где, как ему казалось, было хорошо выражено соотношение творчества и действительности:

«Всякая написанная мной строчка вдохновлена чем-либо — или случившимся лично со мной, или же тем, что я наблюдал. Я не копирую действительные эпизоды или живые личности, но эти сцены и личности дают мне сырой материал для художественных построений. Мне редко приходится выводить какое-либо знакомое мне лицо, так как в жизни редко встречаешь чистые, беспримесные типы. Я обыкновенно спрашиваю себя: для чего предназначила природа ту или иную личность? Как проявится у нее известная черта характера, если ее развить в психологической последовательности?»

Критика оставалась верна Чермаку. О его «Свидании в горах» и «Юнях на водопое» «Ревю де Дё Монд» писал: «Маэстро Чермак, по-видимому, единственный современный художник, который еще способен сообщить стиль захватывающим сюжетам».

Ярослав чувствовал в себе силы закончить все начатое. Чтобы доказать себе самому и жизни, что он не сдастся, он решил выстроит собственное ателье. За Триумфальной аркой возводился новый квартал. Переехав с улицы Монтень, Ярослав напел себе временное пристанище, взяв в долг по пятнадцать тысяч у сестры Марии и вдовы брата Йозефа, купил сто сорок квадратных метров земли, присматривал за работой архитекторов, которым предложил собственный проект. Ему представлялся скромный дом с садиком за низкой решеткой, отгораживающей зелень от тротуара; в подвале он хотел иметь погреб для угля и вина, на первом этаже — жилые комнаты, вместо гостиной предполагалась небольшая приемная с диваном и подушками вдоль стен, на втором этаже — просторное ателье пятиугольной формы, со светом, падающим с обеих сторон и сверху. В общем, как он высчитал, все обойдется в шестьдесят тысяч, но получалось, что годовой расход на хозяйство превысит ныне существующий всего на пятьсот франков.

— Это дает большие возможности и для нашей с тобой жизни, — посвящал он в свои приготовления Иполиту. — Я уже в том возрасте, когда люди заслуживают право иметь собственный дом, разве не так?

— Конечно, — согласилась она. — Только пока что для тебя это означает больше работы, чем отдыха.

— Если б мы могли уже давно построить наши отношения так, как мне хотелось, это произошло бы значительно раньше. Теперь мы были бы спокойной и довольной супружеской парой.

— Тут нельзя ни за что ручаться. Может, мы бы уже и знать не хотели друг друга. А так наша страсть не умерла.

— И все же я каждый год радуюсь поездке в Роскоф как свадебному путешествию.

— Не слишком ли мы уже стары для этого?

Море всегда преданно приветствовало их там, а моряки спешили позвать Ярославу руку. На первых же прогулках они с Иполитой выясняли, что нового в городке, сколько судов прибыло в гавань, на каких заменили паруса. Приветствовал их и неизменный бретонский дождь — Иполита сетовала, но Ярослав ее утешал:

— Все-таки это великолепно — попасть на край света и видеть бури на море. Сухопутным крысам такое и не снится! Где ты увидишь более величественные столкновения стихий?

Старый Беллек красил свою лодку, и Ярослав спросил его о Тристане.

— Он все желтеет. Вчера мне сказал: «Хоть умри, не встретишь такого некрасивого человека, как я, — цени это...»

— Как ему тут живется без госпожи Марчелы?

— У него иногда жуткие боли, ему нечем дышать, как-то и в моей лодке потерял сознание. Истинный бретонец: во время прилива ему лучше, во время отлива — задыхается.

— Нельзя ему помочь?

— Они со смертью на «ты». Стоит чайке ударить ему крылом в окно... Мы с ним слыхивали, как в бурю утопленники кличут из моря.

— Зачем вы поддерживаете его бредни? Это просто смятение чувств.

— Возможно, господин. Но он любит старую Бретань. На днях спрашивал меня, кто, мол, сейчас на кладбище несет караул, чтобы знать, кого сменять, когда крабы начнут выедать ему глаза...

Ярослав простился с Беллеком. Они с Иполитой продолжали обходить знакомые места, зашли взглянуть на старую смоковницу в монастыре, издали приветствовали остров Ба и рядом с ним остров Тирозон, встречались с людьми, которые все как один радушно здоровались с ними.

Выходя в море на лодке, Ярослав часто думал о больном поэте, парусник которого он больше не встречал. Он вспоминал его горячую любовь к старому Роскофу. Здесь о ней никто не знал, потому что никто не читал его стихов. Когда к Иполите приехала дочь Мария, он брал ее с собой; но Марию уже не интересовали, как прежде, прогулки — в Париже у нее остался поклонник, и ей было грустно. Она сидела дома и играла на фисгармонии. Ярослав, желая доставить девушке радость, предложил ей однажды надеть бретонский национальный костюм. Она и от этого отказалась. Тогда он обратился с этой просьбой к учительнице музыки мадемуазель Левенан и нарисовал ее фигуру на берегу возле старой пристани, как символ Бретани.

Ярослав смотрел на море, где вздувались паруса, красные и черные, и думал о Тристане из Леона и Изольде Белорукой, которая, согласно бретонскому преданию, скрыла, что приближается белый парусник, на котором находилась соперница — Изольда Златовласая. Какой великой была, очевидно, ее любовь и каким подлым — сердце!

МНОГООБЕЩАЮЩИЕ ОСЕНИ

В беспокойной атмосфере Парижа рождалась новая эра. Закладывался краеугольный камень храма Сакре-Кёр. Поговаривали о конституции. Но женщины мечтали о прекрасных сыновьях Луи-Филиппа. Обсуждался вопрос амнистии участникам Коммуны.

Постройка дома Чермака на авеню Ваграм была закончена. Меблировка не отличалась от его прежних ателье, но он гордо вводил гостей в гостиную «а-ля тюрк» и усаживался с ними на подушки, разложенные вдоль стен. В его кабинете стоял черный стол с резными украшениями, кресла с тисненой кожей, на стене гобелен, ружья, ганджар, гусли. Кроме картин, в ателье была и первая его скульптурная работа: вылепленное из красного воска «Похищение далматинки» — всадник, увозящий девушку. Ярослав чувствовал себя на авеню Ваграм лучше, увереннее — у него был собственный дом, собственный кусок Парижа. На рождество он подарил Иполите этюд к картине, которую назвал «Далматинская свадьба». Три всадника мчались мимо полуразрушенной стены: у первого в седле была похищенная невеста, другой крепко держал в руке саблю, третий размахивал ружьем. От этой сцены веяло мужественным veselьем, жизненной силой. За стеной виднелась фигура скорчившегося человека, открывшего ворота дома. А одинокий дом на холме спокойно высился в небе, являя собой естественный контраст несущимся во весь опор всадникам. Краски были светлые, нанесенные легкими мазками, словно их донес ветер, вызванный бешеной скачкой.

— Все-таки ты решился? — с пониманием спросила Иполита. Она знала, что менее значительные сюжеты Ярослав пробует воплотить по-новому, не прорабатывая детали; сделав набросок, он прямо писал в том цвете и тоне, который выбрал.

— Ты недовольна?

— Отчего же. Мне кажется, я ощущаю движение воздуха и дыхание всадников. Такое впечатление, будто ветер свистит в ушах. Ты будешь над этим еще работать?

— Боюсь, как бы не утяжелить краски.

— А что «Прокоп Голый под Наумбургом»?

— Там нужно для каждой фигуры найти место и определить ее нагрузку. Тот стиль требует точности, детализации...

Он чередовал обе эти работы. Трудясь над наумбургской сценой, сознавал, как долго он живет вдали от родины, если уже не уверен, чешские ли это типы. Искал выход из затруднения, вспоминая лица знакомых. Ему, собственно, уже не с кем было разговаривать в Париже. Поэтому он беседовал с созданными им персонажами.

Связь с Прагой ввиду полицейской бдительности почтовых чиновников Франции и Австро-Венгрии была затруднена. «Госпожа Полиция, по всей вероятности, вскрывает и теряет письма», — жаловался Ярослав. Одно из писем Пинкаса попало к Чермаку через Россию; умышленно или по тупости почтовый чиновник прочитал слово «Francie» как «Francso», то есть «за счет отправителя».

Как и каждый год, Ярослава радовала предстоящая поездка в Россию. Но поскольку у Иполиты повторялись воспаления легких,

пришлось сначала отвезти ее на курорт в Кантере, писать ей, навестить ее, закончить несколько портретов для урегулирования денежных дел, так что в Бретань он попал лишь в начале лета. Он взял с собой в поезд том «Мемуаров» Мальвиды фон Майзенбург, который она прислала ему со своим кредо в качестве посвящения: «Нам нужна свободная мысль, не останавливающаяся ни перед чем в установлении истины».

С удовольствием читал он страницы, напоминающие ему о тех временах, когда и у него еще было больше надежд, чем утрат.

Итак, в Роскофе в тот год он был один и оттого больше времени уделял морю. Он продал одну золотую медаль из числа полученных в Салоне и купил на эти деньги костюм Буатона, который давал возможность купаться даже в холодной воде.

Тристана Корбьера он уже не застал в живых.

— Однажды он послал за мной, — рассказывал ему владелец гостиницы Гаде. — При виде его хотелось плакать. С минуту он смотрел на меня, а потом сказал: «Я вас видел — этого довольно, ступайте».

Ярослав нанес визит старому господину Корбьеру, выразил ему соболезнование.

Смерть сына надломил старика, голова его совсем поседела, морщины углубились, он с трудом передвигался. На его столе лежал экземпляр стихов Тристана, в черном шелке и с увядшей гвоздикой. Он показал Ярославу посвящение на титульном листе, написанное сыном: «Автору автора сей книги».

— Что вы скажете об этих стихах? — спрашивал Корбьер. — Думаю, они для нашего времени слишком грубы, а? Никто о его книге не писал, никто мне ничего не сказал. Мой сын был слишком откровенен, он высказывал вещи, о которых среди порядочных людей принято молчать, верно?

Ярослав попытался заверить его, что любовь Тристана к Роскофу не забудется, но сам не был в том убежден.

Осень в тот год сопровождалась частыми бурями, и волны нередко перехлестывали через дамбу пристани. Однажды, когда Ярослав ушел с рыбаками на лов далеко в море, буря загнала их в такую даль, что им пришлось искать убежища у берегов Англии. Рыбаки безучастно лежали на дне парусника, пили и молились. Ярослав один остался у руля и на рассвете бросил якорь в устье Темзы. Они выспались в доках, а следующей ночью он привел судно вместе с людьми к берегам Бретани. Его слава среди роскофских рыбаков возросла, и с ним здоровались с большей почтительностью.

В Париж Ярославу пришлось вернуться раньше обычного, чтобы приветствовать Иполиту по возвращении из Кантере. Но не успели они встретиться, как она объявила, что доктор Коммениж,

новый домашний врач семей Пик и Галле, отправляет ее на пиренейский курорт По, поскольку теперь ее легким необходим сухой и жаркий воздух. Он повиновался; отвез ее на курорт, прожил там с ней несколько недель и, только удостоверившись, что она довольна и спокойна, вернулся в Париж, где следовало закончить благоустройство дома на авеню Ваграм — *la petit casa* *, как он его называл.

Роскоф всегда давал Ярославу прилив бодрости; после летнего пребывания там он чувствовал себя в Париже возрожденным. Однако роскофского самочувствия стало хватать на все более короткий срок. Ярослава вновь угнетало сознание, что он не успеет осуществить все задуманное. Платить по счетам, работать в ателье, ежедневно писать Иполите, заглядывать к Марии — не нужно ли ей чего-нибудь, выполнять множество других обязанностей... Он потерял покой и уравновешенность. Где то время, когда, словно в оперетте, он вызвал на дуэль господина Нуя да еще доставил этим развлечение друзьям? Ему уже не хватало ни сил, ни щедрости. Больше всего он досадовал, что не может совладать, как бывало, со своей слабостью и что на него неожиданно находят какие-то приступы подавленности. Ярослав стал наблюдать за собой и выяснил — это связано с какой-то болезнью: он чувствовал, как в груди начинает колотить, относил это за счет сердца, что вызывало состояние тревоги. Он посоветовался с доктором Тардье, ставшим тем временем профессором гигиены, и с Комменжем, но те говорили разное: Комменж недолго думая посоветовал ванны; Тардье над жалобами Ярослава посмеялся.

В отношениях с Иполитой также намечался все более тяжелый кризис. Дело доходило до сцен, которых прежде между ними не бывало. Порой Иполита упрекала его в чем-нибудь происшедшем очень давно, обвиняла в эгоизме. Поначалу он защищался, потом понял, что это взрыв недовольства вообще. Самым большим сюрпризом для Ярослава стала вдруг возникавшая у Иполиты необоснованная ревность. Она иронизировала по поводу Кате Грбич, что, мол, та слишком часто нужна была Ярославу в качестве натурщицы и он слишком много занимался ею. Я оставила бы ее в Париже, говорила она, но пришлось ее отослать, она становилась сама не своя, когда знала, что ты должен прийти. Напрасно Ярослав пытался разубедить ее. «Наверняка ты до сих пор ей пишешь», — была уверена Иполита.

«Тебе известен ее необузданный характер, — писал Ярослав Пинкасу, — если ей что взбредет в голову, она сожжет мосты. Она мучается, и здоровье ее не улучшается. Можешь пожалеть нас обоих».

* Маленькая хижина (*франц.*).

Ярослав не мог удержаться, чтобы не поставить ей в вину эти бессмысленные сцены, в нем также побеждало недовольство. Успокоившись, он пытался убедить себя, что, хотя ее упреки пустячны и что вообще все это досужие выдумки, она могла бы найти и более существенные поводы для упреков. Стремясь помириться, он шел Иполите навстречу, преодолевал дурное настроение. Но иногда, к своему изумлению, признавал, что испытывает чувство облегчения оттого, что наступил воскресный день и можно будет посвятить его себе самому или друзьям.

Однажды в воскресенье под вечер к нему по рекомендации Пинкаса пришел молодой чешский литератор Богумил Гавласа, приехавший на открытие Салона.

— Я подхожу к этому математически. — Он вытащил из кармана листок, исписанный цифрами. — Четыре тысячи картин, две тысячи восемьсот художников. У вас ужасная конкуренция. Четыреста сорок художниц. К их числу я отношу и Сару Бернар с ее скульптурами.

— На нее лучше смотреть в театре. Весь Париж ловит каждое ее слово, весь Париж очарован ее голосом... У нее нет времени даже позировать. Клерен делал ее портреты для Салона только по костюмам, которые она прислала.

— Меня направили сюда смотреть картины. Ваш «Прокopf Голый перед Наумбургом» великолепен. Я читал, что вы за него получили звание офицера Почетного легиона. И по заслугам. Перед картиной все время полно людей.

— Это приходят посмотреть те, чьи лица я запечатлел, — засмеялся Чермак.

Сразу после открытия выставки барон Ладенбург купил картину. Его жене уже не довелось, как она хотела, увидеть лица своих племянников и племянниц — во время путешествия по Италии во Флоренции она неожиданно умерла. За время выставки появилось еще три покупателя, каждый набивал цену, но Ладенбург не уступил.

— Я слышал, что в Праге мы картину не увидим, господин Ладенбург не даст на то согласия.

— К сожалению. Но я в свою очередь запретил ему выставлять ее где бы то ни было, а для литографии, которой пражский «Художественный клуб» намерен одаривать своих членов, я сделаю новый вариант. Я рассорился со всей семьей барона. Но скажите, что в Салоне произвело на вас самое сильное впечатление? — спросил Ярослав.

— Я тщетно раздумываю над этим. Там прекрасные портреты, много обнаженных тел, много трупов... Но самое сильное впечатление? Должно быть, «Восстание ангелов» Делакура.

— Согласен с вами. Пойдите, а вы видели отдельную выставку

Домье и Дега? Полагаю, официальной критике не удалось вас запугать?..

«Фигаро» писала об этой выставке как о новой катастрофе в искусстве, идущей вслед за пожаром Оперы.

— Мы до сих пор считали Домье только карикатуристом...

— Потому что до Праги ничего не доходило. Но еще Бальзак сказал, что у него под кожей скрывается Микеланджело.

Разговор перешел на события в Праге. Ярослав слушал рассказ о похоронах Франтишка Палацкого. Гавласа вручил ему книгу Голечека о новой черногорской войне.

— Ваши черногорские сюжеты вновь стали актуальны.

— К сожалению. Я бы предпочел, чтоб они остались лишь горьким напоминанием.

Когда Гавласа простился, Ярослав быстро разрезал книгу и углубился в чтение. На письменном столе у него лежало письмо князя Николы, который приглашал его снова приехать в Цетине. Душой он стремился туда, но не смел сейчас даже помышлять о такой трудной поездке.

Доктор Тардье знал о мелких размолвках, отдаляющих Иполиту и Ярослава друг от друга. Как врач он объяснял это возрастом Иполиты, жалел Чермака и пытался время от времени его развлечь. Приглашал в театр.

— Я за вами,— зашел он однажды к нему в ателье.— Мы хотим поехать в «Робинзон» и на один вечер обо всем забыть. Госпожа Жаваль, госпожа Беллем и я. Дамы в чудесном настроении. Они были бы рады, если б вы поехали с нами.

— Я жду визита,— отнекивался Ярослав,— художник Фромантен вернулся из Бельгии и обещал ко мне зайти.

— Дамы,— выглянул Тардье за дверь в коридор,— идите на помощь — на чаше весов не хватает привлекательности...

Обе женщины проскользнули в комнату и быстро огляделись.

— Так это и есть ваше гнездышко?

Ярослав смутился. Он не был готов к их приходу и чувствовал себя неуверенно, когда они стали расхаживать по ателье, наполнив его шелестом шелка и облачками духов.

— Не оставите же вы нас на произвол этого жестокого доктора,— подошла к нему Катрин Беллем. У нее всегда была такая интимная манера, но в отсутствие Иполиты она явно давала Чермаку понять, что не прочь была бы стать его любовницей.— У нас масса свободного времени, сделайте доброе дело и дайте нам возможность провести его приятно. Мы в долгу не останемся.

Ее красивое лицо было совсем рядом, а губы так и призывали к поцелую.

Госпожа Жаваль, стоя поодаль, наблюдала, чем окончится эта попытка. Ей явно больше правился доктор, и речь шла о том, что-

бы найти партнера для Катрин. Как просто — кивнуть, взять шляпу и пальто и пойти. Вероятно, это был бы веселый вечер, а вид господа Беллем сулил многое.

— Если б вы знали, мадам, как неохотно я отказываюсь от столь милого приглашения...

— Пойдемте, — сказала она просительно, взяла его за руку и притянула к себе.

— С вашего позволения, как-нибудь в другой раз... — извинился он.

— Я не верю в Фромантена. Если вы не пойдете — все ясно: вы ожидаете визита дамы. А разве можно отдать маленькой натурщице предпочтение перед нами?

Возможно, год назад он пошел бы. Возможно, это даже оказалось бы привлекательным — госпожа Беллем была создана для легкой и ни к чему не обязывающей любви, это была женщина, которая сама каждым своим жестом предостерегала: «Осторожно, не влюбляться, не усложнять себе жизнь!» Она любила одерживать победы, жила, в ее понимании, красивой жизнью, словом, это была парижанка. Не будь ей предопределена с рождения роль порядочной женщины, она могла бы, как Паива, стать владелицей небольшого отеля на Елисейских полях, за ее самую дорогую в мире постель платили бы сто тысяч франков, и какой-нибудь хороший художник мог бы изобразить ее там обнаженной в образе Царицы ночи.

Но от Чермака подобная любовная авантюра требовала таких усилий, что их не могло окупить никакое доступное наслаждение. Ему казалось, что он зря потратит драгоценное время да еще ничего не сможет дать тем, кто ожидает от него остроумия и очарования. И к чему так унижать Иполиту в их глазах?

— Искренне сожалею, — произнес он решительно.

— В таком случае спокойной ночи, — сказала Катрин язвительно. Ему почудилось, что она с удовольствием ударила бы его. Глаза ее пылали огнем от унижения и злости.

Она повернулась и вышла из комнаты, даже не оглянувшись, госпожа Жаваль последовала за ней; доктор Тардьё развел руками и покачал головой, словно пациент отвергал лекарство, гарантирующее выздоровление.

Я храню верность, сказал себе Чермак, оставшись один. Но в этой мысли не было ни гордости, ни серьезности, скорее, в его тоне звучала ирония по поводу собственной слабости.

Фромантен объявился у Чермака несколько дней спустя. Яростную и вправду было интересно его мнение. Он всегда удивлялся способности Фромантена смотреть на старое искусство нынешними глазами, свежести его восприятия.

— Хотелось навестить Рембрандта и Рубенса на их родине, — объяснил ему Фромантен, — и потому я поехал в Бельгию. Итальянское искусство столкнулось там с сильными личностями. Руки, прикоснувшиеся к кисти, прежде плавляли стекло и чеканили медь.

— Я прошел бельгийскую школу. Когда Давид находился там в изгнании, он влил кровь в их искусство. Но они по-прежнему верны Рубенсу.

— Я пытался его понять. Он явно творил удивительно легко. Для него не составляло трудностей превратить мысль в действие.

— Говорят, он нарисовал более тысячи картин. Трудно себе представить. Он должен был рисовать как в лихорадке...

— Не сказал бы. Голова у него, может, и была разгоряченной, но рука — спокойной. Как дирижер, который хладнокровно отсчитывает такт, а инструменты, ведомые его дирижерской палочкой, безумствуют. Кисть его никогда не тонет в краске. Он следит за гармонией.

— Думаете, он не привносил в картины собственную жизнь?

— Так же, как все мы. Грешница в «Снятии с креста» — его первая жена, Изабелла Брант. Ей было восемнадцать, когда она умерла от чумы. Двадцать лет после этого он жил один. Когда женился на Елене Фоурмент, ей было шестнадцать, ему — за пятьдесят. Она родила ему пятерых детей. Это был сильный и страстный человек.

— Я отдавал предпочтение Ван Дейку...

— ...который по сравнению с ним, разумеется, меланхоличен. Несомненно, он любил искусство, но уже не мог приносить ему столько жертв.

Ярослав горько усмехнулся:

— Вероятно, поэтому он мне столь близок...

— Вы обвиняете себя? — пытливо посмотрел на него Фромантен.

— Кто не упрекает себя в том, что не сделал больше? А у меня в работе были большие перерывы...

— Порой даже самая трудная жизнь на работе не сказывается. Рембрандт — это противоположность Рубенсу. Там — слава, здесь — жизнь, окутанная тайной. Возникает даже мысль о каком-то чудачестве или пороке... Его преследовали несчастья. Как раз когда он работал над знаменитым «Ночным дозором», умерла Саския.

Чермак молчал, погруженный в свои мысли.

— Он сослужил современному искусству большую службу тем, что погрузил свет в густую тень. Таким способом он выражает внутреннее видение, отблески мысли...

— Стоя в Лувре лицом к лицу с его «Самаритянином», я всякий раз заново поражаюсь этому глубокому самозабвению...

— Видите, о нем говорили, что у него нет вкуса, а он просто шел за правдой. Его почерк исполнен пытливости и драматичности.

— Так что можно проследить путь от Рембрандта до современного искусства? — стремился выяснить мнение Фромантена Ярослав.

— Школы, я думаю, всегда возникали лишь впоследствии. Слава богу, каждый из нас индивидуалист, мы выражаем самые характерные для нас способности и чувства. Кто приспособливается к другим — погибает.

Ярослав долго приберегал последний вопрос.

— Скажите, пожалуйста, а как маэстро Галле? Вы видели его «Чуму в Турне»?

— Оперная красавица, — беспристрастно сказал Фромантен. — Матери с детьми, процессия, францисканцы с протянутыми руками... Это далеко от его перых больших драматических полотен.

— Вы с ним говорите?

Фромантен с пониманием взглянул на Ярослава.

— Можете быть совершенно спокойны. Галле вполне доволен своей судьбой. У него есть имя, доходы, он живет ради искусства, а искусство — ради него. Будь он человеком большего масштаба, он бы посылал вам подарки. За все то, что вы для него сделали. За то, чем он давно со спокойной совестью предоставил заниматься вам.

После первого чувства удовлетворенности Ярославу вдруг сделалось тяжело на душе. Фромантен не сказал ничего дурного. И все же в его словах он уловил сочувствие. К чему оно относилось? К тому, что он сроднился с Иполитой и отдал ей столько лет жизни? Или в его словах послышалось сожаление о том, что она влияет на него? Ярослав счел неуместным продолжать разговор, но собственные сомнения заставили его возразить.

— Я считал своим долгом поступать так.

Фромантен кивнул, губы его слегка дрогнули, но это даже нельзя было принять за улыбку.

— Конечно, возможно, — продолжал Ярослав свои размышления, — не будь этого, моя жизнь могла бы сложиться совершенно иначе... Очевидно, и моя живопись...

— Я знаю, — сдержанно произнес Фромантен, — что госпожа Галле многим пожертвовала. Поэтому она имеет право многого требовать и от вас.

Теперь Ярослав точно понял, что Фромантен хочет сказать: вы сделали должником — и щедро расплатились. Но скажи ему Ярослав об этом, Фромантен наверняка бы все отрицал. Он умел говорить намеками, дать почувствовать интонацией, так же как умел привносить в свои картины многозначительный полумрак.

— Я утешаюсь, — сказал он, заметив, что Ярослав посерьезнел, — здоровым фатализмом. Происходящее с нами — результат соединения всех наших качеств со всеми теми условиями, в которые нас ставит жизнь. Это означает, что все происходило с нами точно так,

как должно было произойти. Но,— добавил он в завершение,— потому-то все мы и можем жалеть о прошедшем.

Пинкас настаивал, чтобы Чермак принял участие в конкурсе на внутреннюю отделку Национального театра. В конце концов Ярослав согласился и попросил планы. На этом пути его подбадривали слова д-ра Мирослава Тырша, сказанные им в «Люмире» и «Освете» об искусстве Йозефа Манеса, которые Ярослав применил и к себе: «У славянского искусства по сей день иные задачи, чем радоваться впечатлениям и наслаждаться райскими играми». Впрочем, Тырш хорошо был осведомлен о Чермаке. Взвзвись писать цикл статей для петербургского журнала, чтобы сблизить русское и чешское искусство, он просил Чермака прислать ему очерк о своей жизни и творчестве, особенно рассказать об учении в Бельгии. Ярослав старался удовлетворить его просьбу, вспоминал отдельные эпизоды своей жизни и работы, но время становилось все более дорогим для него, и потому он рассчитывал на помощь Пинкаса.

«Скажи ему, что мне там все приелось и понадобилось немало усилий, чтобы вернуться к жизни и установить контакт с современной французской школой, что мне пришлось много писать с натуры». Он по-прежнему упорно работал, но после возвращения Иполиты из По для работы вновь оставались лишь вечера, когда не имело смысла приглашать натурщиков, и потому он с досадой ощущал разрыв между своим искусством и реальностью.

Весною в По Ярославу казалось, что к ним с Иполитой чудом вернулась веселая беззаботность молодости. Ей было хорошо, она не чувствовала себя больной, они соревновались в наблюдательности и шутках, иногда их охватывало веселое настроение, как прежде, во времена импровизированных ужинов на улице Отфёй.

Потом, из Парижа Ярослав писал ей обо всем, что делает, и о своих мыслях. Он работал над гравюрой «Прокоп Голый под Наумбургом», но не закончил ее, потому что служащие Гупиля бастовали. «Это меня мучает, но тут ничего не изменишь. К несчастью, я не могу даже придумать о том, чтобы сделать для вас что-то другое, поскольку изрядно страдаю — у меня начинается какая-то болезнь нервов и сердца, следовало бы поехать куда-нибудь на курорт, да не знаю куда». Так он жаловался Пинкасу.

Тем не менее Ярослав обещал принять участие в оформлении почетного экземпляра книги Александра Дюма «Скандалное дело Клемансо», предназначенного для автора. По сюжету скульптор Клемансо убивает за измену свою любовницу Изу Доброновскую; злые языки утверждали, что таким образом Дюма сводит счеты со своими любовницами-славянками и со своей женой. Чермак выбрал для себя лишь изящную сцену с цветами и детьми и как-то раз,

встретившись с Дюма, с улыбкой стал протестовать против жестокого решения проблемы.

— А почему вы сами с такой немилосердной жестокостью написали «Возвращение герцеговинок в разоренную деревню»? — спросил писатель.

— Чтобы еще раз повлиять на общественное мнение.

— Я тоже. Пока Франция не согласится с разводом, до тех пор я буду звать к ней.

Когда Иполита вернулась из По, Ярослав ожидал найти ее в том же хорошем настроении и столь же доброжелательной, как на курорте, но ее словно подменили, и трудно было определить причину. Как будто болезнь непонятным образом проникла и в душу: она сделалась обидчивой, зло взрывалась и выбирала Ярослава в качестве громоотвода во всех своих неприятностях. Он охотно уступал ей, но ее, казалось, больше бы устраивало встретить отпор, чтобы можно было дать волю недовольству. Иногда после этого она плакала, иной раз конфликт длился несколько дней, проходивших в молчании.

Ярослав обвинял себя, что бывает мало внимателен, а порой и груб, и старался внести в их совместную жизнь как можно больше взаимного понимания. У Марии, тоже вышедшей замуж, родился мальчик, которого назвали Луи. В небольших рисунках с детскими мотивами Ярослав выражал радостное волнение семьи Иполиты. Но усилия его были тщетны. Ласковая и отзывчивая Иполита стала неузнаваемой. Когда-то она вдохновляла его, и его успех приносил им удовлетворение. Теперь она устраивала унизительные сцены и вела себя прямо как враг. Подчас, обессилив от работы, он мечтал иметь рядом с собой терпеливое женское существо. Но Иполита претендовала на максимум внимания и тиранила его опасениями по поводу своей болезни, и тогда он бросал работу, не успев закончить мазок, бегал по врачам и аптекам, устраивал семейные дела, уделял Иполите столько времени, сколько она требовала. В конце концов ему казалось, что Иполита ревнует его уже и к работе.

— Ты работаешь под Коро? — спросила она однажды, когда он начал работу над небольшой черногорской сценой. Перед этим они говорили о манере Коро переходить от самого насыщенного к самому светлому тону. В этом вопросе звучал вызов.

— Я отказался от подмалевки. Так мне кажется целесообразнее.

— Фигуры расположены не лучшим образом.

— Я опасался, чтобы это не производило впечатления искусственности, к которой меня старались приучить в Бельгии.

Ответ был резок: Ярослава раздражал ее враждебный тон.

— Пригласи натурщика — и убедишься, что ошибся.

— Когда я могу его пригласить, если у меня нет времени?

— Я уезжаю в Роскоф. Времени у тебя будет достаточно.

— Ты не подождешь меня? Хочешь уехать одна?

— Почему бы и нет? Ты тоже там был один.

Слова ее не были грубыми, но в отношении людей, которые когда-то каждым своим словом выражали радость по поводу того, что они вместе и дышат одним воздухом, звучали ощутимой дисгармонией.

Уходя, Иполита не позволила ему к себе прикоснуться. Не поцеловала его, не погладила. Он не мог остаться спокойным, в нем все восставало против своеволия, уничтожавшего самую большую ценность жизни.

Неужели я действительно был тем юношей, исполненным чувства собственного достоинства и уверенным, что в опьянении любви— мудрость судьбы, а вспышка страсти— приказ к действию? Вел бы я себя сегодня иначе?

Неприятнее всего для Ярослава было то, что подобные цепи происходили в новом доме, который, как он надеялся, должен был, наоборот, предоставить возможность более спокойной жизни, безопасных встреч, непривычной независимости.

В тот предвесенний день, когда дело дошло до ссоры, Чермак разыскал молодой художник из Праги, Вацлав Брожик, о котором его заранее известил д-р Ригер. Ярослав, взволнованный скандалом с Иполитой и полный отчаяния из-за попусту потраченного времени, принял Брожика не слишком сердечно.

— Кто-нибудь очернил меня в ваших глазах? — удивился обиженный молодой человек. Он уже достиг известных успехов на родине, гордился своим «Прпемыслом Отакаром» и «Завише с Кунгутой», и сдержанность Чермака его задела. Он не знал, насколько дорога теперь Чермаку каждая минута, когда он может посвятить себя работе, и как он несчастен, если его кто-нибудь неожиданно потревожит; Брожик понятия не имел о его переживаниях.

Иполита настояла на осуществлении своей идеи уехать с семьей Амалии в Роскоф. Ярослав помогал ей, проводил на вокзал, обещал, что постарается приехать как можно скорее. Иполита отнеслась к этому холодно, по ее сосредоточенному лицу трудно было понять, что она думает, оно было отчужденным. Однако Ярослав уже знал ее состояние в последнее время и полагал, что это отчуждение в атмосфере Роскофа растает и она сама потом станет об этом жалеть.

Прохладная встреча с Брожиком была неприятна Чермаку. Он хотел загладить впечатление и снова позвал его к себе. Объяснил, что должен экономить время для работы, а потом пригласил в одно из кафе, где собирались художники. Это был уже тот Чермак, о котором Брожику рассказывали,— щедрый, с размахом, дружелюбный.

— Вы очень любезны, что позаботились обо мне, — благодарил Брожик. — Париж меня словно оглушил. Понимаете, когда готовился Салон, я видел, как там обращаются с тысячами картин. Честное слово, я потерял уважение к искусству. Ведь картин там что травы в поле.

— С другой стороны, это вас убедит, что делать надо только то, что вы сами сочтете наилучшим и единственно возможным. Кто здесь слишком много смотрит на других, становится невидим.

— Меня привлекает историческая живопись. Не только потому, что она для нас, чехов, может означать, но и потому, что она дает возможность показать богатство красок. Ректором Пражской академии назначили бельгийца Свертса. Человек он, говорят, добросовестный, но я хотел бы научиться большому.

— Краски мы выбираем по мере своих способностей, а темы нам диктуют наши чувства.

— Вы посмотрите кое-что из моих вещей, прежде чем я начну? Знаете, я ужасно хотел стать учеником Манеса, — признался Брожик. — Однажды упросил брата зайти к нему. К сожалению, было уже поздно.

— Верно, — кивнул Чермак, — он был бы блестящим учителем, по себе это знаю. Я не педагог. Но если вам потребуется какой-то совет или помощь, вы знаете, где я живу, в воскресенье у меня всегда есть время — до моего отъезда в Бретань. Охотно с вами встречусь.

Расстались они дружески.

Вернувшись домой, Ярослав нашел уведомление из почтовой конторы, что может получить пять посылок, присланных из Роскофа. Он недоумевал, что это значит. Беспокоился, не случилось ли какого несчастья с Иполитой. На почте выяснилось: Иполита прислала все его краски, кисти, холсты, рыболовное снаряжение — словом, все вещи из его ателье, находившегося в ее доме.

Это казалось неправдоподобным дурным сном.

КАМЕШЕК ИЗ РОСКОФА

Как только Ярослав сошел с поезда и сделал несколько шагов по направлению к невысоким домикам на окраине, соленый ветер с моря примчался к нему, словно верный пес, и влажным языком лизнул в лицо. Это его обрадовало. Огоньки в окнах, прищурившихся в ступающих сумерках, казались взглядами старых знакомых.

Ярослав глубоко дышал. Нервы, напряженные во время многочасового пути, от ощущения твердой земли под ногами успокоились. Садясь в поезд на парижском вокзале, он был полон энергии. Ему удастся найти решение и все поправить, уверял он себя, нельзя же

так походя смахнуть со стола мудрость любви, обретенную за долгие годы, разрубить отношения, в основе которых было столько страсти и страданий. В пути он заставил себя погрузиться в какое-то оцепенение, чтобы не тратить напрасно душевных сил. День был жаркий, и вдоль железнодорожного полотна мелькали картинки французской весны, широкие соломенные шляпы сияли над головами крестьян точно нимб, Ярослав слышал пение девушек, их красные платки радовали глаз. Но все это было внешне — в душе зияла бездна, неприступная для света и красок.

Тени медленно удлинялись, и солнце, опустившееся в невидимые облака, походило на медузу. Увидев справа извилистое побережье, полное каменных глыб, он сложил газету и очки в чемоданчик. Знал, что сейчас ему нужно действовать как можно обдуманней.

Ярослав шел медленно, словно пловец, сопротивляющийся с помощью равномерных движений не только вечному волнению моря, но и внутреннему смятению. Встречные узнавали его и здоровались по-французски и по-бретонски. Знают они уже что-то?

Чермак обошел пристань стороной и двинулся по узкой улочке вдоль невысокой стены, покрытой серебристой пылью. Когда он приблизился к своему бывшему домику, то увидел через забор крону платана, посаженного вместе с Иполитой десять лет назад.

У воспоминаний свои тайные законы, они не появляются регулярно, как солнце, они не столь четки, как приливы и отливы моря. Неожиданно в памяти Ярослава всплыло, как однажды на рождество они с Иполитой сидели в евангелистском молитвенном доме в Латинском квартале. Там было холодно, и они не раздевались. На Иполите была коричневая шубка с мягким ворсом. Они пытались петь вместе со всеми, а потом слушали проповедь на тему мольбы слепого из Иерихона «Дай мне узреть!». Иполита взяла Ярослава за руку, и он осознал, что на свете не существует ни одной другой женской руки, которая бы так подходила к его руке, как эта.

Возникла уверенность: все, что происходит в нем самом, должно происходить и в ее сознании — ведь он считал, что ничего не видел, пока они вместе этого не увидят, ничего не пережил, пока они вместе этого не переживут. Рим без Иполиты остался для него плоскостной картиной. Ярослав говорил себе: она склонна к раздражительности, но всему виной ее болезнь; она все время чувствует опасность, поэтому исполнена жалости к себе, вспыльчива и несправедлива. Но как море отступает от берега, отдавая его солнцу, так и ее отчуждение и тоска быстро проходят, она сожалеет о них и просит прощения. Когда-то он потерял голову из-за ее красоты. Теперь он уже не представлял себе жизни иначе, чем рядом с ней.

Неужели все это было трагической ошибкой?

Ярослав остановился у высокой каменной стены. Осмотрелся и быстро вошел через открытую калитку во двор. Он не сводил глаз

с простого фасада этого незатейливого дома, сложенного из больших каменных глыб. Две широкие, грубо обработанные ступени. Над входом — простое готическое украшение, арка, из которой круто поднимались вверх две каменные ветви. Посредине над аркой — статуя святой с лицом, омытым дождем, сестра фигурок с бретонских «голгоф». Прежде за этим входом его ожидали доверие и радость. Ныне здесь все было темно и враждебно. Куст гортензии у ступенек белел в темноте, словно светящийся череп.

За застекленным окном наверху, где Иполита оборудовала ему ателье, горел свет.

Ярослав потянул ручку звонка.

Вероятно, я поступаю неразумно, подумал он. Не лучше ли нам никогда больше не видеться? Но он считал недостойным расспрашивать чужих людей и проходить мимо этого дома, словно таящего грязную тайну. Если женщина, которая вместе с мужчиной четверть века боролась за право любить против всего мира, может поступить так, — она должна иметь мужество все объяснить. Такое расставание оскорбительно.

А что если это произошло в момент раздражения, с которым она не могла совладать и о котором уже сожалеет? Разве она может выгнать его за порог, словно непрошеного гостя, ставшего вдруг в тягость?

Он снова потянул за ручку. Звонки разносился по всему дому. Чувствовалось, что в доме есть люди. Но шагов не было слышно. Дом затаил дыхание.

Ярослав чуть отошел от двери. Верхнее окно уже было темным. Кто-то погасил там свет.

Он подошел к двери и принялся стучать кулаком, словно желая выбить ответ из этого унижительного молчания. Но по-прежнему было тихо.

Что ж, он напрасно приехал?

Ярослав уже легонько постучал по дереву — словно игрок, с жестом сожаления бросивший карты на стол. Повернулся и ушел. Видит ли его Иполита? Чего она боится — согласия на уступку или стыда? Может, она лежит на кушетке, зарывшись с головой в подушки, а там, наверху, за окном, стоит одна из ее дочерей, оставшихся, несмотря на все его усилия, его врагами. Или кто-нибудь из тех преданных приятельниц, которые бесились, что рядом существует чувство, о котором сами они и мечтать не могли?

По узкой каменистой дорожке через проход в стене он направился к берегу. Там темнота стала светлее.

В одном он был уверен: Иполите ее жестокий поступок причинил боль. Она отрелась и от части собственной жизни, от самых прекрасных лет, от величайшего порыва, от муки позора, которую она претерпела ради него. Мосты, сожженные ею, были связаны с

берегами ее собственной молодости. Какие муки должна она испытывать!

Ярослав стоял на берегу, но море отступило далеко, даже голоса его не было слышно. Лодки лежали на боку, словно животные с перерезанными сухожилиями. Он попробовал отыскать свою «Струйку».

Ощутил, как его застывшее лицо при этом тронула улыбка, которую не увидишь в зеркале, но которая успокаивает сердце, глубже вздохнул.

В воздухе пахло водорослями и мокрой землей — тем запахом приключений, который он любил.

Он медленно шел к тому месту, где на якоре стояла его лодка. Ноги то утопали в песке, то со скрипом скользили по ракушкам.

Он подошел к лодке, стоящей на суше, и это казалось кощунством. Коснулся деревянного борта, повидавшего немало штормов, и почувствовал его твердость. Перепрыгнув через борт, Ярослав уселся на край лодки.

И когда смолкли шаги и Ярослав сделался частицей своего молчаливого судна, он услышал окружающие звуки. Воды, ушедшие в глубины, рассказывали о побережье. А рядом с лодкой слышался невнятный шум: мелкие рачки, забытые здесь морем, искали укрытия и ждали.

Ярослав медленно обводил все взглядом, и наконец его внимание привлёк горизонт. Там, на грани воды и неба, он уловил светлое пятно, словно воспоминание и предвестие будущего.

Ярослав почувствовал, как лодка медленно выпрямляется. Он пересел на банку и ждал. Слушал удары волн о киль. Вода тихо и неспешно вела свою работу. Берег затаил дыхание перед наступлением новой жизни. Ярослав мог себе представить, какая инстинктивная радость охватывает тысячи простейших организмов, ощущающих, что угроза смерти отступает и они вновь возвращаются к жизни.

Он знал этот миг особой неподвижности моря в конце отлива. Оно еще далеко от берега, но вдруг его охватывает странная неуверенность. Желание уйти в объятия более глубоких и более холодных вод неожиданно наталкивается на подсознательную тягу к берегу. На несколько мгновений огромные волны вокруг словно замирают в нерешительности, но потом побеждает притягательная сила материка и они начинают несмело ложиться на песок, еще влажный от их прощальных поцелуев. В эти минуты тяжелобольным в домиках на берегу дышится легче.

Заметив, что лодка приподнялась, Ярослав выскочил из нее. Было уже довольно поздно. Он чувствовал, как ноги его увязают

в сыром песке, и выбрался на низкий утес. Темнота в Роскофе и та была светлой. Он видел, как вода поднимается и приближается, прилив казался вялым, но он отвоевывал все больше земли, ластился к скалам, заполнил водой их трещины и выбоины, отбегал, словно в любовной игре, и вновь устремлялся вперед, в расщелинах между скал вода бурлила, выводя шипящую мелодию.

Это явление природы успокаивало Ярослава своей неумолимой закономерностью, безразличием к человеческому счастью или мучениям. На бледном горизонте было видно, как выпрямляются и начинают беспокойно подрагивать парусники; из побежденных животных они превращались в благородные создания. Возле скалистых отмелей разливалось сияние пены, а над всем этим светилось небо, изборожденное длинными тучами, словно резкий северо-западный ветер приклеил их к небосводу.

Человек, идущий во время прилива по берегу, часто становится жертвой нерешительности. Это рубеж между прошлым и настоящим, и человек, воспринимающий ритм моря, сам не знает, остаться ли ему во власти прошлого или помочь себе и другим отречься от него.

Ярослав повернулся, перепрыгнул через воду, обогнавшую его, и направился по побережью туда, где высилась стена дома Марии Стюарт. На темном песке блестела галька и ракушки, которые выбросил и передвигал все дальше прилив. Ярослав нагнулся и поднял камешек, белый и гладкий. Каждое лето они с Иполитой находили ракушку или камешек, на которых надписывали год. Это был первый камешек, который он подобрал один.

Из желтых окон гостиницы Гаде донеслась песенка. Художники еще не спали. Войти?

В эту минуту в дверях показалась фигура.

— Чермак? Откуда ты тут взялся?

Это был художник Мишель Буке.

— Я попозже зайду. Приехал неожиданно.

— Случилось что-нибудь?

— Нет, ничего.

Ярослав пошел дальше. Испугался, что ему придется отвечать на вопросы. Мысли были слишком тяжелы, и он не мог от них избавиться.

Почти час ходил он по побережью, пересек площадь, обошел кафедральный собор, вернулся на прибрежные утесы и с отсутствующим видом следил, как уходят парусники на ночной лов. Ему казалось все более нелепым, что он не имеет права войти в дом, который был здесь для него родным.

Неожиданно он почувствовал пронизывающий холод, его трясло. Он позвонил в дом своего друга кормчего Кренью.

Тот шумно приветствовал Ярослава, но его взгляд говорил о том,

что уже все известно. Да и как иначе? Пять посылок по почте — такое быстро разнесется по всему городку.

— Входите, у меня Моро и Фаллак, мы как раз говорили о вас, у меня недурной сидр, а жена отменно готовит блины.

Все весело здоровались с ним, но слишком уж старательно притворялись, будто ничего не произошло. Ярослава радовала их доброта. Они напоминали ему жителей Словакии, таких же открытых и дружелюбных. Они с удовольствием поглощали блины, тонкие, как кружево, к которым госпожа Кренью, такая же крепкая и веселая, как ее муж, подавала по желанию сыр, яйца и варенье. Хвоя в камине потрескивала и благоухала.

— Вы любите рябиновую, — вспомнила она и поставила перед Ярославом бутылку.

— Гер мат, — сказал Фаллак и поднял рюмку. — По-бретонски это означает «ваше здоровье».

— Гер мат, — с благодарностью повторил Ярослав.

Бретонцы бывают молчаливы. Но когда они считают это уместным, их языки развязываются. Ярослав был таким же.

— Друзья, возможно, сегодня мне придется почевать под смоковницей.

— В Роскофе хватит домов, где вы можете переночевать, — наперебой заговорили они, — хоть каждый час меняйте.

Он притворился спокойным, и постепенно их сдержанность исчезла. Фаллак рассказал, как удивился вчера, когда в окнах дома возле маяка засиял свет, оттуда послышалась музыка и видно было, что там танцуют. Приехала старшая дочь госпожи Галле, младшая со своим мужем уже была здесь, потом приехала госпожа Галле с какой-то красивой приятельницей, пригласили нескольких таможенных чиновников и двух-трех офицеров и устроили небольшой бал, да, именно в том помещении, где у Яры было ателье. И потому, наверно, его вещи помешали...

Когда количество выпитых рюмок увеличилось, присутствующие уже не скрывали своего искреннего возмущения и твердили: то, что случилось, — обида и для них.

— Но вы же не возненавидите из-за этого Роскоф? — добивались они ответа.

— Я ничего дурного не сделал. С чего бы мне его покидать? Если только вы разрешите несколько дней пожить у вас...

— Вы доставите нам радость, — уверял его Кренью.

Он подвел его к окну комнаты, предназначенной для гостей. Стена поднималась прямо над берегом, и море подступало вплотную.

— Вы будете себя здесь чувствовать как на судне. Разве не так? Ярослав согласился.

Вечеринка продолжалась. Он знал, что, как только он окажется один и перестанет чувствовать дружеское тепло этих настоящих

мужчин, с ним рядом вновь очутится Иполита, молчащая Иполита, которая словно сфинкс станет прислушиваться к его мыслям.

— В чем ты можешь меня упрекнуть? Чем вызвано твое решение? В последнее время ты беспричинно ревновала меня, — пожалуй, лишь оттого, что сама несчастна, оттого, что недооценивала себя, боялась своих болезней или возраста. Что ты ставишь мне в вину? Как я себя вел с некоторыми твоими приятельницами? Они оклеветали меня перед тобой? Но в таком случае это месть за то, что я в своей галантности не зашел так далеко, как им хотелось бы... Госпожа Беллем желает, чтобы все вокруг боготворили ее. Я не принадлежу к числу таких людей — и, стало быть, это преступное оскорбление ее величества. Да, я заходил иногда к супругам Беллем или Тардые, когда у тебя бывали неприятности с дочерьми и ты все переворачивала вверх дном. Ты обижалась, возможно, и мне следовало уделять этим вещам больше внимания... Однажды ты сказала, что доктор Тардые делает тебе неприличные предложения, провозжая до коляски... Правда ли это? Или ты сказала так для того, чтобы отвратить меня от их общества? Но ведь оно меня никогда не интересовало... Да, так оно и есть, госпожа Беллем, без сомнения, избрала средством мести клевету. Бедный доктор Тардые. Ему хотелось бы наслаждаться жизнью, у него уже был сердечный приступ, который он скрыл от жены и пациентов... Я его люблю, в те трудные времена, связанные с событиями в Остенде, он много для нас сделал. Но госпожа Беллем держится неблагородно, и мне жаль, что ты попала в это общество... Или я ошибаюсь? В таком случае скажи, что во мне тебе не нравится, если по простетвию двадцати пяти лет ты расстаешься так безобразно? Я тебя чем-нибудь обидел? Ты излишне чувствительна, но что касается меня, я старался, чтоб тебя никогда не тревожили никакие страхи... Я ведь клялся, что никогда тебя не покину. И своей сестре недавно повторял это. Она, бедняжка, двадцать лет жила иллюзией нашего полного взаимопонимания. Правда, мы не были супругами. Но ты всегда говорила, что супругам, собственно, не следовало бы жить вместе, чтобы сохранились их интимные узы. Столь долгая совместная жизнь узаконивает и незаконный союз. Именно в этом году Мария собиралась приехать со своей семьей к нам в Роскоф, я так радовался тому, что она сблизится с тобой. Знаешь, как она огорчится, узнав о случившемся?

Ярославу казалось невероятным, что Иполита лежит неподалеку от него, в их доме, и может оставаться там одна. Ему удалось заснуть, но и во сне он чувствовал себя несчастным.

Утро было по-роскофски искрящимся, прозрачным. Оно хранило в себе и песнь прибоя, и приветливость моря, и его тихое прощание.

Ярослав шел, сжимая в кармане камешек, который подобрал ночью на пляже, и смотрел на море. Из-за синей полосы воды его приветствовал темный силуэт нависающих скал острова Ба. Ему хотелось все бросить, сесть в лодку, отправиться на остров, пробежать по серебристой дорожке среди чертополоха и броситься на широком и пустынном пляже в волны.

Но он знал, что должен пройти сквозь чистилище.

Торговцы выставляли коробки с раковинами и рачками. В витрине писчебумажной лавки хозяин раскладывал новинку — первые открытки с местными видами; Ярослав купил несколько штук. С побережья доносились крики рыбаков, складывавших сети. Дети собирали водоросли. Дом Иполиты с простым фасадом, казалось, не скрывал никаких тайн.

Ярослав вошел в открытую дверь и поднялся наверх.

Открыл дверь и сказал:

— Это я. Не могла же ты думать, будто я не приду.

Иполита сидела у окна в кресле. Она была неестественно бледна, даже губы ее побелели, а лицо словно опухло. Она не казалась Ярославу красивой, но ему было жаль ее. Все-таки это была она.

— Почему это произошло? — спросил он, но тотчас одернул себя: может, он излишне агрессивен? Он пришел с намерением во всем спокойно разобраться; по дороге решил, что готов даже унизиться и просить прощения, если выяснится, что его в чем-то обвиняют. Хотел быть как можно более нежным — речь шла о манере поведения, не о решении.

— Что случилось, Иполита? — спросил он уже гораздо мягче. — Чем я тебя обидел?

— Ты же все знаешь. Зачем терзать себя?

— Знаю только, что время от времени у нас бывали мелкие разногласия. Мы всего лишь люди — в какой семье этого не бывает? Но те, кто так долго прожил вместе, сумеют вернуться к старому.

Взгляд ее стал чуть мягче. Но говорила она по-прежнему холодно и твердо, ясно было, что она для себя все решила.

— Ты уже плохо понимал меня.

— Иполита, — улыбнулся он этой лжи, но снова взял себя в руки и кивнул: — Хорошо, мы меньше понимали друг друга... Но я думал, что, когда ты приедешь в Роскоф и найдешь тут гнездо, которое мы вместе с тобой создали и которое оба любили, к тебе вернется и прежнее чувство...

— У меня взрослые дочери, — надменно произнесла Иполита. — Почему они должны жить такой же затворнической жизнью, как я?

— Они обе замужем, у них дети, своя собственная жизнь, которую они сами себе избрали.

— И все же они могут рассчитывать только на меня. У тебя

есть твое море, товарищи, лодка, а у меня? Дождь, грозы, бури, одиночество.

— Нет, — испугался он, — ведь было не так. У каждого из нас есть свои интересы, но очень часто — общие. Мы шли друг другу навстречу. Нам не так легко жилось — в мире, полном предрассудков... Я старался сделать так, чтобы ты не слишком страдала, этого ты отрицать не станешь. Разве тебе поможет, если ты оглушишь себя, одурманишь каким-то сомнительным обществом?

— Вот видишь, — сказала она спокойно, явно обрадованная тем, что он облегчает ей задачу, — мы не можем понять друг друга, в том-то все и дело. У тебя есть то, что тебе нужно: твои полотна, твоя Черногория, твоя Бретань.

— Но, Иполита, прежде всего мне нужна была ты... Чем иным была наша жизнь в Париже?

— Тогда зачем ты построил ателье на авеню Ваграм? Чтобы быть как можно дальше от меня? — накинулась на него Иполита.

— Ты никогда меня в этом не упрекала, — удивился он. — Тут мы могли бы еще что-нибудь изменить.

— Поздно, мой друг, — сказала она. Ее голос и лицо выражали страдание.

Ярослав был уверен, что одна или обе дочери, а то еще и госпожа Беллем стоят где-то за дверью и слушают, а Иполита боится, как бы не сказать чего-либо нарушающего уговор. И все же он решился высказаться:

— Я знаю, твои дочери меня не любят. Я старался завоевать их расположение, но тщетно. Они эгоистичны, ибо мешали тебе найти самое себя и жить собственной жизнью. Они стремились развести нас. Этого желали и твои приятельницы, от дружбы с которыми я тебя остерегал. Иполита, я действительно уже ничего не значу для тебя? Возможно ли это? Мы подарили друг другу свою молодость. Разве не страшно признаться, что мы попросту выбрали неверный путь? За что нам такое жестокое наказание?

— Этого я не говорю, — сказала она уже не так холодно, — однако дальше так продолжаться не может. — Голос ее звучал почти умоляюще. — Да, я хочу получить от жизни больше, чем имела до сих пор. Свет передо мной в долгу. Я была неприветлива, но всему есть предел — и сколько мне еще остается жить?

— И потому нам следовало расстаться?

Она сделала беспокойное движение, и глаза ее сверкнули.

— Что ж мне, ждать, пока ты сам меня бросишь?

Он посмотрел на нее с недоверием.

— Это и есть причина, Иполита? — спросил он тихо.

Похоже, она говорила искреннее, чем прежде:

— Ты меня знаешь: мне нужно все — или ничего. Такой уж у меня характер. Тебе он нравился. Тебе нравилась моя искренность.

Я тебя бросаю. Это последняя услуга, которую я могу тебе оказать. Жизнь со мной была бы для тебя хуже.

— Но, Иполита, — возразил он, хотя последние слова его очень тронули, — неужели ты думаешь, что я когда-нибудь хоть мысленно изменил тебе? У меня наверняка много слабостей. Но, может, есть и какие-нибудь достоинства?

— Безусловно. Самым большим твоим достоинством была верность. Но я не хочу испытать обратного. А мне пришлось бы...

— Это твое последнее слово?

— Настолько последнее, что прошу тебя больше ни о чем не спрашивать.

Ему казалось, что она готова расплакаться и глаза ее снова молили о жалости. Он повернулся и быстро вышел.

Спустя несколько дней после прибытия Ярослава в Роскоф к нему прибежал радостный капитан Фаллак.

— Вопрос решен, дружище. Мы построим вам дом... Само собой, построите его себе вы, он будет ваш. Но мы все поможем. Для вас есть великолепное место.

Он повел его туда, где планировали провести новую улицу, и показал земельный участок. Чермак вначале недоверчиво улыбался, но постепенно идея захватила его. Почему бы ему не иметь тут собственный домик, где он будет жить с весны до осени и работать? Разве не подсказывало ему море и бретонский воздух новые сюжеты, новые краски?

Еще до отъезда в Париж он заказал проект и план. Похоже, строительство здесь обойдется недорого. Камень был дешевым.

Однако спокойствие к нему не вернулось. Он постоянно думал над тем, как разрешить отношения с Иполитой. Ему приходили в голову другие слова, которые, вероятно, следовало сказать, чтобы убедить ее. Что теперь? Ждать, пока время излечит? Снова сделать попытку договориться?

Но за время пребывания в Роскофе он не рискнул вновь нанести ей визит. Слышал, что в его ателье поселилась Амалия с мужем. Вечеринки продолжались, хотя и по-роскофски скудные, но кое-кто из участников ему рассказывал, будто Иполита счастлива, что могла принимать гостей, и щедро расточает любезности. Это унижало его в глазах знакомых, уязвляло то прошлое, которое он берег в себе. Но его радовало, что Иполита не страдает. Она стремится заглушить сожаления, думал он, и при ее воле ей это наверняка удастся.

На сей раз он благословлял приход осени. Жить в Роскофе рядом с ней и одновременно вдали от нее было мучительно. Париж велик, он скроет все. Единственный человек, которому Ярослав мог искренне исповедаться, был Собеслав Пинкас.

«Она одержима страстью жить в обществе и иметь салон. Конечно, в нашей необычной ситуации это было сложно, я не хотел, чтоб она попала в дурное окружение. Возможно, я переусердствовал, я не думал, что она так к этому стремится. Наши прекрасные вечера в кругу надежных друзей она променяла на кокетство бог знает с кем».

Ярослав смутился, что сваливает всю вину на Иполиту. Но он считал, что правильно понимает ее.

«В этом наверняка много экзальтации и желания оглушить себя, но с ее железной волей ей это удастся, и она будет любить тот водоворот, который позволяет ей проматывать состояние столь приятным образом, и у нее всегда все будет в порядке».

У него часто повышалась температура, покалывало сердце. Он рассчитывал лишь на то, что его болезненное состояние пройдет так же неожиданно, как появилось — ведь и кровообращение приспособливается к отмиранию сосудов.

Примириться с тем, что я допустил трагическую ошибку? Или нужно убедить себя в том, что, к сожалению, это нормальный процесс, что красота увядает, а чувство проходит? Или я всегда был прав, а грех ошибки лежит на Иполите?

Пинкас предложил написать Иполите, но Ярослав не согласился.

«Это только подольет масла в огонь. Сейчас это или слишком рано, или слишком поздно... Но не заблуждайся, она не несчастна и не будет несчастной до такой степени, как ты думаешь».

Планы внутреннего оформления Национального театра не прижились, но Ярослав разгонял тоску, работая углем над эскизами для большого полотна. Дело в том, что Пинкас приложил все силы, чтобы расшевелить Общество друзей патристического искусства, и оно проявило интерес к творчеству Чермака. Старый друг знал, что это самый верный путь к его спасению. Ярослав послал в Прагу акварельный эскиз картины «Отдых с пленницами».

«Я старею, и мне непозволительно терять свое время и растрачивать его по пустякам, как бывало... Дни мои бегут: пришла пора свершить что-то большое и значительное...». Он мечтал создать картину, «которая выделялась бы в Пражской картинной галерее, не провозвоя считаться эту галерею немецким филиалом». Однако сам он не верил в свои обещания. «Это всего лишь прекрасная мечта».

Но однажды Пинкас сообщил Ярославу, что Общество, довольное тем, что Чермак выбрал сюжет не из чешской истории, одобрило эскиз и ассигновало на заказ восемнадцать тысяч франков.

Это означало, что следует пришпорить свою волю. Ходил ли он по Парижу или по Роскофу, он вынашивал в голове новый сюжет, сосредоточивался на нем, продолжал работу над эскизами. Тем вре-

менем домик на улице дю Кап быстро поднимался над фундаментом.

Ярослав придумал опускающуюся дверь из столовой в погреб, приказал соорудить на участке приспособление для сушки сетей, в саду наметил место, где будет зимовать лодка. Он радовался, что пригласит сюда роскофских «морских волков», а иной раз представлял, как вводит Иполиту, показывает ей вид на залив, говорит, что здесь они будут чувствовать себя словно на палубе бросившего якорь судна...

В августе этого года море злилось, но Ярослав отгнал грипп тем, что буквально не вылезал из воды — костюм Буатона давал ему такую возможность. В октябре потерпели крушение на утесах два английских парохода, и Ярослав принял участие в спасении пассажиров.

«Работа утомляет меня, — признавался он Пинкасу, — только в море, в своей лодке я еще чувствую себя хорошо». И в письмах время от времени слышались отголоски мыслей, не покидавших его. «...Каждый из нас живет изолированно, словно в тюремной камере. Это, конечно, не улучшает состояния здоровья. А мне надо бы пожелать себе здоровья. Похороним все это, что поделаешь...».

Фаллак нашел ему экономку, и на зиму Чермак привез ее в Париж. Катрин Неделлек была тихая, неназойливая, быстро все схватывала и сразу могла определить, когда Ярослав переутомлен или в плохом настроении.

— Ступайте пройдитеесь, — советовала она. — Неужели у вас в Париже нет таких хороших знакомых, как в Роскофе?

— Пойду, но не сердитесь, если я скоро вернусь.

— Приходите, я приготовлю вам блины со старым кальвадосом.

Раз в неделю Ярослав навещал художника Дюбюфа, где встречался с Робер-Флэри и его сыном, еще с рядом скульпторов и художников, с Луи Леже и Эрнестом Дени, который страстно интересовался чешским прошлым, особенно — событиями, связанными с Белой горой. Как-то Дени в разговоре заметил, что самого Йозефа Манеса он ценит выше, чем его творчество, которое считает банальным и устаревшим. Ярославу стало больно, но он пытался понять точку зрения француза и продолжал относиться к нему неизменно дружелюбно.

Время от времени он заходил на улицу д'Анфер к Брожику, который усердно работал, и встречал у него молодую певицу Ребенку из летнего «Альказара». Ярослав просматривал полотна, не вмешиваясь в вопросы мировосприятия, иногда что-то советовал насчет гармонии красок или их использования. Заметив неудачную перспективу в картине «Свадебная процессия», посоветовал Брожику обратиться к знакомому художнику-декоратору из «Одеона» как к испытанному помощнику.

— Вы в Париже добрее всех относитесь ко мне, — благодарил его молодой художник.

Но все старания отвлечь себя от мрачных мыслей и завязать новые знакомства, которые эмоционально оживили бы его, были тщетны. Фромантен неожиданно умер, держа в руках издание своих «Старых мастеров». Ярослав потерял доброго друга. В конце года он написал Пинкасу: «Все пусто, живу печальный и одинокий, как сова...»

Он не мог положить конец бесконечным мысленным укоряющим диалогам с Иполитой:

«Она слишком любила балы, и это убило ее», — повторял он иногда вслух фразу, которую запомнил из романа «Фантомы». Он понимал ее не буквально. Но звучала она осуждающе.

Камешек с Роскофского побережья он положил рядом с орденом князя Николы, золотыми медалями из Брюсселя, орденом Почетного легиона, полученным во время последнего Салона.

А в январе 1878 года он натянул холст, самый большой из всех, какие он когда-либо начинал, для картины, предназначавшейся Праге. Настроение у него было торжественное. Первая большая картина по заказу родины. Ответственная задача — и вместе с тем радость, которая могла бы вернуть его к жизни.

КОНЕЦ ПУТИ

Тысяча восемьсот семьдесят восьмой год начинался с обещаний и надежд. Франция стремилась показать, что большая выставка 1876 года была не последним словом в ее подъеме и что, несмотря на все бедствия, она еще способна идти в ногу с другими передовыми государствами Европы. Итак, готовилось новое грандиозное зрелище, шились сотни тысяч знамен, в Трокадеро строился самый большой в мире концертный зал. Было уже известно, что станет сенсацией выставки: американец Белл собирался продемонстрировать свое изобретение под названием «телефон», передающее человеческий голос на расстояние. Салон тоже обещал быть необычайно торжественным, и австро-венгерское правительство прислало художников, чтобы декорировать павильон. Ярослав лично знал венгерских художников Зичи и Коромпай и договорился с ними, что тоже примет участие в работе: несколько раз ему помогал молодой археолог Карел Шкорпил, искавший у него поддержки в Париже.

Ярослав знал, что все художники лихорадочно заканчивают большие полотна. Среди них были и импрессионисты, которые уже вошли в сознание художественной общественности. Ярослав хотел выставить в Салоне «Боснию», за которую получил в Амстердаме золотую медаль, и еще раз — «Раненого черногорца», которого архи-

епископ Штросмайер обещал ему прислать на время из Загреба. Но больше Ярослав думал о Праге. В прошлом году в качестве премии «Художественного клуба» был издан «Прокоп Голый перед Наумбургом», но современная обстановка требовала сюжетов из турецкой войны. Болгары после пятисотлетнего рабства пытались свергнуть османское иго, и из всех южнославянских земель туда стекались добровольцы. Благодаря нескольким чехам был раскрыт коварный замысел турок, уничтожение дороги предотвратило их нападение, Россия своевременно послала болгарам помощь, и название перевала Шипка облетело весь мир. Только Англия, постоянно опасаящаяся за свое положение на Босфоре, спасла Турцию после падения Софии от разгрома.

Ярослав хотел остаться верен теме Боснии и Герцеговины, за преданность которой, как он узнал, его очень хвалил Неруда, который заявил, что Герцеговина недавно была «ареной величайшего семейного гнета и вместе с тем величайшего патриотического героизма»; над ее бедой чехи пролили немало слез. Поэтому Ярослав был убежден, что и новая картина сильна по мысли и таит в себе богатые изобразительные возможности. Это была группа связанных и полубоженных пленниц, среди них совсем маленькие девочки, которых башибузуки вели на невольничий рынок. Женщины словно олицетворяли жестокую судьбу, они были убиты горем, ибо лишились родины, и лишь в их взглядах читалась несокрушимая гордость. Башибузуки на картине стремились пользоваться радостями жизни: удобно рассевшись, они курили, играли в кости, никому из них и в голову не пришло облегчить печальную участь живого товара. Как одежда стражей, так и налобные повязки и юбки герцеговинок давали большие цветовые возможности. От подоженного строения на заднем плане тянулся темный дым. Но небо было ясное, и контрастом к нему Ярослав изобразил странствующего дервиша, заросшего, с свалившимися глазами; стоя на развалинах дома, он смотрел на мрачную картину. Его одинокая фигура казалась многозначительной: это был взгляд со стороны, удивленные глаза, ужасающиеся той жестокой несправедливости, жертвами которой стали красота, мир, человеческое достоинство.

Ярослав знал, что перенести акварельный эскиз на большое полотно — дело длительное и нелегкое, и собирался с силами. Тщательно наметил фигуры углем. Он вновь ощущал свою связь с событиями, происходящими в мире. Недаром критик Шарль Ириарт называл его «парижанином из Черногории и славянином из Парижа». Все знали его черногорок. «В эту эпоху восстания южнославянских земель мы ожидаем от него какого-нибудь мужественного эпизода, исполненного выразительности и энергии», — читал он как призыв к действию.

Но чем интенсивнее он пытался работать, тем больше осознал,

что здоровье его ненадежно; вернулись боли в грудной клетке, знакомые уже по Роскофу. Он приступал к работе с опаской — суждено ли создать эту картину, вечером, при газовом освещении наверстывал потерянное время, приказывал себе экономить силы.

Капитан Тори вернулся в Париж, и они снова сделались неразлучными друзьями.

— Мне кажется, — констатировал Тори, — что вам, когда вы работаете, вроде как страшно.

— Да, страшно за время, за себя.

Утром, проснувшись, Ярослав тотчас начинал прислушиваться к себе, все ли у него в порядке. Часто вставал, горя желанием работать, но, сделав резкий вдох, чувствовал вдруг покалывание где-то у сердца. Он замедлял движения, делал их плавными, стараясь обмануть тело и не раздражать источник боли.

— Вы ипохондрик, — качал головой Тори.

— Если бы! Как бы мне хотелось посмеяться над собой... Но чувствую, здесь во мне враг, — постучал он кулаком в грудь. — Он коварен, и его не смягчить ни угрозой, ни молитвой.

— Тогда отдохните, не надрывайтесь так. Вы измучены, поезжайте куда-нибудь развлечься.

— Боюсь, мне остается мало времени. Представьте, это моя первая картина для Праги!

— Еще успеете ее нарисовать. Что вы скажете на предложение пойти к Мабию, посмотреть, как веселится парижская молодежь? Мы сами помолодеем.

— Мне хочется сделать нечто совершенно иное.

— Что именно?

— Написать завещание.

Тори рассмеялся.

— На вас лежит отпечаток печальной Бретани, с ее легендами и замогильными преданиями...

Но Чермак выглядел грустным и подавленным.

— Это вещь серьезная. У меня осталось не так уж много родственников — нужно привести дела в порядок...

— Почему бы и нет? — пожал плечами Тори. — Тоже вид развлечения. Только мне, пожалуйста, ничего не завещайте. Я в эту игру с вами не играю.

Когда солнце прогрело воздух над тротуарами и владельцы кафе приказали убрать печки с древесным углем на склад, Ярославу захотелось выяснить, как продвигается строительство в Роскофе. Он пригласил капитана Тори сопровождать его.

— Увидите, Бретань меня сразу преобразит, — обещал он. — Я вспоминаю море, как самую лучшую подругу.

— Собираетесь там заниматься живописью?

— Я верю, что море вдохнет в меня новые жизненные силы.

Но когда по дороге к пристани он проходил мимо своего бывшего домишка и дома Иполиты, сердце у него защемило.

— Вам нехорошо? — испугался Тори.

— Борюсь с воспоминаниями. В последние годы я привык тут все переживать вдвоем.

— Думайте об этой женщине так, словно она умерла, — посоветовал ему Тори.

— В таком случае она склонялась бы надо мной, как добрый ангел... Пусть я тщетно искал бы ее в этом мире — она жила бы во мне, мы были бы связаны благословенным волшебством.

Тори промолчал. А на Ярослава из окон еще пустующего дома Иполиты взирала враждебность, а из мансарды, где находилось его ателье, словно смотрел на себя он сам, обманутый и сбившийся с пути.

Его новый домик на улице дю Кап был почти готов. Большие окна блестели в лучах вечернего солнца. Он мог уже подняться на балкон второго этажа и убедиться, какой широкий простор открывается перед ним.

Кое-кто из знакомых был в плавании, но он нашел кормчего Крепью, а вскоре появился и верный Фаллак. Они приветствовали его бодро, сердечно, так же как и капитана Тори. Но Ярослав привык глядываться в человеческие лица и их выражение. От него не укрылось удивление, промелькнувшее в их глазах.

— Я плохо выгляжу?

— Думаю, как обычно, — сказал Фаллак. — Вам надобно беречь себя.

— В Роскофе я чувствую себя хорошо. Всю зиму я радовался предстоящей прогулке на остров Ба. Поедем?

Они старались доставить ему удовольствие.

— Хотите сесть за руль? — предложил Крепью.

— Почему бы мне разок не прокатиться как барину? В один прекрасный день я вот так поеду на «баг ноз», на «барке почи». Надо привыкать!

— Такие вот у него теперь шутки, — жаловался Тори.

— Что вы хотите? — защищался Чермак. — Мои друзья подтвердят, что тут, в Бретани, все время думают о конце. В этом нет ничего страшного. Люди здесь продолжают жить вместе с теми, кого уже нет.

Он опустил руку в убегающую воду, а потом приложил ее ко лбу и губам, словно вбирая ее соленость и свежесть. Они миновали острые скалистые выступы, окаймленные пеной.

— Сколько времени я смотрю отсюда на город? Сколько времени еще буду смотреть?..

Они приблизились к острову. Но Ярослав положил ладонь на руку Кренью.

— Не приставайте!

Кренью удивленно взглянул на него.

— Хотелось бы глоток крепкого, — проворчал он.

— Тогда пристанем к Тирозону, хорошо? — показал Чермак на островок вблизи Ба.

Кренью повиновался. Все в Чермаке казалось иным, чем прежде. Тори осматривался по сторонам и в добром расположении духа мурлыкал парижскую песенку:

«...что жизнь не проскользнула мимо
серой тенью,
что рядом были руки, на которые
могла моя поникнуть голова».

Этот sentimentalный вальс взволновал Ярослава. Когда они сошли на берег, он сел на камень, предложил друзьям походную флягу с водкой и признался:

— Не сердитесь, меня теперь иногда одолевают такие глупые мысли.

— Например?

— Мне подумалось, что я еду на Ба в последний раз. Жаль было бы в последний раз ступить по этому серебристому песку, видеть этот прекрасный голубой чертополох, который у меня дома на столе уже совсем побелел, и открытый океан... Я был там слишком счастлив.

— Это и впрямь глупости, — рассердился Фаллак. — Я знал вас как порядочного моряка.

— Именно, — улыбнулся Ярослав. — Я сам себя обманываю. Если я до него не доберусь — значит это не в последний раз, ясно? Я сохраню эту мечту, «последний раз» еще настанет как-нибудь. Как-нибудь.

Они восприняли его слова как шутку, по-прежнему отхлебывали из фляги и пели морские песни:

«...завлекла звезда далёко,
вдруг пропала, не видать...»

Ярославу казалось, что все прежде воспринимавшееся им безотносительно к себе теперь касается непосредственно его.

Фаллак подсел к нему, обнял за плечи; никогда прежде он так не делал.

— У вас будет здесь дом, вы будете наш больше, чем прежде, вас ожидают здесь прекрасные дни...

— Не забудь, парень, принести в жертву цыпленка, когда дом

будет готов. А то на пороге усядется Ан-Анку и заберет первого, кто войдет в дом, — напомнил Кренью.

— В таком случае это буду я, — улыбнулся Ярослав.

Тори смотрел на него с растущим беспокойством.

Почевали они у Гаде. В комнате Ярослава было холодно, ночная сырость проникала сквозь неутепленные окна, все было пропитано влагой.

Ярослав подошел к окну. Ветер говорил в два голоса — вдалеке, в море, и в платанах возле церкви. Он смотрел в ту сторону, где находился дом среди гортензий. Вспоминал годы, когда над ним простиралось радостное небо. Впереди у тебя большая работа, тебе еще нет пятидесяти, жизнь для тебя не кончилась, убеждал он себя. Но печаль надламывала его, и твердость воли не помогала. Он опустился на колени возле стула, оперся о него локтями и закрыл ладонями лицо.

— Господи, — обращался он к тому, кто только и остался у него в минуту одиночества, — какие грехи ты мне отпустишь? Я верил, что иду правильным путем и поступаю так, как должен поступать. Я верил, что эта женщина — половина моей жизни. Она подарила мне большую любовь. Как это было прекрасно — приносить себя в жертву. Я стоял перед ней на коленях, как ныне стою перед тобой. Господи, когда в мою жизнь проник яд и я начал принимать ложь за правду, тень за свет? Когда чувство состарилось до обыденности? Что мне делать, чтобы вновь обрести веру в себя? Мне необходимо человеческое существо, в которое бы я верил, которого бы ждал, с кем разделил бы жизнь. У меня нет ни сына, ни дочери, у меня уже никого нет. Могу ли я еще вырваться из глубин моего холода?

Он молился, но ответа не получал. Ветер играл волнами, море бесконечно повторяло свою песню. Пело ее на грубом кельтском наречии, непонятном ему.

И все же он услышал ответ. Заговорило сердце. Но не чувство в нем было. Боль. И Ярослав, поднявшись, понял, что его надламывает не душевная слабость. Тревога — это признак болезни, жертвой которой он становится.

В памяти всплыл надгробный памятник Шатобриану на островке Гран Бе, грозный, гордый, одинокий, и море, которое билось о скалы.

Ярослав ожидал, что в Париже быстро расцветет весна, но и в городе стояли ненастные дни, шел холодный дождь, ночные туманы проникали в дома.

Катрин Неделлек встретила его, стораая от любопытства — что нового в Бретани? — но и она испугалась его вида:

— Это все проклятый соqueluche*, как у нас говорят, — астма. Вам нужно побыть в тепле и пить лекарственный чай. Видите, вы

* Коклюш (франц.).

кашляете... Ложитесь, отдохайте, я никого к вам не пушу. Знаю, если только кто придет из Чехии...

Но Ярославу казалось, что в Бретани он все же окреп. Он чувствовал, что избавился от грусти, и преодолевал головные боли, говорил себе, что с помощью внутреннего спокойствия победит все слабости. Хотел работать и начал набрасывать женские фигуры; это было как если бы он вспоминал, видел их перед собой, беседовал с ними, утешал.

Усталый, по вечерам быстро засыпал. Но просыпался прежде времени и потом уж не мог больше заснуть, казался себе больным и старым, с трудом ходил по комнате, долго смотрел в окно на цветную изморось вокруг газовых ламп, садился и перебирал свои наброски и этюды. Он уже не упрекал Иполиту за свое одиночество, а рассуждал о том, что его жизнь, вероятно, сложилась бы иначе, если б он шел, скажем, путем Пинкаса. Прежде всего, он поехал бы в Черногорию раньше и пробыл бы там дольше, снова вернулся бы туда... И в Далмации все было бы иначе: он больше бы жил с людьми, которых рисовал, может, не был бы так счастлив, как рядом с Иполитой, но как художник стал бы более близким тому миру. Иполита ценила его любовь к собственному народу, сама говорила, что это его доспехи; но из-за нее он старался сблизиться с французским искусством, — наверно, опасно перенимать чужую культуру, вероятно, те, кому казалось, что его картины становятся холоднее и утрачивают естественность, были правы, он и сам готов был это признать, окидывая взглядом уже созданное.

Иной раз ночью он начинал так кашлять, что Катрин просыпалась и приходила спросить, не нужно ли ему чего.

— У вас что-нибудь болит?

— Ничего особенного. Немного болит в груди — и спина...

Он взял стеклянную палочку, недавно принесенную ему доктором Комменжем как новое изобретение, и сунул ее под мышку.

Красный столбик поднялся до цифры 38.

— Это означает что-то плохое? — спросила Катрин, принеся ему чашку чая с медом.

— Лучше не обращать внимания.

Утром он обычно чувствовал себя более сносно. Фигуры на холсте призывали его к работе.

Прага ждет. Первая картина для Праги.

Но когда однажды он передвигал скамеечку, чтобы встать на нее и лучше натянуть холст вверху рамы, у него закружилась голова, он как бы на мгновение потерял сознание, упал на пол и сдернул ослабленный холст на себя. С минуту он лежал. Придя в себя, высвободился и дотоптался до постели. Позвонил Катрин.

— Кажется, без доктора не обойтись. Но я знаю, что это. Плеврит. Впускайте ко мне всех, кто придет. Сегодня я больше работать

не буду. Новое полотно одолело меня. Эта картина меня ненавидит. Она словно не желает быть написанной.

Доктор Комменж был старый практик, но он не придавал болезни Чермака большого значения.

— Вы только воображаете себя больным. Не станете же вы меня учить, что такое сердце.

— Я знаю эти признаки по своим братьям, господин доктор. Они умирали в том же возрасте. У нас это называлось перикардитом.

— Чтобы вас успокоить, я приглашу специалистов, хотите? Скажем, докторов Сэ и Бальдона. Но я рискую заслужить их насмешки. Скажем, на вторник, хорошо?

Двадцать второго апреля был понедельник. Его навестили друзья Залемфельс, Буаденемерц и Эмиль Пико, профессор кафедры восточных языков, который часто вел за него переговоры с Гупилем. Ярослав успокоился и ждал еще визита капитана Тори.

— Я слышал, вам пришлось убеждать доктора, что вы больны, — пришел тот в веселом настроении.

— Болен? Но ведь я же умираю, друзья, — спокойно сказал Ярослав.

— Да вздор. Вы составили завещание, тем самым, полагаю, эти мрачные приготовления закончились...

— Завещание я написал еще в конце февраля. Оно у нотариуса. Там все касательно картин, эскизов, предметов, представляющих художественную ценность. Прошу вас, не допускайте продажи с аукциона. Для наследников от этого никакой особой выгоды не будет, а мои личные чувства были бы оскорблены, меня пугает реклама подобного рода...

— Бог мой, о чем вы говорите?

— Выслушайте меня внимательно и, пожалуйста, запишите, о чем я вас прошу... Портрет моей матери, который висит надо мной, отдайте моему брату в Вене. У сестры портрет матери есть, но она могла бы взять вот эту картину, «Слепой гуслир с дочерью», я работал над ней с любовью. Правда, Гупиль взял ее на комиссию и уже дал мне семь тысяч франков, сестре придется их выплатить... Написали?

— Написал, — сердито ответил Тори.

— Пожалуйста, передайте госпоже Галле вот этот эскиз, с заготовленным посвящением для нее, и другой эскиз, с датой известной годовщины, думаю, он даже не подписан... Запомните?

— Я записал.

— Этот гуситский щит я завещаю Пражскому музею. Остальные наброски и этюды распределите с господином Залемфельсом между членами моей семьи, моими друзьями и не забудьте, пожалуйста, о роскофских товарищах. Ничего не стоящие вещи уничтожьте, их тут хватает. Обождите, вы должны также сжечь бумаги и письма.

Там, в правом ящике письменного стола, есть конверт, на котором написано: «Уничтожить не читая после моей смерти». Нашли?

— Послушайте, может, кончим?.. Это слишком грустная игра.

— Я собирался написать портрет доктора Комменжа. Если не смогу этого сделать, скажите моим наследникам, чтобы они выплатили ему примерно пятьсот франков гонорара за лечение, раз я не смог заплатить ему как друг.

— Это все?

— Нет, еще Катрин. Сделайте расчет в соответствии с записями в ее тетради. И добавьте ценные бумаги, которые найдутся, сверх того, что я отказал ей в завещании...

— Ну, с меня довольно, — стукнул Тори о стол записной книжкой, в которой делал пометки. — Никогда не предполагал, что вы такой пессимист. Не пора ли подумать о чем-нибудь другом? Катрин вам не говорила, что тут была госпожа Галле, спрашивала о вас?

Это было имя из другой жизни, из жизни радостей и забот, уже запретных для него.

— Что она хотела? — тихо спросил Ярослав.

— Навестить вас. Возможно, ухаживать за вами...

— Но я приказал Катрин...

— Да. Она ей все объяснила. Не пустила к вам.

— Хорошо. Я уже ничего не хочу, — сказал Ярослав.

— Надо хотеть того, что могло бы принести вам пользу.

Во вторник утром капитан Тори застал Ярослава в хорошем настроении, он пожелал выпить немного вина.

— Я рад, что вы следуете моему совету, — похвалил его Тори.

Но вдруг Ярослав побледнел. Схватился за грудь, запрокинул голову, стал корчиться от боли.

— Вы себе не представляете, как я страдаю, — вздыхал он. — Прошу вас, помогите избавиться от этих мучений... Будто кто-то топчет ногами мне грудь. Друг мой, я испытываю ужасные боли, спасите меня, застрелите меня, я буду вам благодарен...

В этот момент явились два врача, приглашенные на консилиум. Они выслушали больного, очень обеспокоились его состоянием и сожалели, что не был сделан химический анализ. Ярослав пытался им отвечать, хотел приподняться на локтях, но тут же упал навзничь.

— Я не думал, — стонал он, — что дело зашло уже так далеко... Это конец, прощайте, все мои друзья, прощайте, я мучаюсь, убейте меня, убейте меня, ради бога...

Агония длилась минут двадцать. Он умер на руках своего друга Тори.

В этот момент в дверь позвонил доктор Комменж.

Оба врача уходили.

— Конец, — сказали они Комменжу.

— Как так — конец? — изумился он.

— Ваш пациент только что умер.

— Вы шутите...

Не оставалось ничего иного, как составить протокол: по свидетельству врачей, смерть наступила от нарушения кровообращения и тромба в сердце.

— Он просил меня, чтоб его три дня оставили на кровати, — сказал доктору Тори. — Боялся, как бы его не похоронили заживо.

— Этого он может уже не опасаться, — вздохнул Комменж.

— А мне он вчера сказал, — плакала в углу Катрин, — что его похоронят в Париже, но потом наверняка перевезут на родину...

Над покойным воцарилась тишина. Катрин неслышно ходила среди осиротевших картин, а Тори исполнял желание Ярослава — жег письма.

Вечером перед домом остановился экипаж. Вышла Иполита, одетая в черное, и позвонила в дверь. На пороге появился Тори.

— Что вам угодно, мадам?

— Это правда? — вздохнула она, ее глаза были полны слез.

— К сожалению.

— Я должна его видеть.

— Он этого не хотел, — устремил на нее Тори холодный взгляд.

— Разве я не имею права хотя бы проститься с ним?..

— Вы это сделали уже давно.

Он остался непреклонен. Но, увидев, что, уходя, она пошатнулась, поддержал ее и довел до кареты.

ЭПИЛОГ

На следующий день приехал Ежи Чарторыский, чтобы организовать похороны и передать в печать извещение о смерти. Он позволил молодому художнику Габриелю Жаку в последний раз нарисовать лицо Чермака, покойно лежавшего между венским портретом матери, любовно глядящей на него, и начатой картиной.

Французские газеты и английская «Таймс» опубликовали сообщения о его смерти.

В передней квартиры, куда уже не могла войти радость, во имя которой был выстроен дом, 26 апреля в полдень установили катафалк. Окна дома были занавешены черным. Цинковый гроб с инициалами покойного тонул в венках и цветах. Графиня Кюфштейн, жена австрийского посланника, прислала венок из белой сирени и почных фиалок. Австро-венгерское благотворительное общество, членом которого состоял Чермак, сделало прощальную надпись па бело-красной ленте; остальные ленты были черно-желтые.

Толпа провожающих шла за гробом до храма Сен-Франсуа-де-Саль на улице Бремонтье, откуда двинулся траурный кортеж. Среди нескольких сот людей были художники Кабанель, Жером, Детай, Робер-Флёри, Нёвиль, Бонна, из членов австро-венгерской делегации, прибывшей на выставку, пришли Мункачи, Коромпай, Костапобл, Шморанц и Гинайс. Во время церемонии в храме появился Александр Дюма. От имени князя Николы в похоронах принял участие майор Радович. Парижские художники отдали долг памяти Чермака, картины которого как раз развешивались в Салоне, венком с надписью: «Нашему другу и коллеге».

Затем катафалк тронулся, следом все шли пешком. Погода была пасмурная, но Париж с нетерпением ждал открытия выставки, и отовсюду доносились музыка и смех. Полтора часа шли на кладбище Пер-Лашез чиновники посольства, окружной начальник Залемфельс, художники — в общем, человек сто двадцать.

На Пер-Лашез с Ярославом Чермаком простился посланник Кюфштейн, от благотворительного общества — его председатель Блумфельд, по-чешски произнес речь писатель Эмануэль Боздех.

На свежем могильном холме остался венок «Художественного клуба» из Праги и «Национального клуба» из Парижа. Последний букет положил туда старый черногорец, иногда служивший Чермаку натурщиком при завершении картин.

Спустя день после похорон капитан Тори вручил австро-венгерскому генеральному консульству в Париже письмо с последними распоряжениями Ярослава Чермака.

Судья Пуайе распорядился вскрыть его завещание. Те, кто присутствовал на этой формальности, были свидетелями того, как живо звучал в завещании голос Чермака, окидывающего взглядом свою жизнь.

«Такова моя последняя воля: я завещаю все, за исключением нескольких уже завещанных вещей, моему брату Карелу и моим племянникам Вилему и Павлу, сыновьям моего умершего брата Йозефа, в равных долях... Если мой брат Карел умрет, завещаю причитающуюся ему долю его вдове.

Список завещанных вещей и реституций:

1. Тысячу франков — Лиге преподавателей, членом которой я являюсь.
2. Тысячу — Морскому спасательному обществу.
3. Тысячу — «Художественному клубу» в Праге.
4. Тысячу — австро-венгерскому благотворительному обществу в Париже.
5. Десять тысяч — Катрин Неделлек из Сен-Поль-де-Леон за хорошую и верную службу.

6. Десять тысяч — госпоже Иполите Галле, 26, ул. Монтень, дабы она поступила с ними так, как мы договорились. Если она умрет раньше меня, ее наследникам эту часть не вручать.

7. Пятнадцать тысяч — вернуть моей сестре или ее детям; пятнадцать тысяч — моей невестке Марии, урожденной де Ламиль, вместе с благодарностью за то, что они одолжили эти деньги для строительства моего небольшого дома.

Прошу моего доброго друга Теодора Залемфельса позаботиться об исполнении моей последней воли, разделить между моими друзьями все наброски и картины, которые находятся в моем ателье, и отдать своей семье все, что ей может доставить радость.

Составлено 23.2.1878».

Произведения Ярослава Чермака тем временем были удостоены в Салоне награды. А в «Журналь де Деба» писалось:

«С большим волнением видим мы на выставке две наиболее выдающиеся картины Чермака, который ушел от нас в полной силе своего большого и оригинального таланта. Эти две картины, «Раненый черногорец» и «Босния 1877 года», ставят Чермака в ряды величайших современных художников».

В конце июня господин Залемфельс пригласил в опустевшее ателье на скромную тризну человек тридцать близких Чермаку людей. Тем временем почти все оставшиеся картины и эскизы были уже поделены. «Художественный клуб» получил «Прибытие Прокопа Голого в Базель», рисунок с изображением дервиша достался Пинкасу, кое-что из этюдов взяли себе Тори, Буаденемей, Залемфельсы. Большинство вещей отправилось в Вайнхауз к Чарторыским, к Карелу в Вену и в Лейпциг к вдове Яна. Начатый картон с рисунком углем был послан «Обществу друзей патриотического искусства» в Прагу.

Михай Зичи устроил в память Чермака вечер венгерских художников в Париже и, когда «Художественный клуб» поблагодарил его за этот дружеский акт, ответил:

«Ведь художники во все времена были пионерами больших, прогрессивных мыслей и общечеловеческих чувств. Мысли в искусстве свободны от любых оков, навязанных законом и традицией. Моя ученица Мари вышила для венка русскую надпись, мои дочери — надписи на венок от венгерских художников».

«Художественный клуб» в Праге также устроил вечер памяти Чермака, на котором с речью выступил д-р Мирослав Тырш. Прежде всего он подчеркнул, что Чермак как человек и художник был создан из одного металла, а закончил тем, что славянским женщинам и девушкам следовало бы ежегодно класть на его преждевременную могилу самый прекрасный венок.

Генеральное консульство тем временем составляло список оставшихся после покойного вещей.

Мировой посредник из Сен-Поля опечатал недостроенный домик в Роскофе. На аукционе в августе приняли участие почти одни друзья Чермака и покупали его вещи не столько из-за их ценности, сколько в память о нем. Продана была лодка с якорем, веслами, парусами, мачтой, костюм Буатона — все, что было здесь связано с любимым Чермаком образом жизни. Кое-что купил Фаллак, кое-что — Буке, новый домик — морской офицер Летурнер за 11 085 франков. Среди книг наплась ветеринарная хирургия Бюжера, поваренная книга, славянское право, карты, славянская Библия, сербская грамматика, романы Золя и Корбьера. Парижский аукцион был все же проведен. Он состоялся в отеле Друз: охотничье ружье пошло за 325 франков, черногорский пистолет — за 220, турецкий ятаган — за 180. Чистая прибыль с аукциона в Париже составила 9416 франков, в Роскофе — 1579 франков. Парижский дом был продан за 59 тысяч франков. Иполита от наследства отказалась, доктор Комменж, напротив, угрожал судом, но затем скостил долг с 2 тысяч до 1200 франков. Похоронные, нотариальные расходы, а также налоги с наследства были высоки, но в конце концов оно составило чистыми деньгами 164 848 франков.

Тем временем Пинкас вел переговоры с наследниками о погребении в Праге. В результате пришли к согласию, что перевозку останков в Прагу оплатит семья, сообщение о похоронах напечатают по-чешски и по-французски, тогда как расходы по похоронам, которые будут носить общенациональный характер, возьмет на себя «Художественный клуб», надпись же на надгробном камне будет сделана только по-чешски.

Похороны состоялись в Праге 7 июля 1878 года.

Поскольку д-р Мирослав Тырш в это время был болен, речь над могилой поручено было произнести д-ру Отакару Гостинскому. Черновик ее он должен был показать полицейскому управлению. Речь звучала так:

«Мы приветствовали тебя, прославленный Мэтр, чтобы проститься с тобой навсегда. Не будут комья земли далекой чужбины, пусть гостеприимной и дружеской, давить на твою грудь — ведь ты возвращаешься в любящие объятия родной страны, из недр которой вышел... к которой страстно влекла тебя твоя верная память посредника широкого потока мировой художественной жизни. Ты будешь спать рядом с милыми и дорогими тебе людьми и в обители смерти вернешься к давним мечтам своей ранней молодости... Твоя жизнь была посвящена царству идеалов, в преддверие которого ты вступил через золотые врата искусства, в святыню коего вошел теперь через темные врата смерти. Ниспошли нам из этого царства луч своего гения, научи нас объединять пламенную любовь к одному народу

и к одной родине с увлеченностью идеалами, перед которыми преклоняется весь мир, научи нас завоевывать мир благородным оружием духа, красоты и правды, научи нас быть струной, звучащей в лад с той великой звонкой королевской арфой, имя которой — человечество... Твои художественные шедевры могут служить образцом лишь тем избранным, в душе которых вспыхнула божественная искра творчества. Но твой спокойный, ясный ум, твоя благородная рассудительность, твоя искренняя любовь к народу и к Родине могут служить примером для всех нас!»

Полиция опасалась, как бы траурная церемония не превратилась в национальную манифестацию, и запретила произносить эту речь, не слишком затрудняя себя аргументами:

«Произнесение этой речи... запрещается, поскольку тем самым похоронная процессия превратилась бы в митинг под открытым небом, вследствие чего движение пешеходов и транспорта было бы нарушено, а общественная безопасность оказалась бы под угрозой».

Но Прага не позволила лишиться себя права воздать почести великому сыну чешской земли. В послеобеденный час жители всех округов стали стекаться в Тынский храм, где на высоком катафалке среди горящих свечей был выставлен покрытый черным бархатом гроб. На ступенях возле храма громоздились венки с лентами национальных цветов Чехии.

Общества и корпорации приходили со знаменами, обернутыми черным флером. В четыре часа вышеградский пробст и проповедник славянской общности Вацлав Штульц приступил к свершению обряда. Объединенные пражские хоровые кружки исполняли траурные хоры Бендла.

Люди знали, что означал Ярослав Чермак для борьбы Черногории. Они считали его картины последним предупреждением делегатам европейских держав, решавшим в Берлине вопрос южнославянских земель. Поэтому спрашивали, вспомнила ли о нем Черногория. Как в Париже, так и в Праге от князя Николы должен был присутствовать на похоронах воевода Станко Радович. Однако тот не мог отложить переговоры, и потому из Цетине в адрес Пинкаса пришла депеша:

«С болью вижу, что мой делегат не сможет участвовать в церемонии. Бесконечно сожалею, что серьезные дела лишили Черногорию возможности участвовать в официальных похоронах великого художника, одного из прославленных представителей славянства, бессмертные произведения которого помогли Черногории стать известной и уважаемой во всем мире. Передайте, пожалуйста, мои чувства и будьте уверены, что в воскресенье мы всем сердцем будем с вами. Князь Черногории Никола».

В пять часов процессия вышла из Тынского храма. Во главе ее ехали на лошадях шестнадцать всадников в венгерках и несли на

шестах венки, привезенные с парижских похорон. За конной группой шел студенческий читательский кружок, следом — студенческие корпорации из Праги и Вены, в общем, около восьмисот молодых людей, сто из них несли горящие факелы. Далее шли отряды «соколов» в национальных костюмах; однако некоторым обществам местные власти запретили взять с собой знамена. За ними строем шли физкультурники, прежде всего гребцы, дальше — почетные делегации городов Чехии и Моравии. Тридцать шесть девушек, в белых одеждах и черных вуалях, несли пальмовые и липовые ветви.

Гроб и так называемая «ангельская повозка» были украшены лавровыми венками. По парижскому обычаю кучер вел первого коня упряжки из шести лошадей под уздцы. Покрывало с бахромой на гробе придерживали председатель «Сватобора» д-р Ригер, директор академии Сверте и художники Пинкас и Лгота; к ним присоединился Ян Неруда. По обеим сторонам гроба шли двадцать четыре представителя художественных профессий с горящими свечами, за ними два студента академии несли подушки с орденами Чермака. За родственниками — братом Карелом и Ежи Чаргорыским шла группа членов городской думы, возглавляемая бургомистром Шкрамликом, председатель «Художественного объединения» граф Коуниц, рыцарь Войтех Ланна, профессор, члены «Художественного объединения», посланцы театров и редакций, а затем — бесчисленная толпа людей, пришедших приветствовать Ярослава Чермака на родине и одновременно проститься с ним.

Ни одного из своих художников не провожали доселе чехи в последний путь так торжественно.

Незадолго до похорон скульптор Б. Шнирх вставил в семейный склеп на Ольшанском кладбище доску с надписью по-чешски, дата рождения на которой ошибочно была указана на год позднее.

Когда процессия при свете уличных фонарей дошла до кладбища, вместо запрещенной речи прозвучал хор Звопаржа «Спи с миром».

Мирослав Тырш как раз закончил исследование о Чермаке, когда узнал о его неожиданной смерти.

Он задумался над тем, как схожи творческий и человеческий облик покойного, и в качестве эпитафии выбрал стихотворные строки:

«Он — благозвучье весь, он весь — порыв.
Муж и творец — из одного металла».

В своей статье он отмечал, что Чермак больше всего любил правду и свободу и потому — в силу родства их борьбы с гуситским прошлым — был привязан именно к черногорцам. Он не создавал на своих полотнах «болезненных адажио», не писал «стихотворений на холсте», не был бездушным колористом, не превратил в самоцель живописную технику, а преданно служил идеям, которые читл. Чер-

мак восхищал Тырша прежде всего тем, что умел полностью уйти в себя и не терпел, чтобы кто-нибудь отрывал его от осуществления задуманной цели. «Тот герой, кто недвижно стоит сосредоточен», — цитировал он из Эмерсона свой любимый принцип. Тырш отмечал также, что благодаря красивой внешности и мужеству художник мог стать кумиром, которого бы боготворили женщины, однако он остался верным своему чувству. Когда «налетела неожиданная буря и светоч угас в полном своем блеске, он упал, как могучая липа, сраженная на вершине горы ударом молнии». Критик видел в Чермаке предвестника нового времени, произведения которого зовут к действию.

Ян Неруда всегда следил за работой Чермака с почтительным вниманием и на его выставках был одним из наиболее квалифицированных зрителей. «Встаньте перед рядом его картин и читайте, о чем рассказывают вам эти главы...» — призывал он посетителей. Однажды он назвал Ярослава «Гомером родственного нам народа». «Своими картинами он озарил сербское национальное чувство... Волшебством своего искусства и мастерским рассказом в красках он снискал симпатии народу, когда тот был особенно одинок». Неруда ценил в творчестве Чермака прежде всего ясность концепции, исчерпывающе раскрывавшей избранную тему, и способность художника «выразительно показать тип людей, о поступках которых он рассказывает, а следовательно, национальный тип» и его нравственную силу. Он писал, что понимает «чешское общество, для которого имя Ярослава Чермака стало буквально священным». Семь лет назад Неруда сумел угадать в уходящем Йозефе Манесе зарю нового искусства — теперь и для его младшего друга он нашел самые искренние слова.

«Как говорится в той чешской сказке о сыне — странствующем подмастерье? Возвратился с чужбины наш Ярослав и стучится в чешскую, родную землю. Хочет отдохнуть после долголетних странствий. Белый свет, конечно, мог даровать ему посох странника, но гроб должна была дать Отчизна, которая дала ему колыбель».

После смерти Ярослав Чермак не был забыт, но оставался в Чехии столь же мало известен, как прежде. Его имя было окутано романтическим флером. Его произведения знали лишь по нескольким фототипиям «Художественного клуба», по плохим журнальным репродукциям, по исследованию Тырша (которое вышло в «Освете» без иллюстративного материала), позднее — по работе Ф.-К. Гарласа и воспоминаниям Людвика Кубы, отправившегося в места далматинского пребывания Чермака (в 1894 году). В 1891 году на выставке произведений Чермака Прага смогла увидеть не более двадцати работ!

В 1883 году Поль Верлен открыл автора «Желтой любви» и включил его в свой сборник «Проклятые поэты»; он назвал его «бакланом в бурю, который на легу издал крик и исчез в тумане».

В 1887 году умер Луи Галле.

В том же году на доме семьи Чермаков была установлена мемориальная доска со скульптурой, выполненной Йозефом Маудером.

В 1890 году госпожа Иполита Галле прислала городу Праге из Аркашена, где она в ту пору жила, собрание из двадцати четырех акварелей, которые получила в течение жизни к дням своего рождения и рождеству, в качестве дара городу Праге с очень хорошим письмом:

«Я по происхождению француженка, сердцем — славянка... Не могу выразить, как обливается кровью мое сердце, когда я прощаюсь со всеми этими памятными вещами, каждая из которых — страница моей жизни. Но я по крайней мере буду знать, что они избегнут любых прискорбных случайностей и всегда будут храниться на дороге ему родине». Иполита, после бесконечных болезней ослепшая, умерла в 1905 году. Ее дочери Марии уже давно не было в живых: она покончила самоубийством вскоре после смерти Чермака. Амалия Бюшерон поняла, где истинная родина искусства Чермака, и подарила Праге еще двадцать четыре картины. Благодаря этому Чермак в конце концов мог быть достойно представлен в Национальной галерее, где появились картины, доныне неизвестные.

Тем не менее должно было пройти пятьдесят долгих лет со дня его смерти, прежде чем о его наследии позаботился д-р Вратислав Черный, посвятивший Чермаку многие годы и добившийся успеха в двух вещах: в 1928 году он организовал юбилейную выставку художника и в честь столетия со дня его рождения выпустил в 1930 году серьезную монографию. Еще в молодости Черный приобрел к творчеству Чермака и в его памяти глубоко запечатлелись слова Людвика Кубы: «Чермак, который всегда был таким искренне чешским и восторженно славянским, который так много дал нам и ничего не получил взамен, заслуживает хорошего биографа и критика уже в силу своей глубины, нежности и страстности, в чем он по сей день не имеет соперника среди чешских мастеров». Он записал и изречение Франтишка Таборского: «История Чермака будет одной из интереснейших глав современной истории чешского искусства: окно в большой мир из тогдашних жалких условий».

Д-р Вратислав Черный объединился в своем благородном стремлении с художником Ф.-В. Мокрым и д-ром В. Напрстеком. Материала было очень мало: начинали с нескольких картинок, вырезанных из журналов, с нескольких фототипий — премий «Клуба» и с того, что некогда привез из Парижа от Гупиля отец В. Черного. Они разыскивали людей, которые могли бы еще что-нибудь сообщить о жизни или творчестве Чермака. Очевидцев оставалось мало, и ни-

кто не знал, куда делись картины. Родственники, онемечившиеся потомки братьев Ярослава в Инсбруке, Вене и Хогенпфеле, также большую часть картин продали. В 1913 году д-р Вратислав Черный во время посещения князя Николы видел портреты княжеской семьи; в период первой мировой войны они пропали. Черный попытался разыскать владельцев разных картин по каталогам парижских Салонов с 1853 по 1877 год; однако зачастую поиски шли по ложному следу и не приводили к цели. Портрет полковника Буадене-меца он нашел, выяснив, кому из родственников военное министерство выплачивает за него пенсию. Семью Залемфельсов он обнаружил по записям Тырша. В Роскофе узнал, что у людей там есть копии картин, сделанные самим Чермаком, с посвящением по-чешски, но из нескольких больших и многочисленных мелких рыболовных натюрмортов удалось приобрести только один. Являлись к нему и владельцы подделок, по которым, скажем, уже были выпущены открытки. Но, сравнивая их с оригиналами в галереях или с гравюрами Гупиля, он обнаруживал, что это фальшивка. Благодаря его неутомимой активной деятельности оригиналы Чермака мало-помалу перекочевывали из Вены, Петербурга, Триеста или Лиссабона в руки чешских коллекционеров. В приобретении «Боснии 1877», «Зеркала» и наумбургской сцены большая заслуга принадлежит президенту Т.-Г. Масарику. А Вратислав Черный был первым чехом, видевшим неизвестные или уже забытые картины Чермака. У Залемфельсов он, к своему удивлению, обнаружил восемнадцать картин и сто рисунков. Эм. Сиблик чуть позже выискал альбом рисунков в семье Беллем. Вратиславу Черному удалось найти и часть переписки между пани Чермаковой и Пинкасом, однако восстановить из пепла письма Ярослава и Иполиты он не мог.

Благодаря титаническим усилиям д-ра Вратислава Черного в Праге неожиданно оказалось множество картин. Вскрытие каждого ящика, присланного из Брюсселя, Утрехта, Загреба, сопровождалось возгласами восторга. Некоторые ящики из-за их огромных размеров приходилось вскрывать на улице и лишь после этого вносить картину в здание. Это происходило в присутствии таможенных служащих, и они разделяли восторг устроителей выставки.

На юбилейной выставке 1928 года было собрано уже 367 произведений. Открыл ее Виктор Дык, с приветствием выступил югославский посол, а основную речь произнес В. Рабас: «Мы хотим поклониться творчеству, которое, несмотря на то, что оно родилось, росло и зрело на далекой чужбине, самым тесным образом связано с родиной своего творца... Можно смело сказать, что Ярослав Чермак был первым современным чешским художником... Он не утонул в море блистательной западной культуры, а оставался пламенным, искренним, мужественным и нежным, благородным чешским художником, верным себе и своим соотечественникам до самого конца!»

Позже, в 1930 году, вышла запланированная монография, в которой была дана первая общая оценка творчества Чермака, а также содержалось сообщение о результатах поездок д-ра Вратислава Черного. Он нашел еще много людей на чужбине, которые знали Чермака: в Жупе — Кате Грбич, в Роскофе — Виржини Мироне.

В ноябре того же года новый дом, выстроенный на месте снесенного дома Чермака на авеню Ваграм в Париже, был украшен мемориальной доской из сливенецкого мрамора, выполненной Франтишком Вилеком.

Я попал на след Ярослава Чермака значительно позже, но все время чувствовал, что для понимания Чехии XIX века необходимо напомнить о его судьбе, полярно противоположной судьбе Йозефа Манеса. Я хотел написать книгу, опираясь на как можно более точные сведения. Однако таковые отсутствуют, и я тщетно искал их у нас и во Франции. Вряд ли есть надежда, что найдется еще что-либо. Чтобы иметь возможность осветить фигуру Ярослава Чермака и сделать его более близким читателям, мне пришлось выбрать литературную форму, приближающуюся к роману.

Я был бы рад, если бы перестали быть справедливыми слова, которыми охарактеризовал в своем эссе судьбу человека и художника Ярослава Чермака художник Милош Иранек: «...художник знаменитый и неизвестный одновременно».

Стр. 3

Всего четыре года назад на этих улицах клубился дым пожаров... Речь идет о Пражском восстании, вспыхнувшем 12 июня 1848 г. и жестоко подавленном австрийским генералом Виндишгрецом, который подверг чешскую столицу артиллерийскому обстрелу. Восстанием, в котором наиболее активное участие приняли студенты и рабочие, руководили чешские радикальные демократы, в том числе молодые литераторы Йозеф Фрич и Карел Сабина.

...со времен новых законов Баха... Имеются в виду подготовленные австрийским министром внутренних дел в 1849—1859 гг. Александром Бахом и изданные в 1851 г. законы, которые были направлены на укрепление абсолютизма и подавление прогрессивных сил.

Граждане район, примыкающий к пражскому Граду (кремлю).

Вам не так повезло, как бельгийцам. По решению Венского конгресса 1815 г. Бельгия была объединена с Голландией в одно королевство, но в результате революции 1830 г. добилась самостоятельности.

Клементинум комплекс зданий бывшей иезуитской коллегии в Праге; с 1622 г. здесь находились теологический и философский факультеты Пражского университета; с 1777 г. — общедоступная университетская библиотека.

Мостецкая башня одна из двух башен, охраняющих каменный Карлов мост через Влтаву в Праге; заложен в 1357 г. при короле и императоре Карле IV и достроен в начале XV в. при его сыне Вацлаве IV. Над воротами Староместской, правобережной башни изображен зимородок — символ Вацлава IV.

Стр. 4

«Стрелковая гильдия прощается с отрубленными головами Эгмонта и Горна». 5 июля 1568 г. по указанию испанского наместника Нидерландов герцога Альбы были казнены руководители антииспанской дворянской оппозиции в начале Нидерландской буржуазной революции граф Ламораль Эгмонт и адмирал, штатгальтер провинции Гельдерн и Зютфен — Филипп де Монморанси Горн.

«Общество чешских художников» (1848—1856) патриотическое художественное объединение, созданное при участии Й. Манеса и Я. Чермака.

...прибытие гуситских гетманов на Базельский собор... Чешское посольство во главе с гетманом Прокопом Великим прибыло на Базельский католический собор в январе 1433 г. и в течение трех месяцев в дискуссии с отцами церкви защищало принципы гусизма, сформулированные в 1419 г. в так называемых Четырех Пражских статьях (свобода религиозной проповеди; причащение не только духовенства, но и мирян хлебом и вином из чаши; осуждение богатства церкви и требование секуляризации церковно-монастырских владений; введение наказаний за «смертные грехи» и для духовных лиц). Хотя стороны не пришли тогда к соглашению, сам факт свободной дискуссии с высшим католическим клиром был большим успехом чешского антифеодалного и патриотического гуситского движения.

...шагер Пршемысла Отакара II в канун битвы на Моравском поле. Моравское поле (Мархфельд) — равнина в северо-восточной Австрии, при впадении реки Моравы в Дунай. Здесь 26 августа 1278 г. чешский король Пршемысл Отакар II пал в битве с германским императором Рудольфом Габсбургским. На картине Чермака «Пршемысл Отакар II перед битвой на Моравском поле» запечатлен исторический эпизод, о котором рассказывают Ф. Палацкий в своей «Истории чешского народа» (см. примеч. к с. 32) и чешский поэт Я.-Э. Воцел (1803—1871) в эпическом цикле «Пршемысловичи» (1839).

Стр. 5

Во тот угловой дом Жижка, захватив Прагу, приказал пощадить. Во второй половине октября — начале ноября 1419 г. на улицах Праги развернулась вооруженная борьба между королевскими войсками и гуситами во главе с Яном Жижкой, одержавшим 4 ноября 1419 г. решительную победу и занявшим город. Овладев Прагой, гуситы жгли дома немецких патрициев, громили церкви и монастыри.

Стр. 6

...видели в фарсе *Нестроя акробата Клишнингга*... Имеется в виду фарс И.-Н. Нестроя «Обезьяна и жених» (1836). Исполнителем роли обезьяны в первой постановке был Карл Клишнингг.

Шарка живописная долина в окрестностях Праги; излюбленное место прогулок жителей чешской столицы.

Стр. 7

Наверное, от отца матери. Он основал в Праге первую картинную галерею. Отец Йозефы Чермаковой, Игнац Веселы, видный меценат, был одним из основателей и членом руководящего комитета Общества патриотических друзей искусства, возникшего в 1796 г.

Стр. 8

Карлов мост см. примеч. к с. 3.

Нашим предкам тоже приходилось смотреть на отрубленные головы собственных вождей... 21 июля 1621 г. на Староместской площади в Праге были казнены двадцать семь предводителей восстания чешских феодалов-протестантов против германского императора Фердинанда II Габсбурга.

«Прокоп Голый в Базеле» см. примеч. к с. 4.

Стр. 9

Лорета барочная часовня в Праге, копия «святого дома» (то есть хижины девы Марии и святого Иосифа, якобы перенесенной из Назарета ангелами) в итальянском городе Лорета; принадлежала монастырю капуцинов.

«Согласие» чешская национальная гвардия, созданная 18 марта 1848 г.; после подавления Пражского восстания в июне 1848 г. распущена.

«Народни новины» первая чешская ежедневная газета; основана К. Гавличек-Боровским; выходила с 5 апреля 1848 г. по 19 января 1850 г., когда была запрещена.

Стр. 10

Славянский съезд съезд представителей славянских народов Габсбургской империи, проходивший в Праге с 2 по 12 июня 1848 г.; в обращении к народам

Европы, принятом на съезде, защищалась идея национального равноправия, однако буржуазно-либеральное большинство съезда поддерживало выдвинутую Франтишекком Палацким программу австрославизма, предусматривавшую сохранение многонациональной австрийской монархии.

Кромержижский сейм австрийский имперский парламент, заседания которого проходили в чешском городе Кромержиж; был распущен 7 марта 1849 г.

Стр. 11

...обнаружил в Лешно утраченные чешские рукописи Коменского. Великий чешский просветитель Ян Амос Коменский, вынужденный в период ожесточенных гонений против протестантов покинуть Чехию, поселился в польском городке Лешно, где жил с перерывами с 1628 по 1656 г.; Коменский писал свои сочинения как на латинском, так и на чешском языке.

...похоронить себя заживо. Парафраз названия раздела «О времени заживо погребенных» в поэтическом сборнике Я. Неруды «Книга стихов» (1867).

Пинакотейка. Старая Пинакотейка, известная мюнхенская галерея живописи, построенная в 1826—1836 гг.

Стр. 13

«Отречение Карла V». В 1556 г. император Священной Римской империи Карл V из династии Габсбургов отрекся от императорского престола, передав корону своему брату Фердинанду I, а власть над Нидерландами, Испанией и Неаполем — своему сыну Филиппу II.

Стр. 14

...Людвика, павшего в битве у Мохача... Чешский и венгерский король из династии Ягеллонов. Людвик II пал в 1526 г. в битве с турками близ венгерского города Мохач.

Стр. 15

«Богемия» пражская газета, выходившая на немецком языке с 1827 по 1938 г.

...«тянет дымом памятного костра»... то есть костра, на котором 6 июля 1415 г. в швейцарском городе Констанце был сожжен Ян Гус.

Стр. 18

«Иллюстрасьон» (1823—1944) парижский иллюстрированный еженедельник.

Стр. 19

«Коронация Балдуина в Царьграде». Граф Балдуин IX Фландрский 16 мая 1204 г. в Константинополе, в храме Святой Софии, был провозглашен крестоносцами императором, чем было положено начало так называемой Латинской империи.

Стр. 20

...типы из «Богемы» Мюрже... Имеется в виду книга А. Мюрже «Сцепы из жизни богемы» (1851).

В 1848 году здесь тоже шла борьба, и победившие в феврале были уничтожены в июне как враги государства. В результате революции 22—24 февраля 1848 г., осуществленной радикальными демократами и рабочими, во

Франции была установлена республика; во время подавления восстания парижского пролетариата 23—26 июня 1848 г. погибло более 11 тысяч его участников; 25 тысяч рабочих было арестовано.

Стр. 25

«*Мушкетер*» журнал, который А. Дюма-отец начал издавать в 1855 г. «*Империя — это мир*» крылатая фраза из речи Луи Наполеона в Бордо в октябре 1852 г.

Стр. 27

...*после битвы на Белой горе...* 8 ноября 1620 г. в битве на Белой горе под Прагой потерпели поражение чешские феодалы-протестанты, восставшие против германского императора Фердинанда II Габсбурга. С этого момента Чехия утратила государственную независимость и превратилась в одну из земель австрийской короны.

Стр. 30

...*советы молодым Лафатера.* Очевидно, глава XVII из книги швейцарского писателя И.-К. Лафатера «Натанаэль» (1786).

Стр. 32

...*перечитывал «Историю» Палацкого...* Имеется в виду многотомная «История чешского народа в Чехии и в Моравии» (1836—1876) Ф. Палацкого, проникнутая патриотическим пафосом и содержащая прогрессивную концепцию чешской истории.

Стр. 33

Салон первоначально официальные периодические выставки современных художников, устраивавшиеся во Франции с 1667 по 1848 г. в Лувре.

Стр. 42

«*Диана де Лис*» премьера 15 ноября 1853 г.

Стр. 46

«*Шотек*» сатирический журнал, который К. Гавличек-Боровский издавал с января по апрель 1849 г. в качестве приложения к газете «Народни новины».

...*как выволить Гавличека из бриксенского изгнания.* В ночь на 16 декабря 1851 г. К. Гавличек-Боровский был арестован и депортирован в тирольский городок Бриксен, где прожил в ссылке до начала 1855 г.

Стр. 47

...*после ареста мужа пани Божена приходила к ней и читала рукопись «Бабушки»...* Муж Божены Немцовой, Йозеф Немец, за свою деятельность в 1848 г. был в 1853—1855 гг. под следствием. «Бабушка» (1855) — повесть Б. Немцовой, одно из самых выдающихся произведений чешской прозы XIX века.

...*висел на Жоффине...* Жоффин, или Славянский остров, — остров на Влтаве, в центре Праги. Здесь находится здание ресторана, в котором в XIX в. устраивались чешские патриотические балы, концерты, выставки.

Стр. 48

...*за шведов... мне что-то не хочется братья.* В период Тридцатилетней войны (1618—1648) шведские войска неоднократно вторгались на территорию

Чехии, а в 1648 г. даже осаждали Прагу и захватили ее районы на левом берегу Влтавы — Малую Страну и Градчаны. Чешские земли шведы окончательно покинули лишь в 1650 г.

Стр. 49

Табориты представители левого, радикального крыла в гуситском движении.

...трактирица показывала своим детям в зеркальце их лица. Речь идет о картине «Зеркало» (1862).

Стр. 56

Четыре дня и четыре ночи реакция жстила тем, кто весной хотел спасти Европу. См. примеч. к с. 20.

...вернулся к мальчишеским клятвам на Воробьевых горах... Как вспоминает А. И. Герцен в книге «Былое и думы», в 1827 г. он и Н. П. Огарев поклялись на Воробьевых горах в Москве пожертвовать жизнью ради осуществления декабристских идеалов.

Стр. 62

Ярослав открыл сборник Мартиновского... Я.-П. Мартиновский создал музыкальные обработки народных песен (около шестисот), собранных К.-Я. Эрбеном, и написал к ним аккомпанемент; всего вышло шесть выпусков; первый выпуск — в 1844—1845 гг. в Праге.

«Ратоборцы в божьем стане...» боевая песня таборитов; едва слышав ее, участники крестовых походов против гуситов передко бежали с поля брани.

Стр. 70

...стихотворение, в котором Гюго насмешливо назвал правителя, обманувшего народ, Наполеоном Малым. В книге В. Гюго «Возмездие» (1853) этот мотив присутствует в ряде стихотворений («О пассивном повиновении», 13 января 1853 г.; «Желающему ускользнуть», январь 1853 г.; «Песенка», сентябрь 1853 г.)

Прошло совсем немного лет со времени борьбы за «Эрнани»... «Эрнани» — романтическая драма В. Гюго, поставленная в феврале 1830 г. Шумная премьера ее ознаменовала начало битвы «романтиков» с «классиками», завершившейся торжеством сторонников романтизма.

Стр. 71

«Наполеон Малый» (1852) памфлет В. Гюго.

Мы отпраздновали годовщину польской революции. Имеется в виду польское восстание 1830—1831 гг., начавшееся 29 ноября 1830 г. в Варшаве.

Стр. 76

Господин Осман строит прекрасные районы для тех, кто любит беззаботную жизнь. Префект департамента Сены в 1853—1871 гг. барон Ж.-Э. Осман, руководя перестройкой Парижа, стремился изгнать рабочих из центра города в предместья.

Сказки Османа... и царить будет не Наполеон, а Оффенбах. Контекст диалога заставляет предположить, что Иполита намекает на «Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха, однако это не так, поскольку прославленная опера мастера

парижской оперетты создавалась значительно позднее и была поставлена лишь в 1881 г.

Стр. 84

Моравская Словакия историческая область в Южной Моравии, на границе со Словакией; славится богатством фольклорных традиций.

...«*Марш «Согласия» Сметаны...* Во время революции 1848 г. великий чешский композитор Б. Сметана был участником общества «Согласие» (см. примеч. к с. 9) и написал для него симфонический марш.

Стр. 85

день спустя... 14 января 1858 г.

«*Вильгельм Телль*» (1829) последняя опера Дж. Россини (1792—1868).

...говорилось о ненависти итальянцев к Луи Наполеону, уничтожившему при поддержке папского Рима зародыш национальной свободы. Став после выборов 10 декабря 1848 г. президентом, Луи Наполеон выступил в поддержку светской власти пап, свергнутых в период Римской республики 1848—1849 гг. В июле 1849 г. после осады французы овладели Римом и вернули власть над ним папе.

Стр. 86

...иллюстрации Йозефа к «*Рукописям*»... Имеются в виду так называемые «Краледворская» и «Зеленогорская» рукописи — литературные фальсификаты, созданные В. Ганкой и Йозефом Линдой (1789—1834) и длительное время считавшиеся подлинными памятниками древней чешской литературы. В 1860 году вышли две тетради «Краледворской рукописи» с иллюстрациями Й. Манеса, однако издание было прекращено из-за отсутствия спроса.

Стр. 87

Слышал он и о венгерских виселицах. Речь идет о репрессивных мерах, которые в 1848—1849 гг. венгерское буржуазно-либеральное правительство предпринимало против словацкого национального движения.

«*Чтобы на зов «Славянин!» отклик давал Человек.*» Отрывок элегического дистиха Я. Колара «Ревнитель», опубликованного в его сборнике «Стихотворения» (1821).

«*Люмир*» (1851—1862) прогрессивный чешский литературный журнал, издававшийся Ф.-Б. Миковцем (1826—1862).

Стр. 88

...к известному панслависту... Панславистами австрийские бюрократы и официальные идеологи называли патристически настроенных чешских и словацких общественных и культурных деятелей независимо от их причастности к панславизму как идейно-политическому течению, сторонники которого ратовали за объединение славян под властью русского царя.

Стр. 89

...книгу Фромантена о Сахаре. Имеется в виду книга Э. Фромантена «Лето в Сахаре» (1856).

Стр. 90

Фиуме итальянское название современного югославского портового города Риека.

Ллойд объединение английских компаний, занимающихся страхованием морских судов (возникло в 1700 г.).

черно-желтые взгляды австрийской полиции... Намек на черно-желтый имперский флаг австрийской монархии.

Стр. 94

...во время восстания Штура в Словакии Фрич был ранен... В сентябре 1848 г. Й.-В. Фрич в качестве сотника принял участие в Словацком национальном восстании под руководством Л. Штура.

...после неудавшегося заговора Бакунина... Весной 1849 г. по инициативе и плану М. А. Бакунина чешские радикальные демократы (К. Сабина, К. Сладковский, Й.-В. Фрич и другие) готовили восстание против власти Габсбургов, но были преданы и 10 мая арестованы.

Деж город в современной Румынии, где в 1858—1859 гг. был интернирован Й.-В. Фрич.

Стр. 95

Имени Густава Пфлегера-Моравского он не знал и о его романе в стихах «Пап Вышинский» до сих пор не слышал. Роман в стихах Г. Пфлегера-Моравского «Пап Вышинский» был опубликован в 1858—1859 гг.

Стр. 97

Говорят, Луи Наполеон пишет историю Юлия Цезаря... Написанная Наполеоном III «История Юлия Цезаря» была опубликована в 1865—1866 гг.

А Морни сочиняет пьесы. Герцог де Морни на досуге писал водевили, скрывая свое авторство под псевдонимом де Сент-Реми.

«Сьекль» («Век») ежедневная газета, выходившая в Париже с 1836 по 1914 г.; пользовалась особой популярностью в период Второй империи.

«Газетт» французская газета, выходила с 1631 по 1914 г.; до французской буржуазной революции 1789 г. — правительственный официоз; после Реставрации — орган легитимистов.

«Шаривари» (1832—1893) парижский сатирический журнал.

Стр. 98

...ведет уже третью войну. В 1853—1856 гг. Франция приняла участие в Крымской войне; в 1859 г. — в австро-итало-французской войне; в 1858—1862 гг. вела захватническую войну во Вьетнаме.

...тот декабрь, восемь лет назад... Имеется в виду контрреволюционный государственный переворот, совершенный Луи Наполеоном 2 декабря 1852 г.

Стр. 99

...госпожа Мальвида фон Майзенбург приехала в Париж, чтобы дописать здесь «Воспоминания»... Книга Мальвиды фон Майзенбург «Воспоминания одной идеалистки» вышла в 1875 г.

цитировала Новалиса... Далее цитируется начало раздела VI «Духовных песен» (1800) Новалиса.

Стр. 100

«Песня королевы Гортензии» написанный на слова графа Александра Луи-Жозефа де Лабурда (1774—1842) романс Гортензии Богарне «Отправляясь в Сирию», ставший национальным королевским гимном.

«*Марш Гарибальди*» был создан по просьбе Д. Гарибальди в 1860 г. А. Оливьери на слова Л. Меркантини.

...*поражение под Сольферино*... Возле Сольферино, селения в Северной Италии, 24 июня 1859 г. во время австро-итало-французской войны итало-французские войска разбили австрийскую армию.

Стр. 101

Рихард Вагнер приехал из цюрихского изгнания в Париж... Участник Дрезденского восстания 1849 г., Рихард Вагнер вынужден был после его подавления эмигрировать в Швейцарию и в 1849—1858 гг. жил в Цюрихе; в 1859 г. он приезжает в Париж.

Стр. 109

Ярый франкфуртист... то есть сторонник франкфуртского парламента, общегерманского национального собрания, созданного в период революции 1848—1849 гг. с целью объединения немецких государств, включая Австрию.

...*напечатал в «Ревю жерманик» такую вызывающую и лживую статью*... «Ревю жерманик» (1859—1868) французский журнал, знакомивший читателя с духовной жизнью немцев. В июне 1862 г. в нем была опубликована статья М. Гартмана «История революции в Чехии».

...*Свою картину «Жижка и Прокоп»*. Имеется в виду картина Я. Чермака «Ян Жижка и Прокоп Великий на боевом возу» (1852).

Стр. 113

...*Ганки, обнаружившего «Рукописи»*. См. примеч. к с. 86.

Стр. 114

Петршин холм в Праге, на котором разбит общественный парк.

Стр. 118

...*Это слово недавно ввел Дюма в своей пьесе, поставленной в театре «Жимназ»*... Имеется в виду пьеса А. Дюма-сына «Полусвет» (премьера — 20 мая 1855 г.).

...*«Тридцатилетнюю» Бальзака*... Имеется в виду этюд О. де Бальзака «Тридцатилетняя женщина» (1831—1834), входящий в «Этюды о нравах» — первую часть «Человеческой комедии».

Саламбо богиня любви у древних вавилонян. Здесь, видимо, героиня одноименного романа Г. Флобера, опубликованного в 1862 г.

Стр. 121

«*Фюнамбюль*» (1816—1862) парижский театр, где выступал знаменитый мим, создатель образа Пьеро — Жап-Батист-Гаспар Дебюро (1796—1846), по матери — чех.

Чехи вырвались из оков. Осенью 1860 г. в Австрии была введена новая конституция, что послужило началом общественно-политического подъема в Чехии.

Стр. 123

«*Чешско-моравский клуб*» чешское землячество в Париже.

После победы французских войск в Сайгоне... 18 февраля 1859 г. французские войска после ожесточенных боев овладели Сайгоном.

«Доминик» (1862) роман Э. Фромантена.

Стр. 125

...он сравнивал ее с Эжени, героиней последнего романа Шанфлери. Речь идет о романе Шанфлери.

Стр. 126

...из белого корчульского камня... Корчула — остров у берегов Далмации в Адриатическом море.

Стр. 127

«Народни листы» ежедневная чешская буржуазная газета; выходила с 1861 по 1941 г.

Стр. 129

Два года назад мы несли этим путем князя Данилу, когда этот проклятый Кадич застрелил его на судне в Которе... 31 июля 1860 г. в Которе черногорский эмигрант Тодор Кадич стрелял из револьвера в князя Черногории Данилу I. 1 августа 1860 г. Данило I умер от ран.

Стр. 130

...выгнать турок из Белграда. В 1521 г. Белград был осажден и захвачен турками; после многолетней национально-освободительной борьбы и восстания освобожден (в 1806 г. и, окончательно, — в 1815 г.). Однако вплоть до 1867 г. в Белграде еще находился турецкий гарнизон.

Стр. 132

...автор юнацких песен... то есть эпических народных песен южных славян о героях борьбы с турками.

Потурченицы отуречившиеся сербы, перешедшие в мусульманство.

Стр. 133

Крсно име сербский праздник «слава», связанный с почитанием святого покровителя рода или семьи.

Стр. 139

«Сокол» чешское патриотическое спортивное общество, основанное М. Тыршем в 1862 г.

Стр. 154

«Салон отверженных» (1863) выставка будущих импрессионистов.

Стр. 157

Гете говорил: классическое — это здоровое, романтическое — больное. Афоризм Гете из «Максим и рефлексий», в разное время печатавшихся при жизни автора в журнале «Искусство и древность».

Стр. 158

Я служу, сказал слепой чешский король, принимая бой, заранее суливший поражение. Речь идет о чешском короле Яне Люксембургском (1296—1346); будучи слепым, он пал во время Столетней войны, в битве у Кресси.

Стр. 159

...о подписании Женевской конвенции... Подписана в 1864 г.

Поляки после подавления восстания бежали за границу... Речь идет о восстании в Польше в январе 1863 г.— мае 1864 г.

Стр. 161

...Дюма снова вывел на сцену какого-то врага женщин... Имеется в виду пьеса А. Дюма-сына «Друг женщин» (премьера — 5 марта 1864 г., в театре Жимназ).

«Прекрасная Елена» (1864) оперетта Ж. Оффенбаха.

«Художественный клуб» патриотическое чешское художественное объединение, возникшее в 1863 г.

Стр. 165

«Славянский клуб» объединенное славянское землячество в Вене.

Стр. 166

...для бронзовых дверей карлинского храма... Имеется в виду приходский храм Кирилла и Мефодия в пражском районе Карлин (построен в 1863 г.).

...для часовни Ланны на Ольшанах. Ольшаны — район Праги, где находится самое большое городское кладбище.

Стр. 169

...пьесе Гонкуров... Имеется в виду драма братьев Гонкур «Генриэтта Марешаль» (премьера — в декабре 1865 г. в «Театр Франсе»).

Стр. 170

Выстрел из замка Ангела... Замок Ангела на берегу Тибра (в прошлом мавзолей императора Адриана) построен в 135—139 гг.

Стр. 173

...Яна Неруды, написавшего рецензию о трех его портретах... Имеется в виду рецензия Я. Неруды «Портреты Ярослава Чермака», опубликованная в газете «Глас» («Голос») в 1865 г.

Староместская ратуша ратуша Старого города, одного из наиболее древних районов Праги.

Стр. 176

Франц Иосиф безрассудно объявил Пруссии войну. Речь идет об австро-прусской войне 1866 г.

...у Градца. Решающая битва австро-прусской войны, близ Градца Кралове (3 июля 1866 г.), открыла для пруссаков ворота в Прагу.

Стр. 177

Немецкие солдаты посещали театр и аплодировали опере «Бранденбургцы в Чехии»... Опера Б. Сметаны «Бранденбургцы в Чехии» по либретто К. Сабиньи, в основу которого был положен одноименный рассказ Й.-К. Тыла, была закончена 23 апреля 1863 г., но премьера ее в пражском Временном театре состоялась только 5 января 1866 г. Опера рисует хозяйничанье в Праге наемников маркграфа Отто Бранденбургского, которого австрийский император Рудольф Габсбургский после смерти Отакара Пршемысла II назначил опекуном малолетнего чешского короля Вацлава.

...пьесы Тыла о Гусе и Жижке. «Ян Гус» (1848), «Жижка из Троцнова» (1849).

Стр. 179

Но он не бросил в эту заводь монету. Согласно народному поверью, тот, кто бросит в фонтан Ди Тревви монету, вернется в Рим.

...о готовящейся книге. Имеется в виду энциклопедическая книга о Чехии «Ла Боэм (Чехия историческая, живописная и литературная)», изданная в 1867 г. в Париже под редакцией Й.-В. Фрича и французского слависта Луи Леже.

Стр. 180

...статья о панславизме... «Славизм и панславизм».

...о гражданских склепах, о Вышеграде... В склепах собора святого Вита в пражском Граде были обнаружены древние захоронения; Вышеград — район древней резиденции чешских князей на правом берегу Влтавы, на высоком холме.

...стихотворение о своем тезке... Ярославе из Штернберка, из «Рукописей» эпическое стихотворение «О великих сражениях христиан с татарами» из «Краледворской рукописи» (см. примеч. к с. 86), в котором воспевалась победа Ярослава из Штернберка над татарами под Оломоуцем в 1241 г. (историческая наука впоследствии опровергла сам факт такого сражения, что служит одним из доказательств неподлинности этого произведения).

Стр. 181

Разве вы не пришли в ярость, читая Тьера? Имеются в виду выступления Тьера во время его двукратного посещения Вены, в сентябре и октябре 1870 г., где он ратовал за союз Австрии и Франции.

...мы своим восстанием спровоцировали войну, благодаря которой возникло равновесие в Европе... Речь идет о восстании чешских феодалов-протестантов против власти Габсбургов, положившем начало Тридцатилетней войне. Вестфальский мир, заключенный в 1648 году, установил относительное равновесие сил в Европе. (См. также примеч. к с. 8, 27, 48.)

...цитату из Колара, выбранную Фричем... Элегический дистих «Патриот» из сборника «Стихотворения» (1821).

...выдержка из Мицкевича... Отрывок из «Лекций о славянских литературах» А. Мицкевича (лекция 21 января 1842 г.)

«Графиня Рудольштадт» (1843—1844), «Консуэло» (1842—1843) романы Ж. Санд, составляющие диологию.

Стр. 183

Город, который Виктор Гюго хотел видеть «Иерусалимом гуманности»... Цитата из исторического очерка В. Гюго «Париж», написанного в связи со всемирной выставкой 1867 г. Глава третья этого очерка («Главенство Парижа») завершается словами: «Париж, очаг революционных откровений, это — Иерусалим человечества» (Гюго В. Собр. соч. в 15-ти т., т. 14, с. 434).

Стр. 186

«Афера Клемансо» (1866) роман А. Дюма-сына.

«Парижская жизнь» Мельяка и Галеви. Премьера оперетты А. Мельяка и Л. Галеви «Парижская жизнь» состоялась 31 октября 1866 г. в Пале-Рояль.

Стр. 189

...он напевал мотив из «Эсмеральды»... «Эсмеральда» (1844) — балет итальянского композитора Чезаре Пуньи (Пуци) (1802—1870) по роману В. Гюго «Собор Парижской богоматери».

Стр. 191

«Кветы» (1865—1872) чешский литературный журнал, основанный Я. Нерудой и В. Галеком.

...*«Фонаря» Рошфора*... Начал выходить 1 июня 1868 г.

Стр. 192

Вы строите театр. Речь идет о строительстве чешского Национального театра в Праге. Общепародный сбор средств начался в 1850 г.; фундамент торжественно заложен 16 мая 1868 г.; театр был временно открыт 11 июня 1881 г.; 12 августа 1881 г. здание сгорело. Вновь театр был отстроен на средства, собранные по общепародной подписке, и открыт 18 ноября 1883 г.

Пепа был в Москве. Можем мы ожидать от него картин на русские темы? Й. Манес в 1867 г. принял участие в поездке чешских общественных деятелей на этнографическую выставку в Москву. Поездка эта была политической демонстрацией, выражавшей протест против создания в 1867 г. двуединой Австро-Венгерской империи, в которой чехи и другие славянские народы остались бесправными и лишены государственного представительства.

Стр. 193

Ваши куранты... Речь идет о двенадцати (по количеству месяцев в году) медальонах на курантах Староместской ратуши в Праге. В этом наиболее значительном произведении Й. Манеса запечатлены типические картины чешской народной жизни.

...*О готовящемся празднестве «соколов»*... Имеется в виду традиционное публичное выступление членов спортивного общества «Сокол» (см. примеч. к с. 139).

Стр. 194

«Шуаны» (1829) исторический роман Бальзака, рассказывающий о подавлении роялистского мятежа в Бретани в 1799 г.

...*книга Жанена*... Имеется в виду книга Ж. Жанена «Бретань историческая, живописная и монументальная» (1844).

Стр. 196

...*большой поваренной книгой*... Речь идет о книге А. Дюма-отца «Разговор об искусстве и кухне» (1877).

Стр. 197

В Праге как раз начиналась Тридцатилетняя война. (См. примеч. к с. 8, 27, 48, 181.)

Стр. 199

Крейскер собор в городке Сен-Поль-де-Леон в Бретани (XIV—XVI вв.), славится своей 77-метровой колокольной.

Костница (или костник) место, где на кладбище складывают кости, попадающиеся при рытье могил. Здесь — часовня, в которой сложены такие кости. В эпоху барокко костями и черепами иногда декорировали церкви, расположенные близ кладбищ или полей сражений.

Стр. 202

...*место высадки на берег малолетней Марии Стюарт*... В 1548 г. шести-

летняя шотландская королева Мария Стюарт была отправлена матерью, Марией Гиз, на воспитание во Францию.

Двести лет спустя тут сошел с корабля... «блудный принц» Карл-Эдуард... Шотландский принц Карл-Эдуард высадился 25 июля 1745 г. в Шотландии с целью вернуть своему роду шотландскую корону и занять английский престол, на который он претендовал вслед за своим отцом Иаковом III, официально признанным английским королем Францией, Испанией и папой римским. Карл-Эдуард добился ряда успехов, но затем потерпел поражение.

Стр. 203

«Марсельеза» журнал Рошфора; основан в 1869 г.

Стр. 204

...журнал «Реализм»... Выходил с 10 июля 1856 г. по май 1857 г.

Стр. 214

...к Барнему... Имя американского антрепренера Ф.-Т. Барнема в XIX в. стало нарицательным для обозначения ловкого шарлатана с крупным размахом, мастера рекламной шумихи.

...Общества св. Луки... Святой Лука, которому приписывалось первое изображение богородицы с младенцем, считался католиками покровителем художников, книжных графиков и печатников; в 1870 г. в Чехии было создано Общество святого Луки, ставящее своей целью помощь вдовам и сиротам художников.

Стр. 218

«Ревю де Дё Монд» один из ведущих литературно-общественных журналов Франции XIX в. (в нем печатались Делакруа, Мериме, Мюссе, Виньи, Ж. Санд, Фромантен); выходил с 1829 г.; придерживался консервативно-либеральной политической ориентации.

«Журналь де Деба» (1789—1942) парижская буржуазная газета.

Стр. 219

...роман в стихах «Адамиты»... Опубликован в 1873 г. в журнале «Люмир»; адамиты (пикарды) — религиозная секта, представлявшая крайне левое крыло таборитов.

Стр. 220

«Ла ви паризьен» парижский иллюстрированный еженедельник, в котором печатались Ипполит Тэн и Шанфлер; основан в 1862 г.

«Желтая любовь» (1873) сборник стихов Тристана Корбьера.

Стр. 225

«Люмир» один из ведущих чешских литературных журналов; выходил с 1873 г. под редакцией видного поэта Йозефа Вацлава Сладека (1845—1912).

...в переводе из Тургенева... Цитата из «Воспоминаний» (1873) Х. Бойезен, в которых приводятся слова Тургенева (см.: Русские писатели о литературном труде. В 2-х т., т. 2. Л., 1955, с. 752).

Стр. 232

«Фигаро» парижский журнал, основанный в 1854 г.; затем — газета, в которой печатался Рошфор; после 1871 г. — орган монархистов.

...книгу Голечека о новой черногорской войне. «Черногория» (1876).
В 1876 г. Черногория вместе с Сербией вступила в войну против Турции.

Стр. 236

«Освета» («Просвещение») чешский литературный журнал, основанный в 1871 г.

Взявшись писать цикл статей для петербургского журнала... Речь идет о еженедельном журнале «Пчела», выходившем в Петербурге в 1875—1878 гг.

Стр. 238

«Завиша с Кунгутой» картина В. Брожика «Свадебная процессия королевы Кунгуты» (1872). В 1233 г. вдова чешского короля Пршемысла Отакара II вышла замуж за Завиша из Фалькенштейна, возглавлявшего ранее партию феодалов Витковичей — заклятых врагов покойного.

Стр. 241

...сестра фигурок с бретонских «голлофф». «Голлоффы», «вифлеемы» — широко распространенные у католиков групповые скульптурные «панорамы» (нередко с движущимися фигурками) на религиозные сюжеты.

Стр. 250

«Свадебная процессия». (См. примеч. к с. 238.)

«Одеон» парижский театр, открывшийся в 1783 г. Ныне — «Театр де Франс».

Стр. 251

...«Старых мастеров». «Старые мастера» (1876) — книга Э. Фромантена о голландских и фламандских художниках XV—XVII вв.

Трокадеро — дворец в Париже, построенный в связи со всемирной выставкой 1878 г.; разрушен после всемирной выставки 1937 г. (во дворце находились концертный зал и ряд музеев).

Стр. 252

Болгары после пятисотлетнего рабства пытались свергнуть османское иго... В конце XIV в. Болгария была завоевана Османской империей; в течение пяти веков болгары вели национально-освободительную борьбу против турецкого ига. Освобождена Болгария в 1877—1878 гг., после поражения Турции в русско-турецкой войне.

Стр. 260

...надпись на бело-красной ленте; остальные ленты были черно-желтые. Белый и красный — национальные цвета Чехии; черный и желтый — символические цвета габсбургской монархии.

Стр. 265

«Святобор» общество, ставившее целью материальную поддержку чешских писателей; основано в мае 1862 г. Ф. Палацким и Ф.-Л. Ригером.

«Художественное объединение» общество чешских художников и меценатов, существовавшее в 1835—1940 гг.

Стр. 266

«Тот герой...» парафраз высказывания Р.-У. Эмерсона из его «опыта» «Героизм» (1838).

Ян Неруда всегда следил за работой Чермака... Неруда посвятил Я. Чермаку статьи «Похищение» Ярослава Чермака» («Глас», 1863, 27 февр.), «Премия Художественного клуба за 1879 год» («Народни листы», 1878, 15 окт., о картине «Босния», 1877) и некролог («Народни листы», 1878). (См. также примеч. к с. 173.)

...по исследованию Тырша (которое вышло в «Освете»)... Тырш М., Ярослав Чермак. Биография и эстетический анализ («Освета», VIII, 1878, № 7, 9, 11; IX, 1879, № 9).

...позднее — по работе Ф.-К. Гарласа... Этюд Ф.-К. Гарласа «Ярослав Чермак» вышел в Праге, в книжной серии «Дух и мир» (вып. 5), без указания даты издания.

...воспоминаниям Людвика Кубы... Куба Л. Ярослав Чермак в памяти далматинцев (Прага, 1894, «Художественный клуб»).

Стр. 267

...д-р Вратислав Черный... выпустил в 1930 году серьезную монографию. Д-р В. Черный, д-р В. Напрстек, Ф. В. Мокрый. Жизнь и творчество Ярослава Чермака (Прага, «Художественный клуб»).

Стр. 269

«...художник знаменитый и неизвестный одновременно»... Цитата из статьи М. Иранека «Заметки о Ярославе Чермаке» (журн. «Вольне смеры», XII, 1910; XIII, 1911).

О. Малевич

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Абдул Меджид I (1823—1861), турецкий султан 127
- Аврелий Марк (121—180), римский император (с 161) 167
- Адриан (76—138), римский император (с 117) 167
- Адриена, жена художника С. Пикасса 64, 72—74, 118, 122
- Александр II (1818—1881), российский император (с 1855) 184—186
- Али-паша Тепеленский (Али-паша Янинский, ок. 1744—1822), албанский феодал, правитель части Балканского полуострова (с 1787) 119
- Альба Альварес де Толедо Фернандо (1507—1582), герцог, испанский полководец, правитель Нидерландов (1567—1573). Попытка подавить Нидерландскую буржуазную революцию 4, 25
- Амон Жан-Луи (1821—1874), французский художник 98
- Анжела, натурщица Чермака в Риме 173, 174, 177, 214
- Анна Бретонская (1476—1514), французская королева (с 1491) 211
- Ансело, г-жа, хозяйка салона 79
- Аркинти Луиджи (1825—1902), итальянский художник и писатель 61—66, 70
- Арпиньи Анри-Жозеф (1849—1916), французский художник и график 63
- Базен Ашиль Франсуа (1811—1888), маршал Франции. Во время франко-прусской войны командовал корпусом и Рейнской армией. Был окружен в Меце и капитулировал 159, 209, 210, 216
- Базиль Жан-Фредерик (1841—1870), французский художник 187, 215
- Байрон Джордж Ноэл Гордон (1788—1824), английский поэт 27, 153
- Бакунин Михаил Александрович (1814—1876), русский революционер, теоретик анархизма; с 1840 г. жил за границей. Участник революции 1848—1849 гг. 94, 180
- Бальдон, врач, консультировавший Чермака 258—260
- Бальзак Оноре де (1799—1850), французский писатель 118, 194, 232
- Барвитиус Виктор (1834—1902), чешский художник 180
- Барнем Финеас Тэйлор (1810—1891), американский король рекламы 214
- Барранд Иоахим (Жоакин; 1799—1883), французский геолог и палеонтолог; с 1831 г. жил в Чехии 176
- Бах Александр (1813—1893), барон, имперский наместник в Чехии, жестоко преследовал революционное движение, с его именем связан период так называемой «баховской реакции» 3, 63
- Баттл Рудольф де, граф 212, 215, 216
- Белашен Маргерит, французская цирковая актриса 119
- Белл Александр Грейам (1847—1922), один из изобретателей телефона, по национальности шотландец; с 1871 г. жил в США 251
- Беллек, рулевой из Роскофа 207, 208, 212, 226, 227

- Беллем Катрин, приятельница Иполиты Галле 93, 119, 120, 184—186, 232, 233, 245, 247, 268
- Беллем Огюст, муж К. Беллем 93, 120, 185, 186
- Бендл Карел (1838—1897), чешский композитор 264
- Бенсам Марио Дон, священник в Мандалене 159, 164
- Беранже Пьер Жан де (1780—1857), французский поэт 78
- Березовский Антоний (1847—1916), участник Польского восстания 1863 г. В эмиграции в Париже совершил неудачное покушение на Александра II. Был выслан в Новую Каледонию 186
- Берлиоз Гектор-Луи (1803—1869), французский композитор 101, 188
- Бернар, г-жа, знакомая И. Галле 79
- Бернар Сара (1844—1923), французская актриса 231
- Бетховен Людвиг ван (1770—1827), немецкий композитор 27, 102
- Билек Фраптишек (1872—1911), чешский скульптор и график 269
- Бисмарк Отто фон Шенхаузен, князь (1815—1898), первый рейхсканцлер Германской империи (1871—1890) 123, 176, 180, 184, 185, 210, 213
- Биссон, бретонский моряк 67
- Блан Луи (1811—1882), французский утопический социалист 100, 211
- Блан Огюст - Александр - Филипп-Шарль (1813—1882), французский критик и искусствовед, брат Л. Блана 100
- Блюмфельд, председатель австро-венгерского благотворительного общества в Париже 261
- Богарне Эжени-Ортенс (Гортезия, 1783—1837), голландская королева, мать Луи Наполеона 20
- Боденштедт Фридрих (1819—1892), немецкий переводчик и писатель 100
- Бодлер Шарль (1821—1867), французский поэт, участник революции 1848 г. 81, 101—104, 108, 114, 156, 169, 191
- Боздех Эмануэль (1841 — с 1889 неизвестно), чешский писатель 261
- Бонапарт Жером (1784—1860), принц, брат Наполеона I, король Вестфалии (1807—1813) 96
- Бонапарт Жером (Плон-плон, 1805—1870), сын припца Жерома Бонапарта 85, 92, 96, 100
- Бонапарт Луи (1778—1846), голландский король (1806—1810), отец Луи Наполеона 20
- Бонапарт Пьер (1815—1881), двоюродный брат Луи Наполеона 203
- Бонна Леон-Жозеф (1833—1922), французский художник 261
- Боргезе, римский аристократический род с XIII в. В вилле Боргезе в Риме находится музей и картинная галерея 168
- Брандейс Ян (1818—1872), чешский художник 46
- Брант Изабелла (1591—1626), первая жена Рубенса (с 1609) 234
- Брейгель Старший, или Мужичкий, Питер (между 1525 и 1530—1569), нидерландский художник 13
- Брожик Вацлав (1851—1901), чешский художник 238, 239, 250, 251
- Бруно Джордано (1548—1600), итальянский философ и поэт. Был обвинен в ереси и сожжен инквизицией в Риме 167
- Брюллов Карл Павлович (1799—1852), русский художник 225
- Буаденедец де, граф, французский офицер, чиновник дипломатической службы, знакомый Чермака

- 118, 171, 172, 178, 179, 194, 258, 262, 268
- Буатон, изобретатель костюма для плавания 229, 250, 263
- Бутро Адольф-Вильям (1825—1905), французский художник 79
- Буке Мишель (1807—1890), французский художник 194, 198, 243, 263
- Бурбоны, королевская династия во Франции и Испании 113
- Бутрица Кате, служанка И. Галле в Манделене 147
- Бюжер, автор книги по ветеринарной хирургии 263
- Бюшерон, муж А. Галле 161, 185, 186, 208, 248
- Бюшерон Симона, дочь А. Галле 208
- Вагнер Бландина, жена Р. Вагнера 102—106, 108
- Вагнер Рихард (1813—1883), немецкий композитор, реформатор оперы, дирижер 99, 101—106, 108, 116, 125, 161, 188
- Ван Гог Тео (1857—1891), брат художника В. Ван Гога; служил в галерее Буссо и Валадона (преемников фирмы Гупиля) 204
- Ван Дейк Антопис (1599—1641), фламандский живописец 21, 234
- Вашперс Гюстав (1803—1874), бельгийский художник 13, 15, 16, 25, 26, 223
- Вацлав IV (1361—1419), чешский король (с 1378), император (1378—1400) Священной Римской империи 24
- Вацлик Ян (1830—1918), чешский ориенталист, публицист, политик; государственный секретарь Черногории (1858—1868) 77, 92, 121, 127, 128, 130, 132—137, 139, 142, 145
- Вебер Карл Мария фон (1786—1826), немецкий композитор и дирижер 102
- Верещагин Василий Васильевич (1824—1904), русский художник 225
- Верлен Поль (1844—1896), французский поэт 216, 267
- Верн Жюль (1828—1905), французский писатель 161, 216
- Верне Орас (1789—1863), французский художник 167
- Веронезе (наст. фамилия Кальяри) Паоло (1528—1588), итальянский живописец 21, 168
- Веселая Анна, мать И. Чермаковой, из рода Жижков из Троцнова 11
- Веселы Игнац, хозяйственный советник во владениях графа Туна-Сальме, меценат, отец И. Чермаковой 7
- Веселы Рафаэль, брат И. Чермаковой 7
- Вийяр Нина де (Нина де Калиас, наст. имя Мари-Анн; 1845—1884), французская пианистка и художница, изображена на картине Э. Манэ «Дама с веерами» (1873, Лувр); ее салон посещали П. Верлен, С. Малларме, А. Франс, Э. Манэ и др. 188
- Виктор Эммануил II (1820—1878), первый король объединенной Италии (с 1861) 100, 176
- Виктория (1819—1901), королева Великобритании (с 1837) 59
- Вильгельм I Гогенцоллерн (1797—1888), прусский король (с 1861) и германский император (с 1871) 94, 184, 185, 209
- Вильгельм I Оранский (Вильгельм Нассауский, 1533—1584), принц, деятель Нидерландской буржуазной революции 14, 16
- Вилье де Лиль-Адан Филипп-Огюст-Матис (1838—1889), французский писатель, драматург 188, 189

- Виндишгрец Альфред фон (1787—1862), австрийский фельдмаршал, командующий австрийскими войсками, посланными для подавления революции 1848—1849 гг. в Австрии, Чехии, Венгрии 3
- Винтергальтер Йозеф (1743—1807), чешский художник 79
- Вирц Антуан (1806—1865), бельгийский художник 8, 13, 18, 25, 26
- Виттельсбахи, южногерманский род, правивший в Баварии (1180—1918) 151
- Вобан Себастьян Ле Претр де (1633—1707), маркиз, французский военный инженер, маршал (1703) 200
- Вольтер (наст. имя Мари Франсуа Аруэ, 1694—1778), французский писатель и философ 213
- Врбица Машо, черногорский воевода 136, 138—140
- Врбович Милан, черногорский воевода 127
- Вукалович Лука (1823—1873), герцеговинский воевода 129
- Вукотич Петар (1826—1890), черногорский воевода, отец Милены, жены князя Николы 127, 132, 136, 137, 139, 145
- Габсбурги, правящая династия в Австрии, Австро-Венгрии и Испании 3, 10, 32, 56, 96, 176, 180
- Гавласа Богумил (1852—1877), чешский прозаик 231, 232
- Гавличек-Боровский Карел (1821—1856), чешский политический деятель, публицист, поэт 9, 10, 46, 77, 109
- Гаде, хозяин гостиницы в Роскофе, мценат 198, 199, 212, 229, 243, 256
- Галеви Людовик (1834—1908), французский драматург 186
- Галек Витеслав (1835—1874), чешский поэт 86, 192
- Галилей Галилео (1564—1642), итальянский ученый 32
- Галле Амалия (по мужу Бюшерон), дочь Л. и И. Галле 5, 17, 19, 124, 147, 150, 151, 160—162, 178, 185, 186, 201, 208, 238, 244—248, 267
- Галле Иполита (ум. 1905), жена Л. Галле 3—9, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 26—30, 34—43, 45, 46, 48—54, 57—61, 64, 66, 68, 73—80, 84, 87, 91—93, 100, 101, 106—108, 110, 116—126, 139, 143 146—157, 159—164, 168, 169, 173, 175—178, 182—186, 188—191, 194—196, 200—210, 212, 215—217, 219—223, 225—233, 235—241, 243—251, 254, 257—260, 262, 263, 267, 268
- Галле Луи (1810—1887), бельгийский художник 4, 5, 7—9, 13—26, 29—36, 38—43, 45, 46, 49, 52—55, 58—61, 64, 74, 75, 78, 80, 106, 111, 118, 124, 147, 156, 160, 173, 176, 205, 223, 235, 267
- Галле Мария, дочь Л. и И. Галле 5, 124, 147, 151, 159, 160, 201, 202, 204, 208, 227, 230, 237, 244—246, 247, 267
- Гамбетта Леон-Мишель (1838—1882), премьер-министр и министр иностранных дел Франции (1881—1882), лидер левых буржуазных республиканцев, глава «правительства национальной обороны»; пытался организовать отпор прусским оккупантам 191
- Ганелли Бонавентура (1800—1868), немецкий художник 46
- Ганка Вацлав (1791—1861), чешский филолог, поэт 113
- Гарибальди Джузеппе (1807—1882), национальный герой Италии, участник Итальянской революции (1848—1849) 113, 167, 181, 211

- Гарлас Франтишек К. (1865—1947), чешский художник и историк искусства 266
- Гартман Мориц (1821—1872), немецкий поэт и политический деятель 109
- Гейне Генрих (1797—1856), немецкий поэт и публицист 100
- Гелиогабал (204—222), римский император 33
- Генрих II (1519—1559), французский король (с 1547) 77
- Герцен Александр Иванович (1812—1870), русский революционер, писатель, философ 17, 55—57, 61, 68, 85, 98, 99, 159, 204
- Гетальди, древний дубровницкий аристократический род 151
- Гете Иоганн Вольфганг фон (1749—1832) 8, 104, 157, 167
- Гйнайс Войтех (1854—1925), чешский художник 261
- Глейр Марк-Габриэль-Шарль (1808—1874), французский художник 223
- Годжа Михаил Милослав (1811—1870), словацкий публицист, идеолог словацкого буржуазного национального движения 87, 88
- Гойя Франсиско Хосе де (1746—1828), испанский художник 186
- Голечек Йозеф (1853—1929), чешский прозаик и журналист 232
- Голлар Вацлав (1607—1677), чешский художник и график 25
- Гомер, легендарный древнегреческий эпический поэт 82, 266
- Гонкур, французские писатели, братья: Эдмон (1822—1896) и Жюль (1830—1870) 98, 169
- Гордон Фани, певица, возлюбленная Дюма 121
- Горн Филипп де Монморанси (ок. 1524—1568), граф, один из лидеров антииспанской оппозиции на кануне и в начале Нидерландской буржуазной революции 4, 15
- Гортензия см. Богарне Э.-О.
- Гостинский Отакар (1847—1910), чешский историк музыки, музыкальный критик 263
- Готье Теофиль (1811—1872), французский поэт, писатель и критик 101—105, 120
- Грбич Иво, слуга Чермака в Мандалене, брат К. Грбич 147, 150—152, 158, 159, 164, 169, 184
- Грбич Кате, служанка И. Галле 147, 149, 151, 158, 163, 183, 184, 230, 269
- Грбич Миха, брат К. Грбич 147
- Грунд Норберт (1717—1767), чешский художник 86, 224
- Груссе Паскаль (1844—1909), французский журналист, деятель Парижской коммуны 203
- Гуерра, владелец папштенной в Париже 19
- Гулук Фердинанд (1817—1889), любимый портной Луи Наполеона, активный деятель чешского землячества в Париже, покровитель чехов, меценат 19, 31, 94, 96—98, 100, 113, 179, 183
- Гуно Шарль (1818—1893), французский композитор 101
- Гупиль, владелец картинной галереи, посредник при продаже картин 124, 177, 204, 217, 218, 224, 236, 258, 267, 268
- Гус Ян (1371—1415), идеолог чешской Реформации. Осужден церковным собором в Констанце и сожжен 5, 17, 32, 48, 177, 181, 182
- Гуттари Йозеф (1842—1890), чешский художник 106, 108—114, 121, 123, 126—129, 131, 133, 134—136, 138, 139, 142—144, 147
- Гюго Виктор-Мари (1802—1885), французский поэт, драматург,

- романист 23, 24, 69—72, 82, 83, 123, 153, 183, 189, 192, 194, 195, 197, 210, 211, 214
- Давид Жак Луи (1748—1825), французский художник 19, 82, 157, 234
- Дальбе Луиза, м-ль, гувернантка в семье И. Галле 147, 201
- Данило I Петрович-Негош (ок. 1670—1735), черногорский князь (с 1697) 132
- Данило II Петрович-Негош (1826—1860), черногорский князь (с 1851). В 1852 г. с помощью России провозгласил Черногорию наследственным княжеством 77, 129, 137, 139, 143
- Данте Алигьери (1265—1321), итальянский поэт 62, 103
- Даптон Жорж Жак (1759—1794), деятель Великой французской революции 50, 61
- Даржан Эдуард Йан (1824—1877), бретонский художник 61, 62, 64—67, 71, 194
- Даринка (1837—1892), вдовствующая черногорская княгиня 132, 138, 144, 150
- Деборд-Вальмор Марселина (1786—1859), французская поэтесса 100
- Дега Эдгар (1834—1917), французский художник, скульптор, график 187, 210, 222, 224, 232
- Декан Александр-Габриель (1803—1860), французский живописец и график 103, 124
- Делакруа Эжен (1798—1863), французский живописец и график 21, 59, 72, 78, 92, 102, 103, 117, 156, 157, 167, 218, 231
- Деларош Поль (наст. имя Ипполит, 1797—1856), французский живописец 16, 78
- Делеклюз Шарль (1809—1871), участник революции 1848 г. во Франции; член Парижской коммуны 60
- Дени Эрнест (1849—1921), французский буржуазный историк и славист 250
- Детай Эдуард (1848—1912), французский художник 218, 261
- Дидро Дени (1713—1784), французский философ-материалист, писатель 104
- Дич Луи (1808—1865), французский композитор и дирижер 106, 107
- Доде Альфонс (1840—1897), французский писатель 216
- Домье Оноре-Викторьен (1808—1879), французский график, живописец и скульптор 47, 213, 232
- Доре Гюстав (1832—1883), французский график 101, 103, 117
- Друэ Шарль (1836—1908), французский скульптор и художественный коллекционер 198, 199
- Дык Виктор (1877—1931), чешский поэт, драматург и прозаик 268
- Дюбюф Эдуард (1820—1883), французский художник 250
- Дюма Александр (Дюма-отец) (1802—1870), французский писатель 23, 24, 32, 42, 53, 92, 112, 113, 121, 169, 177, 192, 196—198, 200, 201, 210
- Дюма Александр (Дюма-сын) (1824—1895), французский писатель 118, 161, 186, 192, 210, 214, 236, 237, 261
- Дюранти Луи-Эмиль-Эдмон (1833—1880), французский критик 204
- Дюре Теодор (1838—1927), французский критик 223
- Дюрович Дюро, слуга Чермака в Мандалене 126, 128, 131, 133, 144, 147
- Евгения см. Монтихо Е.
- Елена, княжна, сестра княгини Милевы 138, 169

- Жаваль, д-р, родственник жены брата Чермака, Яна 185
- Жаваль, м-м, приятельница И. Галле 232, 233
- Жак Габриель, французский художник 260
- Жанен Жюль (1804—1874), французский писатель, критик 194
- Жанна д'Арк (ок. 1412—1431), народная героиня Франции 110
- Жекер Жан-Батист (1810—1871), швейцарский банкир, расстрелян в Париже в 1871 г. 114
- Жерар Франсуа (1770—1837), французский художник 79
- Жерико Теодор (1791—1824), французский художник и график 21, 92, 157
- Жером Жан-Леон (1824—1904), французский художник 117, 172, 195, 222, 261
- Жижка Ян (ок. 1360—1424), чешский полководец; с 1420 г. — гетман таборитов 5, 11, 32, 48, 165, 177
- Жирарде Поль (1821—1893), французский гравёр 219
- Завиш из Фалькенштейна (ум. 1290), чешский аристократ, глава оппозиции (1276—1278) против Пршемысла Отакара II. Был казнен 238
- Залемфельс Теодор, граф, чиновник австрийского посольства, друг Чермака 184—186, 258, 261, 262, 268
- Залемфельс Жофи, дочь супругов Залемфельс; ее портрет нарисовал Чермак 185
- Залемфельс Павлина, жена Т. Залемфельса, сестра д-ра Жавала 184, 186
- Звонарж Йозеф Леопольд (1824—1865), чешский музыкальный теоретик, педагог, композитор 9—11, 27, 62, 265
- Зенефельдер Алоиз Ян Франтишек (1771—1834), немецкий изобретатель; в 1798 г. изобрел литографию 60
- Зичи Михай (1827—1906), венгерский художник 218, 251, 262
- Золя Эмиль (1840—1902), французский писатель 155, 204, 263
- Ивана, натурщица Чермака в Черногории 135
- Иероним (ок. 348—420), христианский теолог, переводчик Библии на латинский язык 181
- Иранек Милош (1875—1911), чешский художник, график и критик 269
- Ириарт Шарль (1833—1898), французский литератор, автор книги «Босния и Герцеговина во время восстания» (1875) 252
- Йонгкинд Ян (Йохан) Бартольд (1819—1891), голландский художник 155, 225
- Йорданс Якоб (1593—1678), фламандский художник 13
- Кабанель Александр (1823—1889), французский художник 117, 171, 172, 187, 225, 261
- Кадич Тодор, черногорский эмигрант, убийца черногорского князя Даниила 129
- Казначич Иван Август (1817—1883), д-р, писатель, жил в Дубровнике 90, 91, 126, 151, 152, 190
- Камерон Женни 202
- Камозис (Камоинш) Луиш ди (1524 или 1525—1580), португальский поэт и драматург 223

- Карл-Эдуард Стюарт (1720—1788), принц из династии Стюартов, известный под именем «юного претендента» 202
- Карл IV (1316—1378), германский король и император Священной Римской империи (с 1347); чешский король (Карл I) с 1346 г. 4, 24
- Карл V (1500—1558), император (1519—1556) Священной Римской империи 13, 32
- Карл Великий (742—814), французский король (с 768); с 800 г. — император 187
- Кастаньяри Жюль-Антуан (1830—1888), французский критик 82, 83
- Кейсер Альбер де (1829—1890), бельгийский художник 53
- Кемпер фон Фихтенштейн Иоганн, начальник высшего полицейского управления в Австрии 88
- Кератри Эмиль де, граф (1832—1905), французский военный и политический деятель 211
- Кинкель Готфрид (1815—1882), немецкий пастор, писатель и искусствовед 100
- Клавдий (10 до н. э. — 54 н. э.), римский император (с 41) 167
- Клапка, народный лекарь 6, 7
- Клеман Шарль (1821—1887), французский журналист и искусствовед 218
- Климент VIII (1592—1605), римский папа 167
- Клерен Жорж-Жюль-Виктор (1843—1920), французский художник 213, 231
- Клечкович Кате, натурщица Чермака в Магдалене 169
- Клингворт Карл (1830—?), пианист, известный переложениями для фортепиано вагнеровских опер 102
- Клишнинг Эдвард (1813—1877), английский цирковой акробат, выступал в Германии (с 1830), в венском Карлтеатре (с 1836) 6
- Колар Ян (1793—1852), чешский и словацкий поэт 87, 96, 181
- Колар Йозеф Иржи (наст. имя Йозеф Коларж, 1812—1896), чешский актер, драматург, переводчик, критик 113
- Коменский Ян Амос (1592—1670), чешский мыслитель-гуманист и педагог 11
- Комменж, врач, лечивший семью И. Галле и Чермака 223, 229, 230, 257—260, 263
- Констебл Джон (1776—1837), английский художник 72, 224
- Корбьер Жан-Антуан-Рене-Эдуар (1793—1875), французский моряк и писатель, отец Т. Корбьера 197, 198, 220, 221, 229, 263
- Корбьер Тристан, французский поэт 197—199, 207, 208, 212, 215—217, 220—222, 226, 227, 229, 267
- Корнелиус Петер фон (1783—1867), немецкий художник 11
- Коро Камиль (1796—1875), французский художник 60, 63, 157, 217, 218, 237
- Коромпай Густав (1833—1907), венгерский архитектор 251, 261
- Корсакова, княжна 118
- Косарек Адольф (1830—1859), чешский художник 81
- Костанобл, венгерский художник 261
- Коуниц Вацлав, граф (1848—1913), чешский аристократ, сенатор, саповник, меценат 265
- Кренью, рулевой из Роскофа 199, 243, 244, 254—256
- Кро Шарль (1842—1888), французский поэт 188
- Куба Людвик (1863—1956), чешский художник 266, 267

- Кукиани Жозефина (Марчела), итальянская комедиантка; любовница Р. де Батина 212, 215, 216, 221, 227
- Кунгута (ок. 1245—1285), чешская королева, жена Пршемысла Отакара II 238
- Купецкий Ян (1667—1740), чешский художник 86
- Курбе Гюстав (1819—1877), французский живописец 18, 47, 59—61, 82—84, 108, 155, 186—188, 213, 214, 216, 217
- Кутюр Тома (1815—1879), французский художник 46, 47, 80—82, 120
- Кюфштейн, граф, австрийский посланник в Париже 261
- Кюфштейн, графиня, жена австрийского посланника 260
- Ладенбург, барон 222, 231
- Ладенбург Юлия, баронесса 222, 231
- Ламаргин Альфонс (1790—1869), французский писатель, политический деятель; член Временного правительства в 1848 г. 21
- Ламбл Вилем Душан (1824—1895), чешский врач, доцент университета в Праге; позже работал в Харькове и Варшаве 30, 31, 47, 58, 87, 90, 92, 93, 96, 112, 121, 122
- Ланна Войтех (1836—1909), чешский промышленник и меценат 166, 265
- Лафатер Иоганн Каснар (1741—1801), швейцарский писатель 30
- Лафенетр Гастон-Эрнест (1841—?), французский художник 198, 199, 207, 216
- Лашман Тереза (Паива) 120, 233
- Лгота Антонин (1812—1905), чешский художник 265
- Левепан, м-ль, учительница музыки дочерей И. Галле 227
- Левый Вацлав (1820—1870), чешский скульптор 166, 214
- Ле Гуалек, владелец трактира в Роскофе 212
- Ле Гуалек Жанетта, дочь Ле Гуалека 212
- Ледрю-Роллен Александр-Огюст (1807—1874), французский мелкобуржуазный демократ. После Февральской революции 1848 г. — министр внутренних дел Временного правительства; участник подавления Июньского восстания 1848 г. 17
- Леже Луи (1843—?), французский историк, занимавшийся Чехией 176, 180, 218, 250
- Леконт Клод-Мартен (1818—1871), французский генерал, расстрелян во время Парижской коммуны 212
- Ле Корр, владелец трактира на Монмартре 44, 48
- Леопольд I (1790—1865), бельгийский король (с 1831) 5, 18, 60, 169
- Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841) 45
- Леруа Эжен (1836—1907), французский писатель и критик 223
- Летурнер, французский офицер; купил домик Чермака в Роскофе 263
- Ливий Тит (59 до н. э. — 17 н. э.), римский историк 177
- Лиза, кухарка И. Галле в Мандалене 147, 148
- Лист Ференц (1811—1886), венгерский композитор, пианист, дирижер 101
- Лобковиц, князь, ведал делами академии художеств 220
- Ломницкий из Будче Шимон (1552—1622), чешский писатель 32—34
- Лористон Жак (1768—1828), французский маршал (с 1823) 126
- Луи Наполеон Бонапарт (Наполеон III, 1808—1873), французский император (1852—1870), племян-

- ник Наполеона I 20, 21, 23, 25, 26, 31, 44, 59, 69—72, 76, 77, 85, 92—94, 96—98, 100, 102, 104, 108, 113, 114, 119, 154, 164, 166, 169, 171, 177, 182, 184, 185, 187, 191, 203, 205, 206, 209—211, 213, 219
- Луи-Филипп (1773—1850), французский король (1830—1848) 20, 227
- Лукаш, повар князя Николы, чех по национальности 131
- Лукашова, жена Лукаша 131
- Лукулл (ок. 117 — ок. 56 до н. э.), римский полководец; славился богатством, роскошью и пирами 201
- Людовик XIV (1638—1715), французский король (с 1643) 24
- Людвик Ягеллонский (1505—1526), чешский и венгерский король (с 1516). Убит в битве с турками у Мохача 14
- Мабий, содержатель танцевальных классов в Париже 164, 253
- Мадзини Джузеппе (1805—1872), вождь республиканско-демократического крыла итальянского Рисорджименто; основатель «Молодой Италии»; активный участник революции 1848—1849 гг. 17
- Майзенбург (Мейзенбург) Мальвида фон, баронесса (1816—1903), немецкая писательница; была в дружеских отношениях с А. И. Герценом, Дж. Мадзини, Р. Вагнером 17, 18, 55, 68, 98—108, 229
- Майков Аполлон Александрович (1826—1902), русский славист, гофмейстер двора 90
- Майкспер Петр (1831—1884), чешский художник 46, 166, 180
- Маке Огюст (1813—1888), французский прозаик и драматург, анонимный соавтор Дюма-отца и других французских писателей 92, 113
- Мак-Магон Патрис (1808—1893), маршал Франции, герцог. Руководил армией, разгромленной в 1870 г. под Седаном; командовал войсками версальцев, подавивших Парижскую коммуны. В 1873—1879 гг. — президент Франции 219
- Максимилиан II (1527—1576), германский император (с 1564), король чешский и венгерский 14
- Максимилиан I Габсбург (1832—1867), австрийский эрцгерцог; брат императора Франца-Иосифа I. В 1864 г. в ходе англо-франко-испанской интервенции в Мексику провозгласил себя мексиканским императором. После эвакуации французских войск из Мексики был казнен 185
- Малларме Стефан (1842—1898), французский поэт 188
- Мамула Лазар, барон (1795—1878), австрийский военный и государственный деятель, наместник Далмации (1859—1865), генерал, позже фельдмаршал 88, 125
- Манэ Эдуард (1832—1883), французский художник 120, 155, 157, 171, 186, 187, 199, 204, 210, 223—225
- Манес Йозеф (1820—1871), чешский художник 11, 30, 31, 46, 47, 64, 81, 86, 87, 139, 143, 166, 177, 192—194, 215, 236, 239, 250, 266, 269
- Мапетинская Анна, чешская актриса 125
- Марат Жан-Поль (1743—1793), один из вождей якобинцев в период Великой французской революции 61, 82
- Мария-Антуанетта (1755—1793), французская королева, жена Людовика XVI (с 1770) 98

- Мария Бургундская (1457—1482), жена Максимилиана I (с 1477) 14
- Мария Стюарт (1542—1587), шотландская королева с 1542 г. (фактически — с 1561 по 1567). Претендовала также на английский престол. По приказу английской королевы Елизаветы I заключена в тюрьму, затем предана суду и казнена 202, 243
- Маркс Карл (1818—1883) 159, 214
- Мартиновский Ян Павел (1808—1873), чешский композитор 62
- Марчела см. Кукиани Ж.
- Масарик Томаш Гарриг (1850—1937), президент Чехословакии (1918—1935) 268
- Маскарич, хозяйка виллы, снятой Чермаком в Мандалене 126, 128
- Матейка Ян (1838—1893), польский художник 225
- Маудер Йозеф (1854—1920), чешский скульптор 267
- Мейербер Джакомо (наст. имя Якоб Либман Бер, 1791—1864), немецкий композитор 36, 105
- Мейссонье Эрнест (1815—1891), французский художник 103, 117, 155, 187, 210, 217
- Мельяк Анри (1832—1897), французский драматург 186
- Мериме Проспер (1803—1870), французский писатель 116, 204
- Меттерних (Меттерних-Виннебург) Клеменс (1773—1859), князь, канцлер Австрии (1821—1848) 100, 101
- Меттерних Рихард (1829—1895), австрийский посол в Париже, сын К. Меттерниха 100, 101, 106, 185, 191
- Меттерних Паулина (урожд. Шандор, 1836—1921), жена австрийского посла в Париже, меценатка 101, 103—107, 185
- Микеланджело Буонарроти (1475—1564), итальянский скульптор, художник, архитектор, поэт 167, 168, 171, 232
- Милена (1847—1923), княгиня, жена черногорского князя Николы 132, 137, 138, 150
- Милле Жан-Франсуа (1814—1875), французский художник и график 47, 92, 187, 223, 224
- Милославич, домовладелец в Сребрне, где Чермак снимал квартиру 150
- Мирко см. Петрович Мирко
- Мироне, пекарь из Роскофа 196
- Мироне Виржини, служанка Чермака из Роскофа 196, 202, 269
- Мицкевич Адам (1798—1855), польский поэт, деятель национально-освободительного движения 181
- Могоадр (наст. имя Селеста Венар, графиня де Шабрийян, 1824—1909), французская куртизанка, танцовщица, директриса театра, писательница 92
- Мокрый Франтишек Виктор (1892—1975), чешский график и художественный критик 267
- Молье, французский офицер, побывавший в Черногории 125
- Мольтке (Старший) Хельмут Карл (1800—1891), граф, германский фельдмаршал и военный теоретик 184, 209
- Моше Клод (1840—1926), французский художник 155, 190, 223
- Монтесума (1466—1520), правитель ацтеков (с 1503) 117
- Монтихо Евгения (урожд. де Гузман, графиня де Теба, дочь графа де Монтихо), жена Луи Наполеона, французская императрица (1853—1871) 31, 76, 85, 97, 98, 101, 118, 171, 185, 206, 210
- Морни Шарль Огюст-Луи-Жозеф, гер-

- дог де (1811—1865), французский государственный деятель, побочный сын королевы Гортензии; был послом в России (1856—1857) 44, 97, 114, 118, 164, 169
- Моро, морской комиссар из Роскофа 201, 207, 244
- Морпург, банкир в Триесте 139, 148, 149
- Моцарт Вольфганг Амадей (1756—1791), австрийский композитор 167
- Мункачи Михай (1844—1900), венгерский художник 218, 261
- Мурильо Бартоломе Эстебан (1618—1682), испанский художник 55
- Мюрже Анри (1822—1861), французский писатель 20, 63, 81
- Мюссе Альфред де (1810—1857), французский поэт и драматург 78
- Навратил Йозеф Матей (1798—1865), чешский художник 224
- Надар (наст. имя Гаспар Феликс Турнашон, 1820—1910), французский художник, литератор, воздухоплаватель, прославился как фотограф 222—224
- Наполеон I (Наполеон Бонапарт, 1769—1821), французский император (1804—1814 и март — июнь 1815) 20, 25, 96, 126, 151, 182
- Напрстек В., собиратель паследия Чермака 267
- Нёвиль Альфонс-Мари-Адольф де (1835—1885), французский художник 261
- Неделлек Катрин, служанка Чермака 250, 256, 257, 259—261
- Немцова Божена (1820—1862), чешская писательница 11, 30, 31, 47, 77, 84, 87, 96, 123, 181
- Нерваль Жерар де (наст. имя Жерар Лабрюни, 1808—1855), французский поэт и литературный и театральный критик 59
- Неруда Ян (1834—1891), чешский поэт и писатель 86, 162, 173, 176, 214, 252, 265, 266
- Нестрой Иоганн Непомук (1801—1862), австрийский комедиограф и актер 6
- Никола I Петрович Негош (1841—1921), князь (1860—1910) и король (1910—1918) Черногории 127, 128, 130—133, 135—139, 142—145, 190, 232, 251, 261, 264, 268
- Николай I (1796—1855), российский император (с 1825) 44
- Ниман Альберт (1831—1917), немецкий певец 108
- Новалис (наст. имя Фридрих фон Харденберг, 1772—1801), немецкий поэт и философ 99
- Ноэль Ральф, английский капитан, родственник жены Байрона 27
- Нуар, французский художник 198, 199
- Нуар Виктор (наст. имя Иван Сальмон Нуар, 1848—1870), французский журналист 203
- Нуй, французский барон 105—107, 112—116, 153, 230
- Оливье Эмиль (1825—1913), французский политик и публицист 102, 104
- Ольга, дочь княгини Даринки 133
- Омар-паша (наст. имя Михаил Мича), турецкий военачальник 130, 131, 133
- Орсии Феличе (1819—1858), деятель итальянского Рисорджименто. Участник революции 1848—1849 гг. В январе 1858 г. совершил неудавшееся покушение на Наполеона III и был казнен 85, 96—99

- Осман Жорж-Эжен (1809—1891), французский политический деятель, префект департамента Сены. При нем широкий размах получили реконструктивные и градостроительные мероприятия 22, 76, 79, 97, 121
- Оффенбах Жак (Якоб) (1819—1880), французский композитор 76, 93, 105, 216
- Паива см. Лашман Т.
- Палацкий Франтишек (1798—1876), чешский политический деятель, историк, философ 10, 11, 32, 165, 221, 232
- Паскаль Блез (1623—1662), французский философ, писатель, математик и физик 101
- Персич, турецкий консул в Дубровнике 128
- Пети, французский художник 213
- Петкович, управляющий русским консульством в Дубровнике, болгарин по национальности 90
- Петр I Великий (1672—1725), русский царь (с 1682), первый российский император (с 1721) 223
- Петрович Крцо, черногорский воевода 130, 131
- Петрович Мирко (1820—1867), черногорский военачальник, отец князя Николы 127, 130, 132, 136—138, 142, 143, 145, 150, 173
- Пий IX (1792—1878), римский папа (с 1846) 166
- Пик, отец Иполиты, состоятельный торговец 45, 78, 148, 149, 230
- Пико Огюст-Эмиль (1844—1918), французский дипломат и историк культуры, на кафедре восточных языков Сорбонны преподавал румынский язык 258
- Пиль Роберт (1788—1850), премьер-министр Великобритании (1834—1835 и 1841—1846) 71
- Пинкас Адольф Мария (1800—1865), чешский политик, отец С. Пинкаса 46, 64, 92
- Пинкас Собеслав Иполит (1827—1901), чешский художник 46—48, 55, 59—66, 72—75, 78, 80, 81, 92, 99, 100, 112—115, 118, 122, 124, 155, 161, 162, 175, 176, 179, 180, 191—193, 214, 215, 218, 219, 222, 223, 230, 231, 236, 248—251, 257, 262—265, 268
- Пинкасова Иза (по мужу Шпрингрова), сестра С. Пинкаса 55
- Писсарро Камиль (1831—1903), французский художник 155, 187, 190, 222, 225
- Пламенац Туро (ум. в 1862), черногорский воевода 140, 141, 158
- Планшон Жюль-Эмиль (1823—1888), французский ботаник и агроном 219
- Плон-плон см. Бонапарт Ж.
- Плутарх (ок. 45 — ок. 127), древнегреческий писатель и историк 180
- Подписная Софии (урожд. Роттова, 1833—1897), чешская писательница, деятель женского движения 180
- Пойман, начальник полиции в Праге 90
- Прахов Адриан Викторович (1846—1916), русский археолог, искусствовед, художественный критик, профессор Петербургского университета, редактор журнала «Пчела», для которого М. Тырш написал статью о Я. Чермаке 225
- Пршемысл Отакар II (ок. 1230—1278), король Чехии (с 1253) 4, 8
- Прокоп Голый (Прокоп Великий, ок. 1380—1434), главный политический и военный руководитель

- таборитов в Чехии с 1426 г. 4, 8, 32, 48, 221
- Пуайе, французский судья, вскрывавший завещание Чермака 261
- Пуркине Карел (1834—1868), чешский художник, сын Я.-Э. Пуркине 80—84, 86, 111, 143, 161, 191—193
- Пуркине Эмануэль, чешский естествоиспытатель, брат Я. Пуркине 81
- Пуркине Ян Эвангелиста (1787—1869), чешский «будитель», естествоиспытатель 10, 11, 49, 80, 81, 85, 86, 165, 192
- Пуцич Орнат, граф, дубровницкий поэт 88, 125, 152
- Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837) 45
- Пфлегер-Моравский Густав (1833—1875), чешский писатель и журналист 95, 174, 220
- Пюви де Шаванн Пьер (1794—1898), французский художник 117, 217
- Рабас Вацлав (1885—1954), чешский художник 268
- Рабле Франсуа (1494—1553), французский писатель 101
- Радовичи, черногорский род, участвовавший в войне с турками 127, 137
- Радович Станко, черногорский воевода, представитель князя Николая на похоронах Чермака в Париже и Праге 261, 264
- Ракова Клара, двоюродная сестра Чермака 219
- Рамполди, м-м, вдова итальянского капитана Рамполди 174, 175, 178, 179
- Рафаэль Сапти (1483—1520), итальянский художник и архитектор 155, 166, 168, 171, 172
- Рашель (наст. имя Элиза Рашель Феликс, 1821—1858), французская актриса 56, 85
- Ребекка, певица в парижском увеселительном заведении «Альказар» 250
- Рембо Артюр (1854—1891), французский поэт 216
- Рембрайт Харменс ван Рейн (1606—1669), голландский художник 16, 55, 234, 235
- Ренуар Огюст (1841—1919), французский художник, график и скульптор 190, 210, 223
- Реньо Анри (1843—1871), французский художник 6
- Ренин Илья Ефимович (1844—1930), 224, 225
- Ригер Франтишек Ладислав (1818—1903), чешский буржуазный политик 16, 19, 219, 238, 265
- Робер-Флэри Жозеф-Никола (1797—1890), французский художник 20, 32, 33, 123, 173, 195, 224, 250, 261
- Робер-Флэри Антуан (Тони) (1837—1911), французский художник и литограф, сын Ж.-Н. Робер-Флэри 173, 250
- Робеспьер Максимилиен (1758—1794), деятель Великой французской революции, один из руководителей якобинцев 50, 82
- Робино, цирюльник из Роскофа 200
- Роган, древний бретонский княжеский род 121
- Рошфор Виктор-Апри, маркиз (1830/31—1913), французский журналист, участник Парижской коммуны, впоследствии шовинист и антидрейфусар 164, 191, 203
- Рубен Кристиан (1805—1875), немецкий художник 11, 33, 34, 47
- Рубенс Питер Пауль (1577—1640), фламандский художник 13, 21, 52, 124, 234

Руссо Теодор (1812—1867), французский художник 63

Сабина Карел (1813—1877), чешский писатель, поэт, в 1848—1849 гг. — идейный руководитель чешских радикальных демократов 4, 180

Савинкович, садовник Чермака в Мандалене 169

Салаэн, нотариус из Роскофа 201

Санд Жорж (наст. имя Аврора Дюпен; по мужу — баронесса Дюдеван, 1804—1876), французская писательница 83, 181

Сарданапал (Ашшурбанипал), царь Ассирии (669—633 до н. э.) 200

Саския см. Эйленборх С.

Свертс-Шпорк Йозеф, граф (1756—1816), бельгийский художник, руководитель Пражской академии 239, 265

Свобода Карел (1824—1870), чешский художник 33

Сезанн Поль (1839—1906), французский художник 155, 223

Секвенс Франтишек (1836—1896), чешский художник 166

Сиблик Эмануел (1886—1941), чешский балетный теоретик и критик 268

Сислей Альфред (1839—1899), французский художник 187, 222, 224

Скриб Эжен (1791—1861), французский драматург 106

Сметана Бедржих (1824—1884), чешский композитор, дирижер, пианист, общественный деятель 84

Ставе, княгиня, мать князя Николы 138

Стапе, служалка княгини Даринки 144

Стендаль (наст. имя Апри-Мари Бейль, 1783—1842), французский писатель 83, 177

Сэ, французский врач, консультировавший Чермака 258—260

Таборский Франтишек (1858—1940), чешский поэт и переводчик с русского 267

Тарлье Огюст-Амбруаз (1818—1879), французский врач и ученый-медик, академик 36, 37, 45, 73, 75, 91, 117, 119—121, 194, 204, 230, 232, 233, 245

Тассо Торквато (1544—1595), итальянский поэт 33

Тёрнер Уильям (1775—1851), английский художник и график 224

Тинторетто (наст. фамилия Робусты) Якопо (1518—1594), итальянский художник 52, 168

Титина, натурщица 82

Тициан (наст. имя Тициано Вечеллио, ок. 1476/77 или 1489/90—1576), итальянский художник 21, 32, 168, 186

Толстой Лев Николаевич (1828—1910) 161

Тома Ханс (1839—1924), немецкий художник 175

Тори Клемент, французский офицер, друг Чермака 171, 174, 177, 216, 253—256, 258—262

Тренквальд Иосиф Матиаш (1824—1897), немецкий художник, директор Пражской академии 180

Трубецкая, княгиня, жена Морни 118

Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883) 225

Тыл Йозеф Каэтан (1808—1856), чешский писатель, драматург и журналист 30, 77, 177

Тырш Мирослав (1834—1884), чешский эстетик и теоретик физического воспитания 193, 236, 262, 263, 265, 266, 268

- Тыршова Рената (1854—1937), чешская писательница 224
- Тьер Адольф (1797—1877), французский государственный деятель, историк; в 1871—1873 гг. — президент Франции. После провозглашения Парижской коммуны возглавил версальцев и жестоко подавил Коммуну 181, 212—214
- Уистлер Джеймс (1834—1903), американский художник 155
- Уорт Чарльз Фредерик (1825—1895), парижский модельер, родом англичанин 182
- Фаллак Виктор, моряк из Бретани 67—69, 71, 195, 196, 201, 207—211, 213, 214, 244, 248, 250, 254, 255, 263
- Ферри Габриель (наст. имя Эжен-Луи-Габриель-Бельмар, 1809—1862), французский писатель и журналист 102, 104, 105
- Филипп II (1527—1598), испанский король (с 1556) 13
- Флобер Гюстав (1821—1880), французский писатель 81
- Флуран Гюстав (1838—1871), французский ученый 203
- Фортен Шарль (1815—1865), французский художник 120
- Фоурмент Елена, вторая жена Рубенса 234
- Франц Иосиф I (1830—1916), император Австрии и король Венгрии (с 1848) из династии Габсбургов. В 1867 году образовал Австро-Венгрию, 5, 10, 91, 165, 176, 191
- Фрич Йозеф Вацлав (1829—1891), чешский писатель, участник Пражского восстания 1848 г. 4, 87, 94—99, 109, 112—116, 123, 179—181, 224
- Фромантен Эжен (1820—1876), французский писатель, художник, искусствовед 20, 45, 50—52, 58, 79, 89, 123, 154—156, 159, 232—236, 251
- Ходжко Александр (1804—1891), польский поэт, переводчик, ориенталист и славист; состоял на русской дипломатической службе, с 1842 г. жил в Париже 180
- Хуарес Бенито Пабло (1806—1872), национальный герой Мексики; глава правительства (1858—1861); президент (1861—1872) 185
- Цезарь Гай Юлий (102 или 100—44 до н. э.), римский император, полководец 97
- Цестий 167
- Цицерон Марк Туллий (106—43 до н. э.), римский политический деятель, оратор и писатель 82, 201
- Чаадаев Петр Яковлевич (1794—1856), русский философ 57
- Чарторыская Ваанда, дочь сестры Чермака, Марии 205, 222
- Чарторыский Витольд, сын сестры Чермака, Марии 205
- Чарторыский Ежи, граф (1828—1912), польский аристократ, меценат, австрийский сановник, сенатор, муж сестры Чермака Марии 89, 125, 126, 165, 167, 260, 262, 265
- Чарторыский Константин, брат Е. Чарторыского 165
- Чейка Йозеф Ян Радомил (1812—1862), чешский врач, переводчик, музыкальный теоретик 181
- Челаковский Франтишек (1799—1852), чешский поэт, фольклорист 96

- Ченчи Беатриче (1577—1599), дочь знатного римлянина Франческо Ченчи; казнена за убийство отца 167
- Чермак Вилем, сын Й. Чермака 219, 261
- Чермак Йозеф (1825—1872), брат Я. Чермака, врач-психиатр 9, 12, 51, 58, 88, 205, 219, 261
- Чермак Карел, брат Я. Чермака 9, 12, 205, 226, 258, 261, 262, 265
- Чермак Павел, сын Й. Чермака 219, 261
- Чермак Ян Непомук (1828—1873), чешский физиолог и врач, ученик Я.-Э. Пуркине; брат Я. Чермака 9, 12, 26, 88, 106, 121, 205, 222, 262
- Чермакова Йозефа (1800—1870), мать Я. Чермака 7—16, 18, 19, 23, 27, 29, 30, 34, 47, 50, 58, 59, 121, 122, 162, 165, 168, 204, 205, 258, 260, 268
- Чермакова Мария (по мужу Чарто-рыская), сестра Я. Чермака 7, 9, 12, 13, 15, 19, 23, 30, 50, 89, 139, 147, 162, 165—169, 173, 176, 204, 205, 219, 226, 245, 258, 262
- Чермакова Мария (урожд. де Ламиль), жена Й. Чермака 58, 219, 226, 262
- Черниш Эвжен Карел (Эуген Карл, 1796—1868), граф, чешский аристократ, меценат 34, 46
- Черный Вратислав (1871—1933), чешский адвокат и писатель, председатель «Славянского клуба» в Праге, автор книги «В столице Черногории» (1902) 267—269
- Чех Сватоплук (1846—1908), чешский писатель 219
- Шанфлеры (паст. имя Жюль-Франсуа-Феликс Юссон, 1821—1889), французский писатель и критик 82, 83, 125, 187, 204
- Шарлемань, французский офицер, знакомый Чермака 171, 172, 206
- Шарлемань, французский генерал 172, 206
- Шатобриан Франсуа-Рене де, виконт (1768—1848), французский писатель 200, 256
- Шаховской Василий, русский путешественник, побывавший в Черногории 125
- Шекспир Уильям (1564—1616) 161
- Шенье Андре-Мари (1762—1794), французский поэт и публицист 45
- Шерваль, французский профессор литературы 180
- Шимек Людвик (1837—1886), чешский скульптор 166
- Шкорпил Карел (1859—1944), чешский археолог, геолог, спелеолог 251
- Шкрамлик, бургомистр Праги 265
- Шкрета Карел (1610—1674), чешский художник 86
- Шкроуп Франтишек Ян (1811—1865), чешский композитор и дирижер 123
- Шморанц Густав (1858—1930), чешский режиссер и переводчик 261
- Шнирх Богуслав (1845—1901), чешский скульптор 265
- Шопен Фредерик (1810—1849), польский композитор и пианист 99
- Шопенгауэр Артур (1788—1860), немецкий философ 102
- Шпрингер Антон Хейнрих (1825—1891), немецкий историк искусства (родом из Праги), профессор университета в Лейпциге 10, 12, 16, 55, 88
- Штросмайер Йосип (1815—1905), один из руководителей хорватской национально-либеральной

- партии (1860—1873); сторонник культурного и политического сближения славянских народов 218, 252
- Штульц Вацлав Сватоплук (1814—1887), чешский священник, поэт, переводчик, критик, меценат, общественный деятель 264
- Штур Людовит (1815—1856), идеолог и руководитель словацкого национального движения 40-х гг.; поэт, филолог; участник Пражского восстания 1848 г. 94
- Эгмонт Ламораль, граф (1522—1568), один из лидеров антииспанской дворянской оппозиции в Нидерландах накануне и в начале Нидерландской буржуазной революции. Был казнен 4, 15, 95
- Эйленборх (Эйленбюрх) Саския ван (ум. 1642), жена Рембрандта 234
- Элизабет Амалия Эугения (урожд. Виттельсбах), герцогиня (1837—1898), дочь герцога Баварского, жена Франца Иосифа I (с 1854), австрийская императрица 151
- Эмерсон Ралф Уолдо (1803—1882), американский философ и писатель 266
- Энгр Жан-Огюст-Доминик (1780—1867), французский художник 59, 78, 103, 187, 224
- Эннекен Филипп-Огюст (1762—1833), французский художник, гравер, литограф 19
- Эрбен Карел Яромир (1811—1870), чешский поэт и историк 96
- Юлий II (1441—1513), римский папа 171
- Явурек Карел (1815—1909), чешский художник 15, 33, 46—48
- Ягеллоны, королевская династия в Польше, великом княжестве Литовском, Венгрии, Чехии (1471—1526) 165
- Ярослав из Штернберка (XIII в.), сын Здеслава из Штернберка; ему приписывалась победа над татарами под Оломоуцем 180

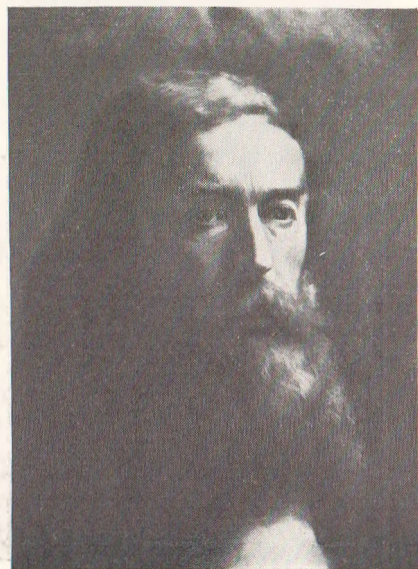
Jaroslav Čermák



1. Отец Я. Чермака.
Миниатюра Кригубера, 1843

2. Йозефа Чермакова,
мать художника

3. Я. Чермак в детстве



4. Дом на Вифлеемской улице
в Праге, где родился Я. Чермак
5. К. Явурек. Портрет Я. Чермака,
Брюссель, 1851
6. Профессор В. Чермак, Вена, 1849

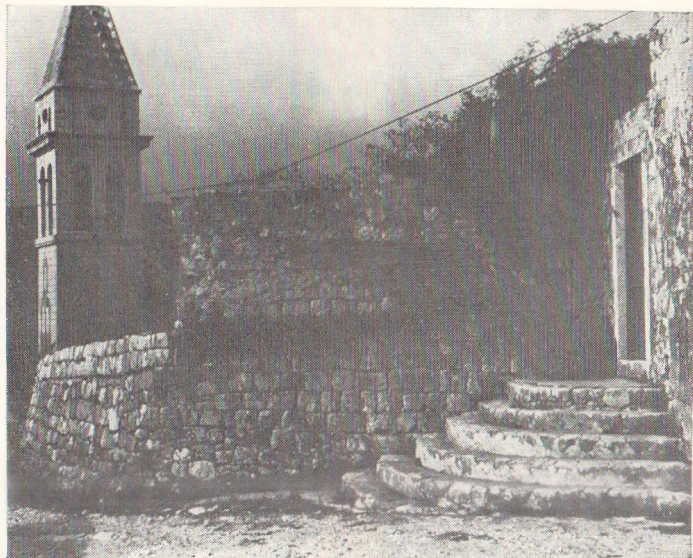


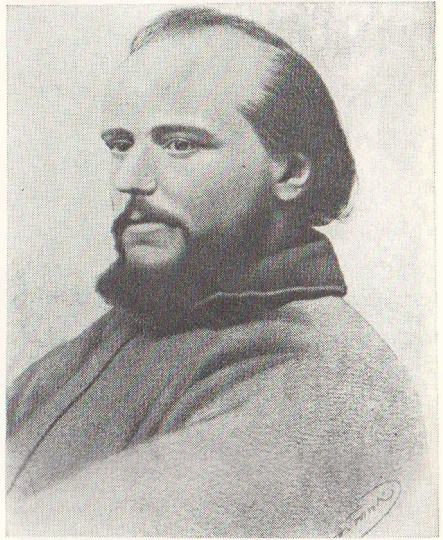
7. Л. Галле. Портрет И. Чермаковой,
1852

8. Иполита Галле

9. Л. Галле. Портрет Амалии





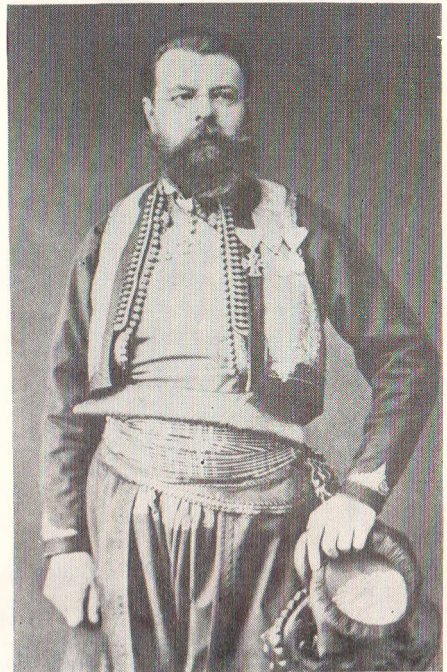


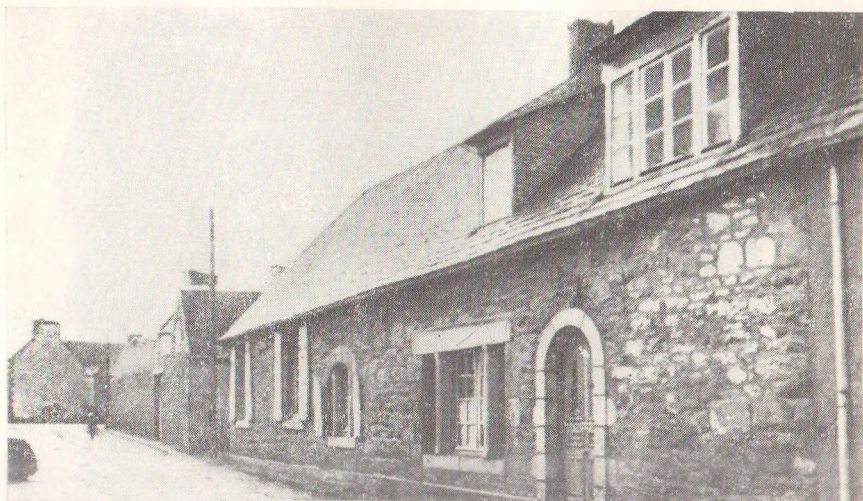
10. Дом Я. Чермака в Маңдалене

11. Я. Чермак в Далмации

12. Я. Чермак. Рисунок Г. Франка (?)

13. Я. Вацлик, секретарь
черногорского князя Данилы





14. «Избушка» Я. Чермака в Роскофе

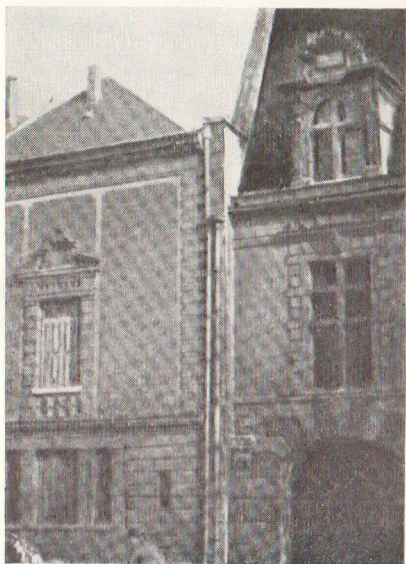
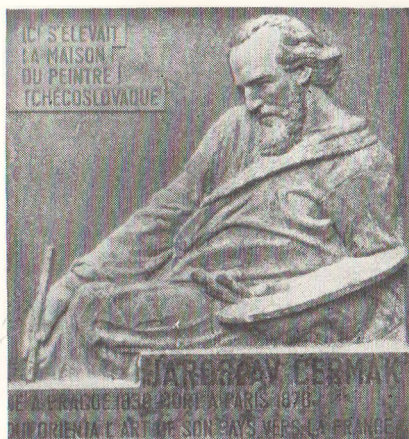
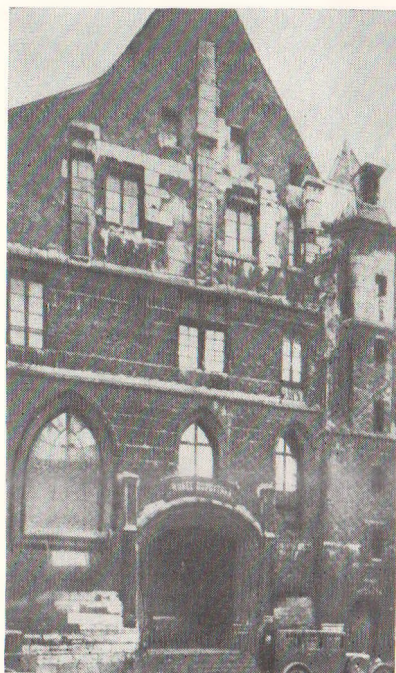
15. Дом Т. Корбьера в Роскофе

16. Тристан Корбьер. Автопортрет

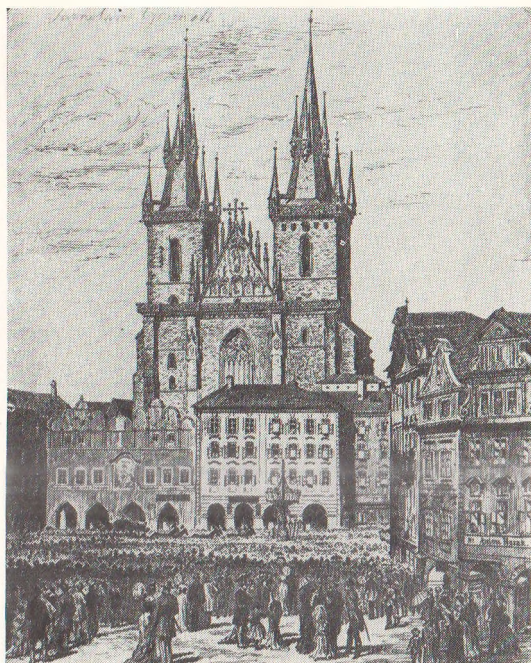


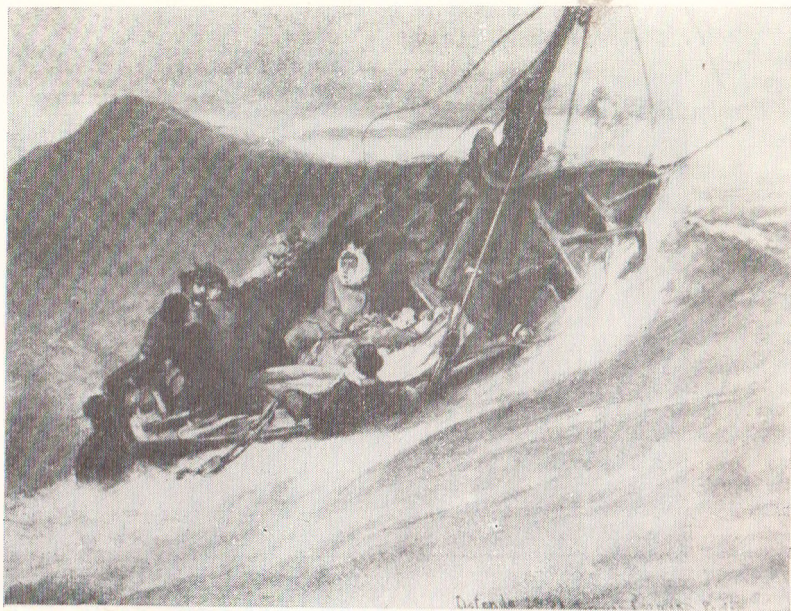
17. Капитан Тори
(фотографии сделана в Алжире)

18. Портрет полковника де Буаденмеца, 1865



19. Париж. Ателье Я. Чермака
на улице Отфёй
20. Мемориальная доска на доме,
где жил Я. Чермак
21. Дом Я. Чермака на авеню Ваграм
22. Похороны Я. Чермака в Праге.
Рисунок И. Мукаржовского
23. Писатель Ф. Кожик
у надгробия Я. Чермака
на Ольшанском кладбище в Праге







24. Йозефа Чермакова, 1852

25. Лодка в бурю, 1851

26. Словацкие переселенцы, 1851,
Прага, Национальная галерея



27. Ян Жижка и Прокоп Голый, 1851



28. Пршемьсл Отакар II перед битвой на Моравском поле, 1851,
Прага, Национальная галерея



29. Нормандские рыбаки, читающие Евангелие, 1853, Вена

30. Гуситская делегация на Базельском соборе, 1851,
Прага, Национальная галерея





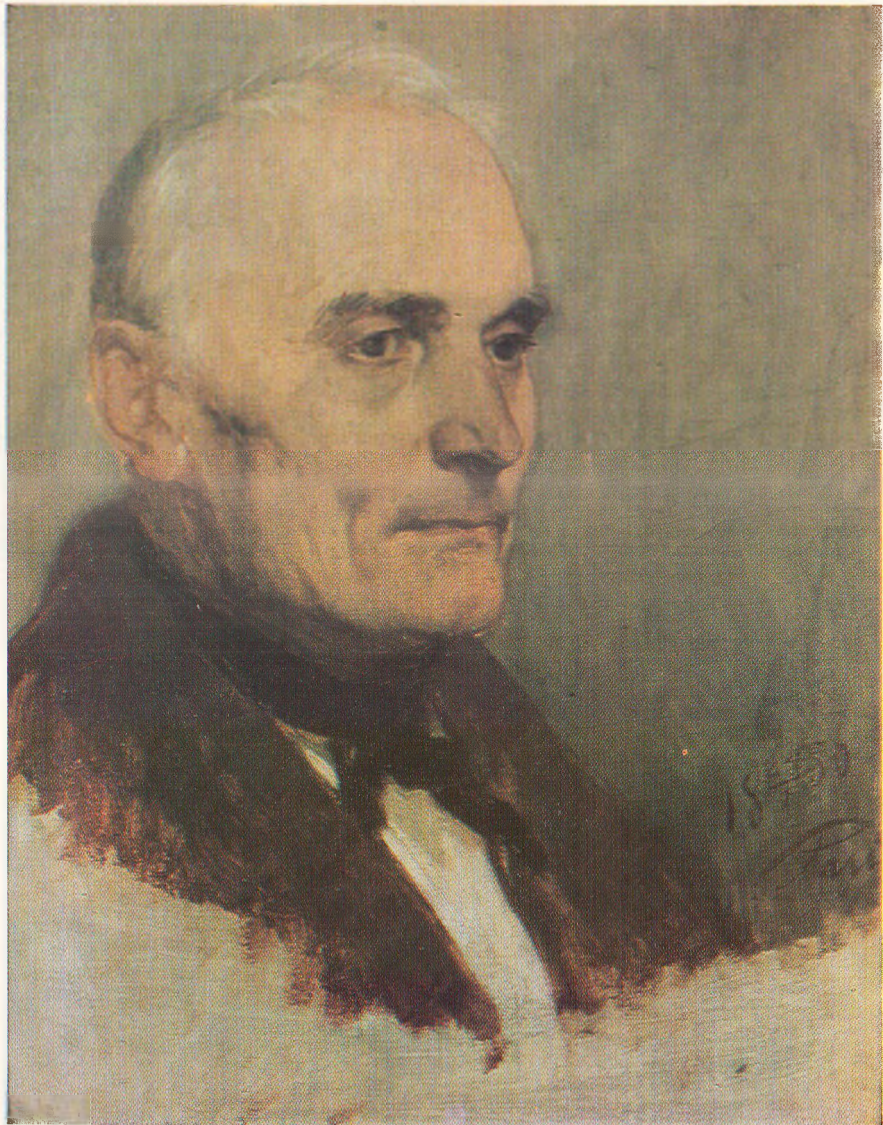
31. Нищие, 1852, Прага, Национальная галерея



32. Рыбак с ребенком, 1857, Прага, Национальная галерея



33. Шимон Ломницкий, просящий милостыню
на Пражском мосту, 1852



34. Портрет Я.-Эв. Пуркише, 1856, Прага, Национальный музей



35. Гуситы, охраняющие перевал, 1857,
Прага, Национальная галерея



36. После битвы на Белой горе (Антиреформация), 1854,
Прага, Национальная галерея



37. Встреча супругов Галле в Молиторове,
1855 (?), Прага, Городская галерея
38. Иполита Галле с дочерью Амалией



39. Иполита Галле за чтением, 1859(?)

40. Карикатура на С. Пинкаса, 1858—1862



41. Бани в Рагузе, 1861

42. Словацкая мать с ребенком в поле, 1859, Музей в Амстердаме

43. Жена изгнанника, 1860, Прага, Национальная галерея





44. Славянский райа (портрет Душана Ламбла), 1861,
Прага, Городская галерея



45. Сватка в горах, 1862—1864, Прага, Град,
Капцелярия президента республики

46. Перенесение картин, 1863, Прага, Городской музей

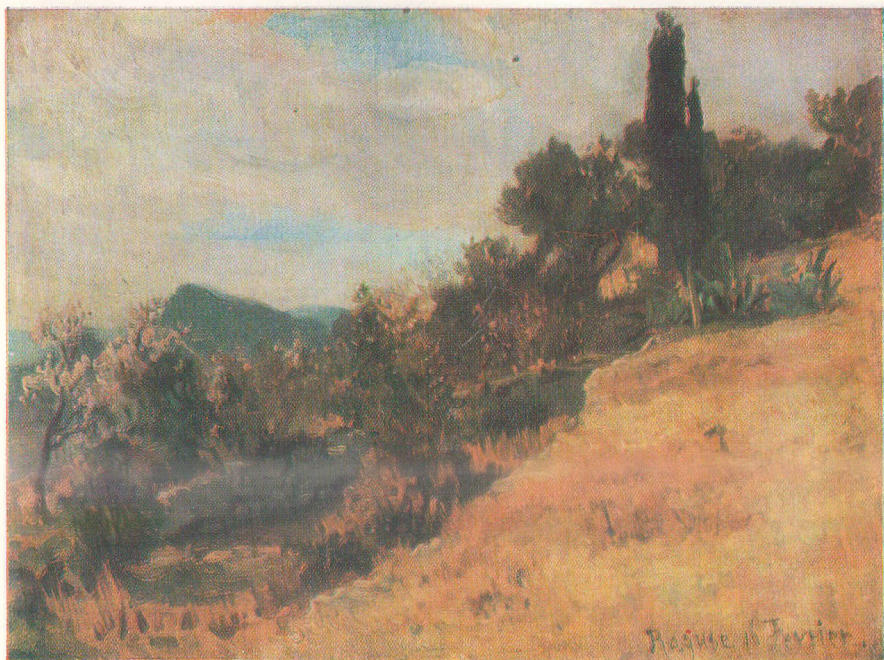


47. Портрет Амалии Галле, 1863, Прага, Городская галерея

48. Компания на лодке, 1861—1862(?)

49. Бродячие итальянские певцы (портрет Я. Чермака и И. Галле), 1863

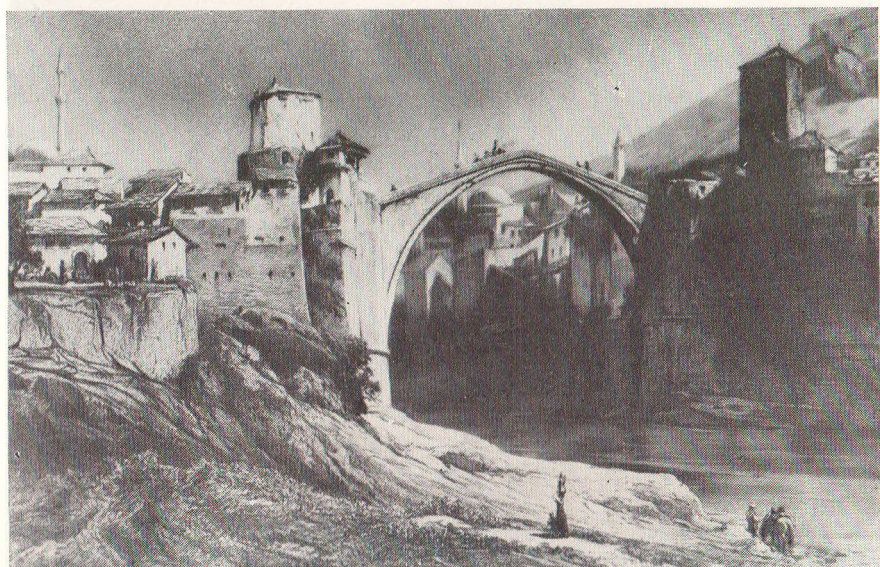




50. Парк в Дубровнике, 1862—1865, Прага, Национальная галерея

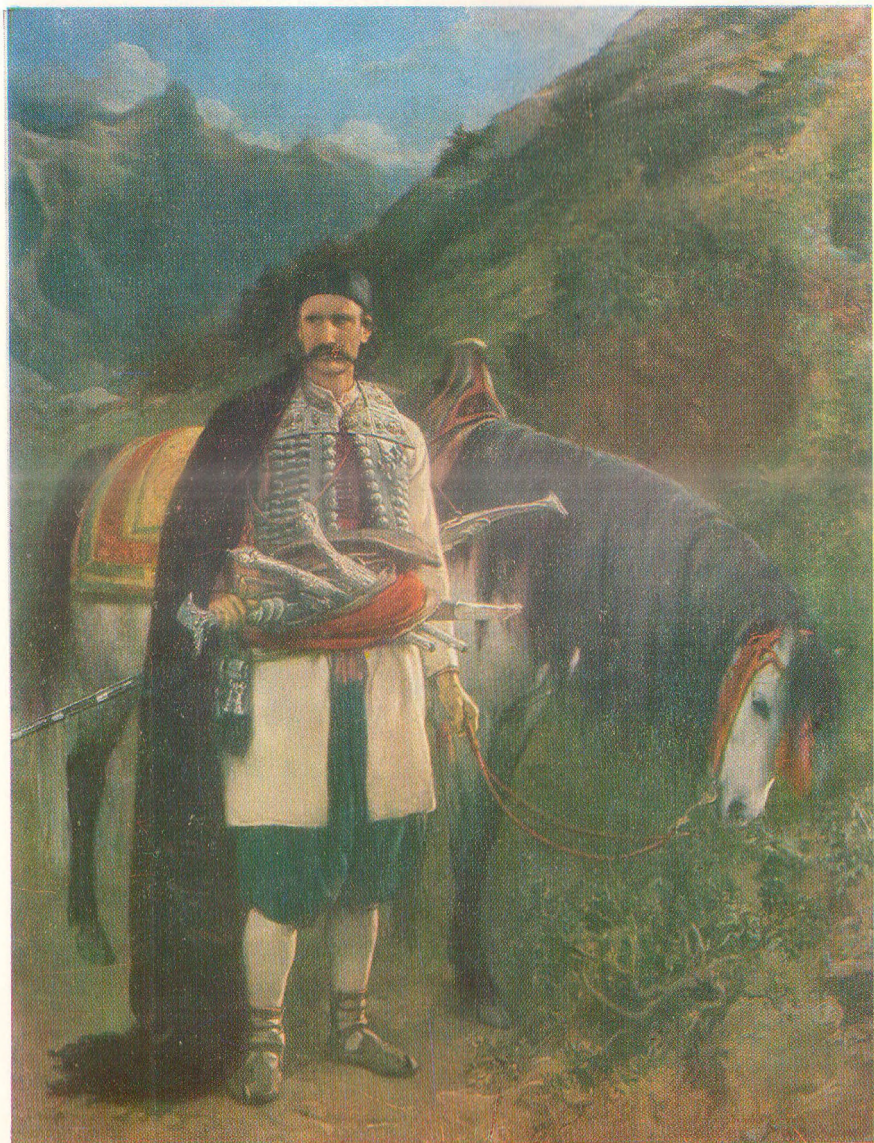
51. Автопортрет, 1863

52. Мостар, 1863, Прага, Городской музей

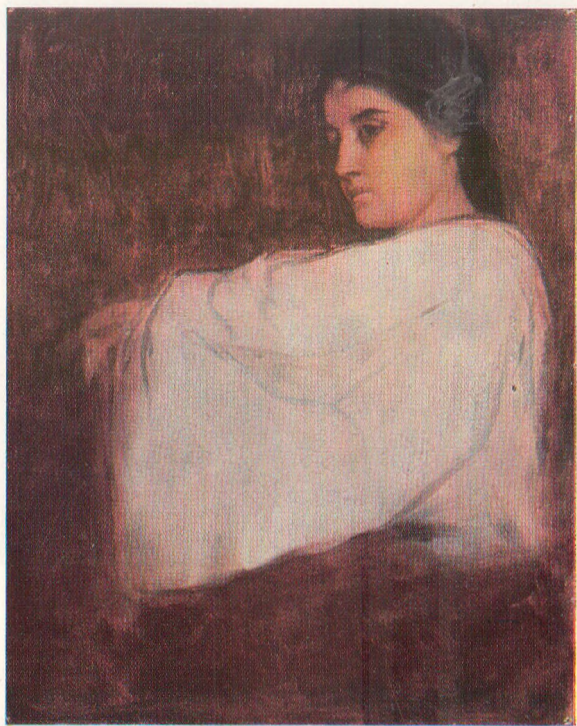




53. Черногорское хозяйство, 1865, Пльзень, Западночешская галерея



54. Черногорский воевода с коном, 1865, Пльзень, Западночешская галерея

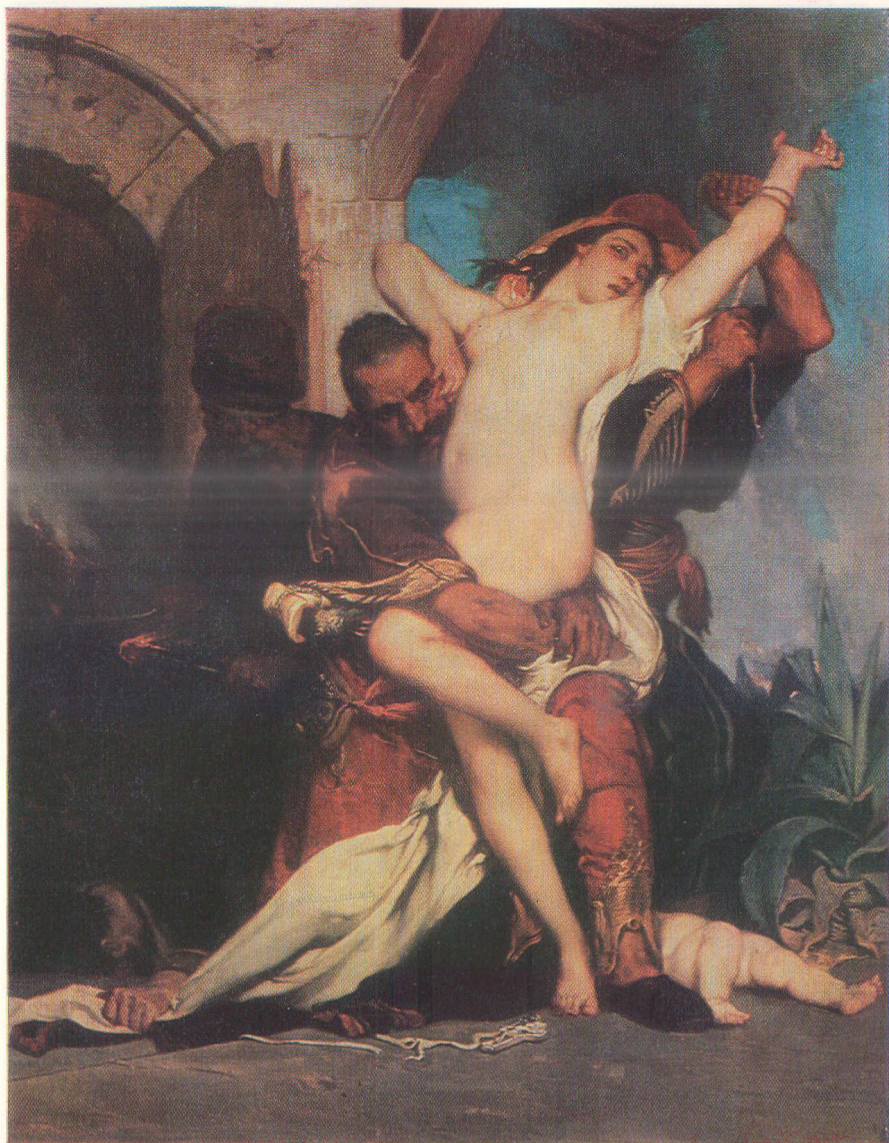




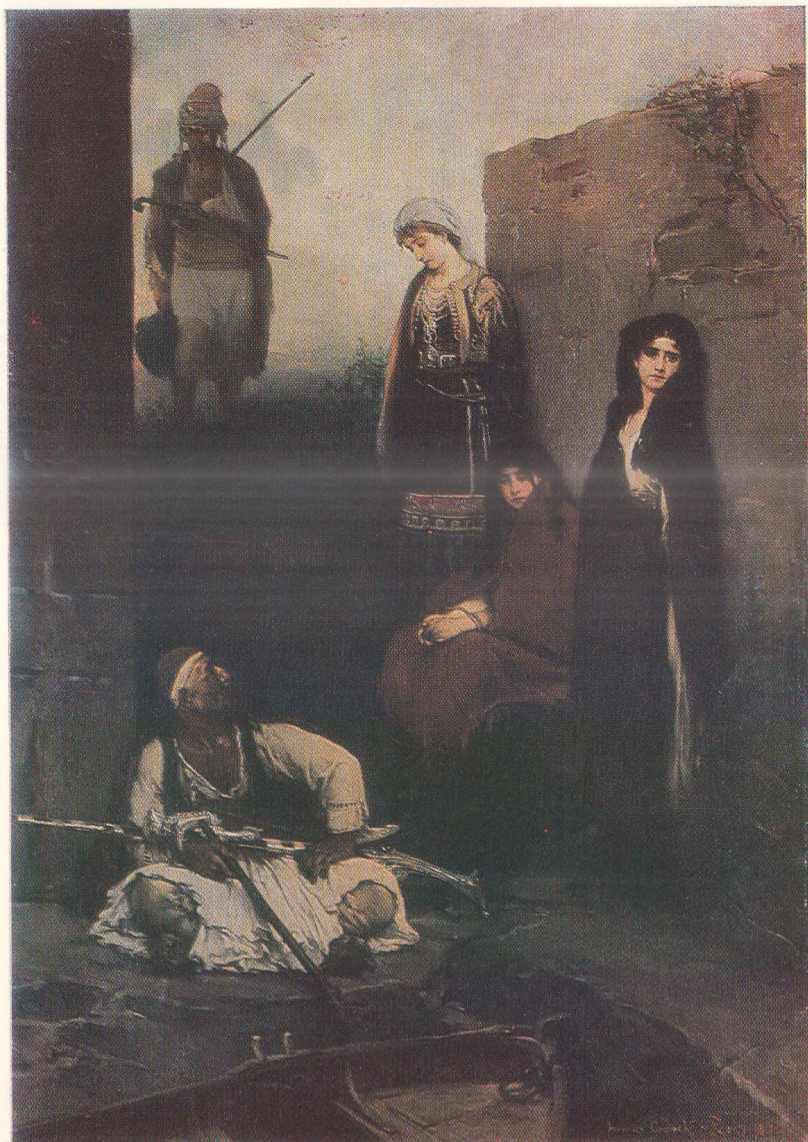
55. Деревенская кухня, ок. 1865, Прага, Национальная галерея

56. Черногорка, этюд к картине «Военные трофеи», 1864—1867,
Пльзень, Западночешская галерея

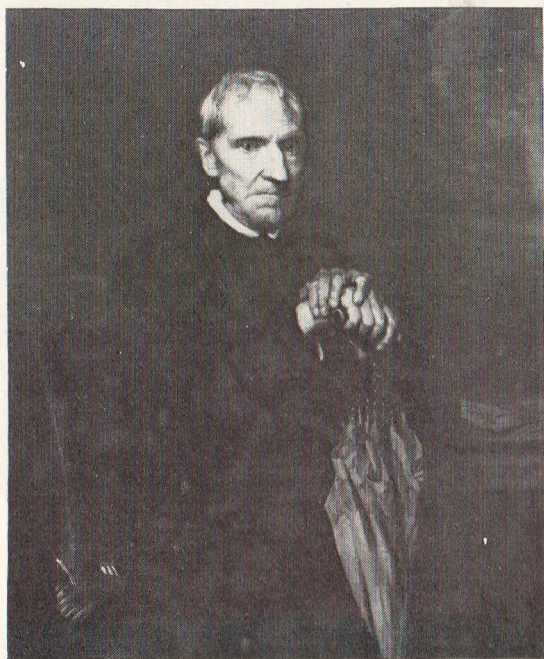
57. Военные трофеи, 1868, Брюссель, Королевский музей
изящных искусств Бельгии



58. Похищение, 1865, Прага, Национальная галерея



59. Пленницы, 1870, Прага, Национальная галерея





60. Роскоф. Морской пейзаж, 1870,
Прага, Городская галерея

61. Портрет Л. Кернеца, 1871,
Прага, Град, Канцелирия
президента республики

62. Головка бретонской девочки, 1871

63. Деревенская девочка, 1871



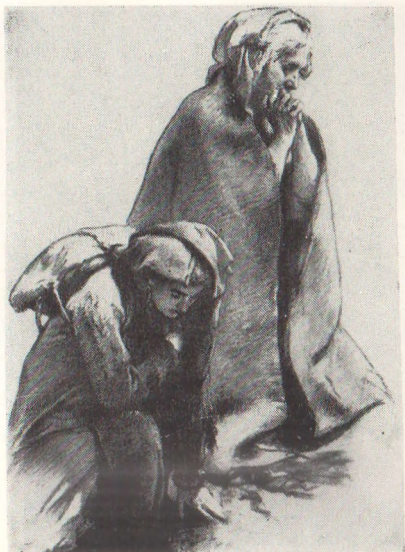


64. Жизнь на побережье Роскофа, 70-е годы, Прага, Национальная галерея

65. Натюрморт, 1873

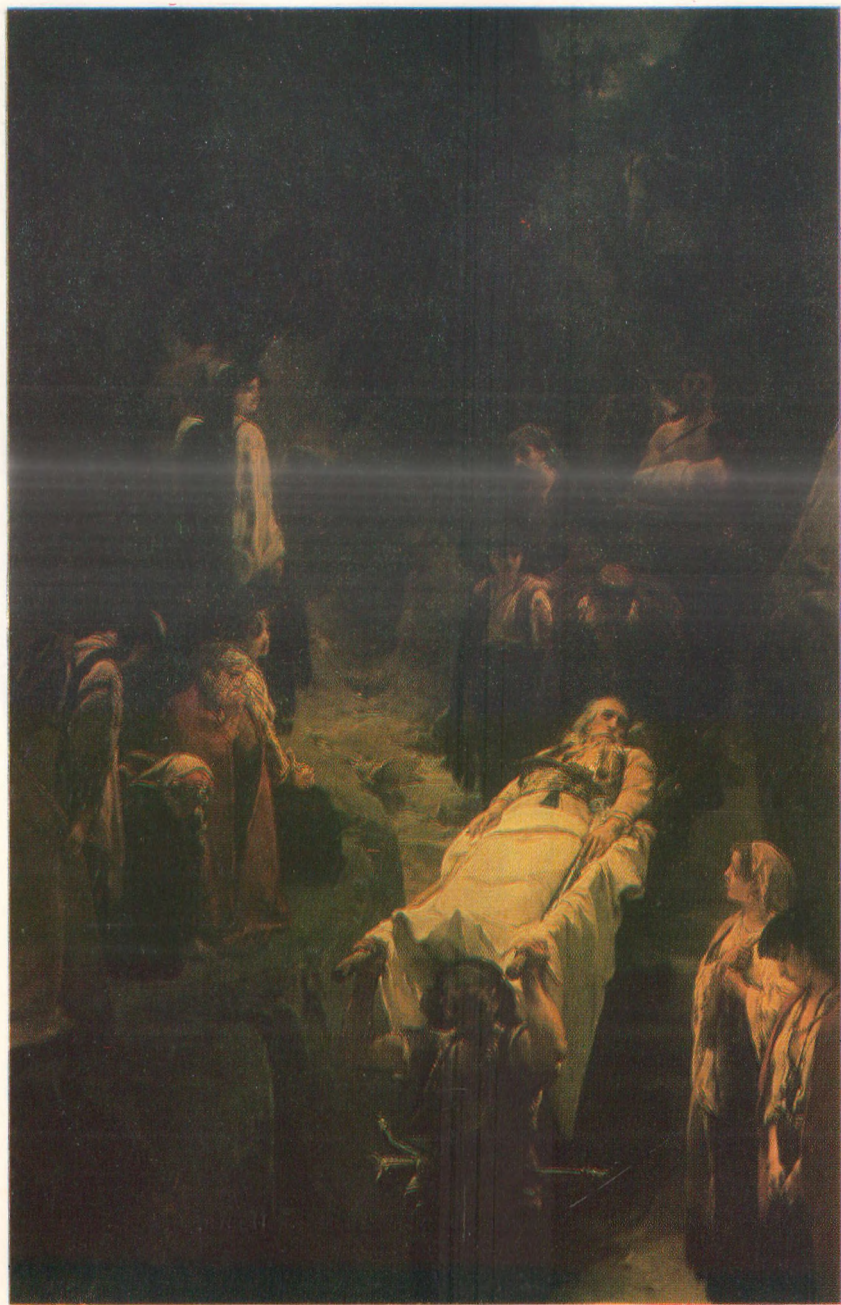


66. Далмацкая свадьба, 1875—1876, Прага, Национальная галерея



67—69. Этюды к картине
«Раненый червогорец»

70. Раненый червогорец, 1873.
Прага, Национальная галерея





71. Гуситы перед Наумбургом, 1875, Прага, Град, Канцелярия президента республики

72. Слепой гуслиар, 1878



73. Портрет черногорки, 1876, Прага, Национальная галерея



74. Босния 1877 года (Возвращение в деревню), 1877, Прага, Град,
Канцелярия президента республики

75. На отдыхе с пленными герцеговинками, 1877

76. Этюд





77. Нищий дервиш, 1877, Прага, Национальная галерея

СОДЕРЖАНИЕ

НА ПРАГУ ОПУСКАЮТСЯ СУМЕРКИ	3
НЕСЧАСТЬЕ В ОСТЕНДЕ	31
ПАРИЖСКИЙ ЛАБИРИНТ	44
ПОРА СЛУЖЕНИЯ	61
ВОЗВРАЩЕНИЕ ИПОЛИТЫ	72
ПЕРВОЕ СЛАВЯНСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ	85
БИТВА ЗА ВАГНЕРА	99
ПРОЩАНИЕ С ПАРИЖЕМ	116
ЧЕРНОГОРИЯ	125
ДРЕВО СЧАСТЬЯ	146
ВЕЧНЫЙ ГОРОД	165
ПАРИЖ ПОХОРОШЕЛ	179
В КОРСАРСКОМ ГНЕЗДЕ	194
ПОРАЖЕНИЕ ФРАНЦИИ	203
ПЕЧАЛЬНЫЕ ВЕСНЫ	216
МНОГООБЕЩАЮЩИЕ ОСЕНИ	227
КАМЕШЕК ИЗ РОСКОФА	239
КОНЕЦ ПУТИ	251
ЭПИЛОГ	260
КОММЕНТАРИЙ	270
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН	285

Кожик Ф.
К 58 Ярослав Чермак / Пер. с чеш. Ил. Граковой. — М.:
Искусство, 1985. — 303 с., 24 л. ил. — (Жизнь в ис-
кусстве).

Книга посвящена жизни и творчеству выдающегося чешского художника XIX века Я. Чермака. Творчество Чермака развивалось от академической условности к реалистической убедительности, высокой идейной насыщенности образов. Чермак открыл для Западной Европы славянский мир. Он писал исторические картины, посвященные гуситским войнам, жизни славянских народов в их борьбе за свободу, нейзаки. Был также крупным портретистом, достигшим в лучших работах проникновенности и психологической глубины. Жизнь и творчество Чермака прослеживается на широком фоне общественно-политической и художественной жизни Европы XIX века.

К 4903020000-132 81-85
025(01)-85

ББК 85.143(3)
75И

Франтишек Кожик

ЯРОСЛАВ ЧЕРМАК

СЕРИЯ «ЖИЗНЬ В ИСКУССТВЕ»

Редактор Т. Н. Петрушина

Художник В. М. Вовнобой

Художественный редактор И. Г. Румянцева

Технические редакторы Н. И. Новожилова

и П. С. Еремина

Корректоры З. П. Соколова и Т. И. Чернышова

ИБ № 1951

Сдано в набор 17.10.84. Подписано в печать 29.08.85. Формат 60×84/16. Бумага тип. № 1 и мелованная для иллюстраций. Гарнитура обыкновенная новая. Печать высокая. Усл. печ. л. 20,576. Усл. кр.-отт. 31,678. Уч.-изд. л. 22,957. Изд. № 1406. Тираж 50 000. Заказ 2257. Цена 2 р. 30 к. Издательство «Искусство», 103009 Москва, Собиновский пер., 3

Московская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 129243 Москва, Мало-Московская, 21.

2 p. 3016

